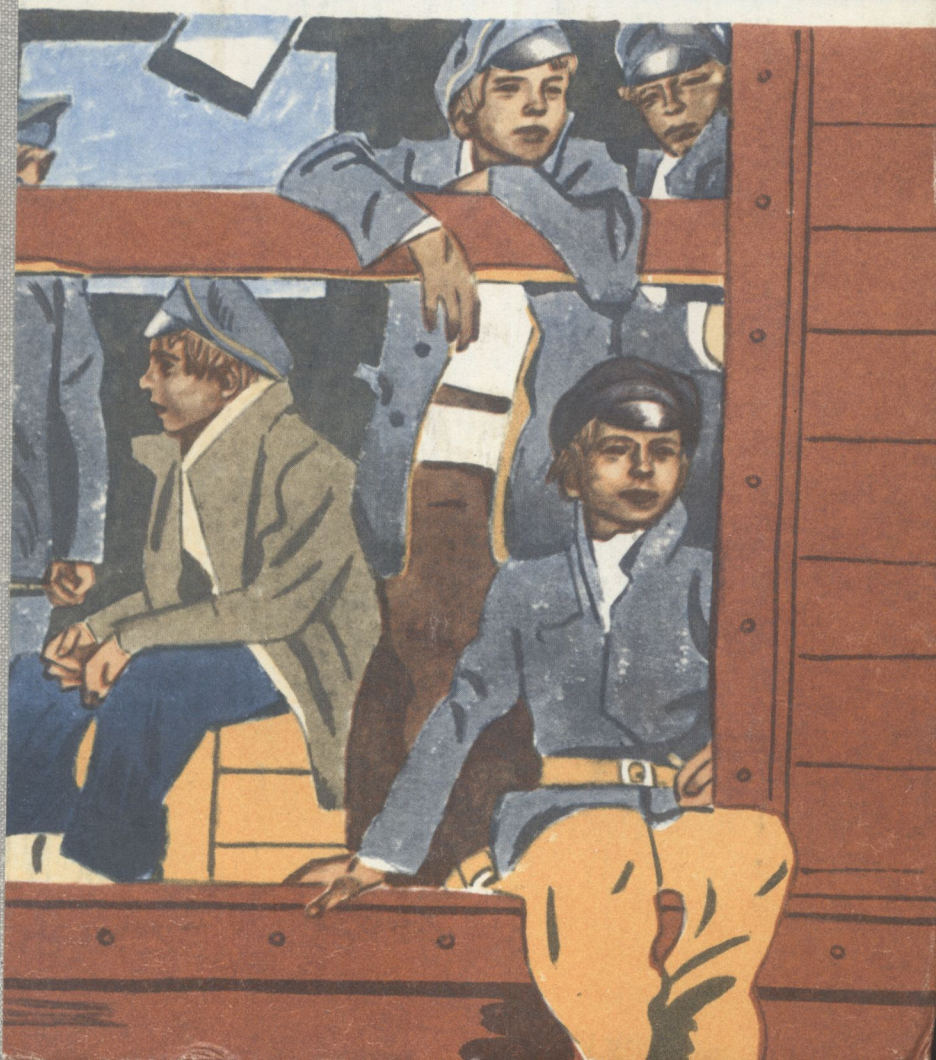


М.Ляшенко • ИЗ ПИТЕРА В ПИТЕР

М. Л Я Ш Е Н К О

# ИЗ ПИТЕРА В ПИТЕР









**М . А Я Ш Е Н К О**

# **ИЗ ПИТЕРА В ПИТЕР**

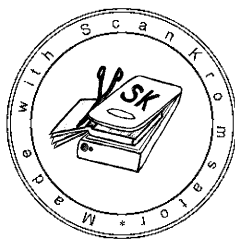
**П О В Е С Т Ъ**



**МОСКВА «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА» 1981**

*Из Питера в Питер — остросюжетная повесть, построенная на документальных материалах эпохи революции и гражданской войны. В центре повести — судьба эшелона с детьми, эвакуированными из голодающего Питера в хлебные места Зауралья.*

*Рисунки В. Юдина*



Scan AAW

Л  $\frac{70802-321}{M101(03)81}$  454—81

© Издательство «Детская литература», 1981 г



1

Валерий Митрофанович Ракиткин, учитель четвертого реального училища, бежал по весенней питерской улице, опасливо поглядывая на встречных. До отхода эшелона оставалось два часа. Это время Валерий Митрофанович распределил с точностью до минуты, все предусмотрел, учел. Но выгадать лишних четверть часика на всякий случай не мешало. Ни в коем случае нельзя было опаздывать в эшелон. Такая возможность попасть в тихие места, подкормиться, отдохнуть от питерской кромешности может не повториться.

Ах, какой нехороший стал город Питер, Петроград... Обшарпанные дома, всюду мусор, красные банты, шелуха от семечек, будто в деревне. Никакого порядка... С тоской взглянул Валерий Митрофанович на то место, где еще так недавно возвышался Меркулыч, городской, косая сажень в плечах, рожа как медный самовар, голос — труба, не человек, а символ могущества империи. Пусто было место,

где красовался Меркулыч. Запустение... Теперь не то что Меркулыча, приличного человека не встретишь. Вот пьяных полно, и на каждом шагу — бандиты... Валерий Митрофанович невольно подивился своей храбрости... Да не в храбрости дело, нужда заставила скакать через весь город. Его, титулярного советника все-таки, хоть большевики и ликвидировали табель о рангах, педагога, — брюхо, стыдно сказать, заставляло егозить и кланяться простой, безграмотной бабе. В надежде, что от нее перепадет лишний кусок. Ибо голод в Питере начинался страшный... А баба, хоть и черная кость, служит буфетчицей в Смольном, на самом большевистском верху, и, к счастью для Валерия Митрофановича, обожает свое сопливое одиннадцатилетнее чадо, над которым Валерий Митрофанович в пути, в этом эшелоне, в своем вагоне-теплушке, будет полный хозяин... И даже глупая баба сообразит и расстанется волей-неволей с кое-какими калориями, комиссарскими разносолами...

Боже мой, о чем приходится думать!.. Дошел императорский Петербург до самого края, до бездны. Да и где сейчас государь император? По слухам, там же, за Уралом, в хлебных местах, куда направлялись детские эшелоны... Упразднили государя, как и титулярных советников. Страшное дело...

Валерий Митрофанович покосился на парадный подъезд Смольного, который сторожили суровые часовые, и юркнул с черного хода. Здесь проходили те, кто обслуживал огромное здание, — истопники, уборщицы, кухонные рабочие, поварихи... Его остановили. Он был щуплый, с деликатными ручками и ножками и острым, щучьим личиком. Постоянно ко всему прихивался, стараясь, впрочем, делать это незаметно... Видно, не похож на кухонного мужика. На подозрительный взгляд часового Валерий Митрофанович облизнул сухие губы и вкрадчиво проговорил, как было условлено:

— Разрешите к Евдокии Ивановне, всего на пять минут. Я педагог, учитель, уезжаю сейчас с детским эшелоном за Урал, и ее сынок едет...

— Проходите, — строго кивнул старый матрос, которого Евдокия Ивановна с утра предупредила о визите учителя. — Четвертая дверь налево...

Валерий Митрофанович приоткрыл указанную дверь,

заглянул в щелочку. Удивился... Его новая знакомая, Евдокия Ивановна, сидела у столика, одна. Пригорюнясь, рассматривала что-то на подносе, кажется, даже плакала.

— Что это вы, Евдокия Ивановна, право,— бойко заговорил Валерий Митрофанович.— Здравствуйте! Как вам не стыдно.

Он с досадой соображал, что если еще, не дай бог, придется утешать эту тетку, плести ей что-нибудь о ее сыночке, то так выбьешься из графика, чего доброго опоздаешь к эшелону. Взять бы, что она там приготовила, и ходу.

— Здравствуйте,— машинально ответила женщина. И подняла заплывшие слезами глаза на шуструю фигурку учителя.— Ну, как я ему это понесу? — шепотом спросила она, стыдась.— Чай сушеной морковкой заварен, а хлеба-то, хлеба — два лепестка...

— Это кому же? — тотчас любопытствовал Валерий Митрофанович.

— Ленину! — жарким стыдом вспыхнула буфетчица.— Владимиру Ильичу...— И слезы снова закапали.— Ну не могу я к нему идти...

Валерий Митрофанович смотрел на нее в немом удивлении. Недоверчиво хихикнул:

— Не верится как-то...

— Да кто же поверит! — согласилась буфетчица.— Не поймешь, что за власть. Сидят голодные...

— Ай-яй-яй,— сухо молвил Валерий Митрофанович, чувствуя себя кровно обиженным, еще раз обойденным большевиками, ну, захватили власть, так уж пользуйтесь ею, как все люди, а это что же такое...

И он оскорбленно зажевал губами, глядя на Евдокию Ивановну с плохо скрытым негодованием. Вместо предлагаемых разносолов тут пили морковный чай!

Она молча пододвинула ему приготовленный узелок. Ага!.. Валерий Митрофанович несколько оживился.

— Вы уж, пожалуйста,— стыдливо сказала Евдокия Ивановна,— не забивайте Мишутку...

Валерий Митрофанович забормотал что-то утешительное, протягивая цепкую лапку за подающим, и уже сгреб его, но женщина нахмурилась, вернула дар к себе и короткими, сильными пальцами развязала тугой узел... Вытащила три куска постного сахара, положила их на блюдечко с морковным чаем... Не глядя на Валерия



Митрофановича, снова завязала узелок. Мельком он заметил там несколько вареных картофелин, селедку и огорчился, что так мало и что при этой бабе набежала все-таки голодная слюна, что было по меньшей мере неприлично...

## 2

Первый эшелон с питерскими и московскими ребятами, в возрасте от десяти до четырнадцати лет, учениками гимназий, реальных и коммерческих училищ, школьниками по-теперешнему, вторую неделю был в пути. Для той поры, восемнадцатого года, поезд шел неплохо, одолев путь от Питера до Арзамаса меньше чем за десять дней.

25 мая, в конце дня, он был уже недалеко от Арзамаса. Никто не знал, что именно в этот день, в том краю, куда ехали ребята и от которого их отделяло всего двое суток, начался белый мятеж. Советская власть в короткий срок была свергнута в Самаре, Казани, Симбирске, Екатеринбурге, Челябинске — вплоть до Владивостока.

Ребячий поезд состоял из нескольких теплушек и очень древнего паровоза, который нутужно кашлял и даже попискивал жалобно, одолевая подъем. При этом паровоз заволакивал дымом весь состав, так что чихали и в наглухо закрытых теплушках. Большинство ребят хоть и побледнели и исхудали за многомесячную голодовку, но не болели. Были, правда, и такие, которым врач поезда при первом же осмотре предписал постельный режим из-за крайнего истощения.

Среди старших, это были семиклассники — Анатолий Гусинский, Борис Канатьев и Аркадий Колчин, все из Питера. Гусинский и Канатьев учились в одном реальном училище, дружили... У Аркадия Колчина еще перед революцией развалилась семья. Отец, профессор Горного института, умер от инфлюэнцы, как тогда называли грипп, мать кончила курсы медсестер и уехала на фронт; Аркашка и его младшая сестра оказались у тетки. Тетка не могла с ним справиться, тем более в Петрограде началась революция, все смешалось... Аркашка не только бросил гимназию, но и ночевал дома редко. Какой-то буйный ветер вырвал его из дома. Анархисты, к которым Аркашка попал, сунули ему в руки шпалер, то есть револьвер, так

что тетке и друзьям отца стоило немалых усилий оторвать Аркашку от его революционных дел и поместить в первый детский эшелон...

Лежать Аркашка не мог. Воображение работало у него с бешеной энергией. То он выдумывал налет на их поезд каких-то банд. То сколачивал в глубокой тайне отряд для побега на фронт, бить буржуев. А на худой конец громко насмеялся над постоянными разговорами в вагоне о еде, о хлебных местах и о том, что и как там лучше выменять на то жалкое барахлишко, которое везли с собой ребята.

— Продаете революцию! — гремел Аркашка.

И все, даже Володя Гольцов, свысока смотревший на человечество, смущенно затихали.

Аркашкой очень интересовались девочки, и самая красивая из них, Тося. А мальчишки из четвертых и пятых классов дрались за право подежурить у его койки.

Впрочем, к Арзамасу поправились и тяжелые больные; Аркашка поднялся первый.

Во время движения поезда полагалось, чтобы двери были закрыты во всех вагонах. Но это соблюдалось только в тех теплушках, где ехали ребята поменьше. Старшие еще до Москвы отвоевали право днем ехать с открытыми дверями. Поэтому Володе Гольцову ничего не стоило ловко прыгнуть на ходу поезда и сбежать с песчаной насыпи на зеленый луг. Когда они выезжали из Питера, шел холодный дождь, а здесь, даже к вечеру, грело солнце и все цвело. Летали бабочки, похожие на цветы; разбуженная земля, зелень пахли так, что хотелось смеяться; и цветы, желтые, голубоватые, розовые, казались присевшими на секунду бабочками. Володя бежал рядом с поездом, рвал цветы, ему что-то кричали из вагонов, и он чувствовал себя героем. Его видела и Катя Обухова, и он уловил ее взгляд, испуганный и восхищенный. Она знала, для кого он рвет цветы!

Поезд проходил мимо. Казалось, он идет все быстрее. Володе кричали:

— Гольцов, сейчас же вернитесь!

— Володя, вы остаетесь?

— Не покидай нас!

— Эй ты, куда полез?!

Прозвучал насмешливый голос Николая Ивановича, математика, командира отряда старших мальчиков:

— Гольцов, вы собираете букет или веник? Немедленно в вагон!

Володя поднял смеющееся лицо, кивнул и побежал к насыпи. Подходил последний вагон. Ничего, он успеет. Весь эшелон любовался, конечно, его лихостью. Малыши небось смотрели в щелки... Но когда Володя вскарабкался к путям, перед ним равнодушно вильнул последний вагон. Володя смотрел на него с удивлением. Такое предательство... Куда же ты уходишь, скотина? А поезд убегал все дальше. Володя помчался за ним. Но как ни старался, как ни размахивал руками, в одной из которых еще был зажат букет, теперь незаметно ронявший цветы, — поезд уходил, насмешливо стуча колесами.

Володя остановился и, щурясь близорукими глазами, растерянно смотрел на убегавший поезд. Потом со злостью он шмякнул букет на рельсы. И тут вдалеке, на крыше одного из вагонов появился человек, как будто — Николай Иванович, и побежал по вагонам вперед, к паровозу... Может, он попросит машиниста остановить поезд? Ну, конечно! У Володи радостно екнуло сердце, и он с новыми силами помчался за вагонами. Николая Ивановича на крыше уже не было, наверно, он добрался до паровоза. Поезд шел все медленнее! Теперь Володя догонял его...

Ужасно смешно, что поезд останавливается вот так, в степи, что его можно догнать даже пешком! Тут все вообще выглядит смешным, ненастоящим. Настоящая жизнь осталась где-то позади... Что же, забавно будет поглядеть и на эту, хотя она достаточно нелепа.

Когда он ухватился наконец за поручни последнего вагона, вспрыгнул на ступеньку и тотчас сел, к нему вернулись уверенность и ощущение собственного героизма...

В ребячем поезде уже несколько дней царил хорошее настроение. И по дому, по маме трудно долго тосковать, если собралась такая компания. Никто, конечно, не боялся этой поездки, путешествия в такую даль, все, напротив, то и дело твердили друг другу, до чего они не боятся... Чего тут бояться! Когда их в эшелоне триста человек! А сзади догоняют еще два таких эшелона! Так что даже младшие чувствовали себя бодро. А старшие рвались к приключениям, правда — разным.

Даже когда Гольцов увидел холодное лицо Николая

Ивановича и услышал его жесткий голос: «До конца пути будете дежурить во втором вагоне», он не очень расстроился. Второй вагон — с мелюзгой из третьих и четвертых классов. Но в первом вагоне, рядом, где такие же девчонки, часто дежурит Катя Обухова...

— Спасибо, Николай Иванович! — весело сказал Володя. Ему хотелось, чтобы и математику было весело. — Вы же меня спасли!

— А где букет? — осведомился Николай Иванович, Впрочем, также холодно.

Володя невольно покраснел. Боже мой, букет он действительно позабыл, вернее, бросил на рельсы. А ведь Катя видела, как он собирал цветы, и ждет!.. Это было неприятно. К тому же в родном вагоне его встретило недоумевающее, даже осуждающее молчание. Вместо восторгов... Завидуют? Тотчас, посмеиваясь, пристал, как репей, Ларька Ручкин. Худой, с широкими лопатками, которые выпирали из заношенной куртки реалиста, он ни минуты не сидел спокойно, все время двигался, подпрыгивал, живой, как воробей. Он часто улыбался, показывая крупные зубы, а его большие светлые глаза поблескивали то нахальным любопытством, то насмешкой.

— Эй, ты, человек за бортом! — начал он сразу подзуживать Володю. — Ты что же с пустыми руками? Набрал бы хоть просвирушек, все бы пожевали...

— Кого? — не понял Гольцов.

— Ну конечно, — тотчас заехидничал Ручкин, — где тебе знать, что в поле растет! Это мы, голь перекатная, чуть потеплеет, переходим на подножный корм, а тебе небось утром лакей в кроватку шоколад подавал! И как ты тут с нами живешь! Ведь мучишься, а? Страдаешь?

И он прыгал около Володи, гримасничая и веселясь, будто вымещал какую-то обиду. Хотя Володя никогда и ничем не обижал этого Ларьку. Странно, право. Ведь до поезда, до этого эшелона он просто не подозревал о существовании Ларьки и о многих других соседях по вагону.

Володе претила развязность Ларьки и его приятелей, Канатьева, Гусинского... тоже реалистов, конечно. Володя вовсе не подчеркивал, что учился в частной привилегированной гимназии, это было бы недостойно. Никогда не упоминал, что его отец — известный адвокат, между прочим, защищал при царе революционеров, а мать — пе-

вица. Упомянуть об этом было тем более неприлично, что у Ручкина, как говорили, мать была прачкой, а отец — солдатом, наверно, рядовым... Но разве это давало Ларьке Ручкину право держаться с Володей так развязно? Постоянно насмехаться, непонятно над чем, словно попрекая Володю? Смешно, но этот Ларька держался так, будто был чем-то выше, значительнее Володи. А сам не говорил по-французски. В то время как Володя знал еще и английский... Особенно изощрялся Ручкин во время завтраков, обедов и ужинов. А этот Аркашка Колчин, который, как некоторые утверждали, принадлежит к партии анархистов, хотя сомнительно, чтобы анархисты принимали в свою партию четырнадцатилетних... Желудевый кофе был, конечно, скверен, но Володя пил его, как все, не морщась. Вареный картофель, правда, с солью, а то и с маргарином, мало напоминал жареных цыплят под белым соусом, но он мужественно ел и картошку. Кисель был просто странный, непонятно, из чего сделан, но и тут Володя выдерживал, съедал и добавку, если доставалось, и, как все, оставался голодным. Почему же они к нему придирались?

До сих пор, от Питера до Москвы и за Москвой, еды, как это ни грустно, не хватало. Продукты, которые для них наскребли в Питере, кончались. Но теперь, как твердил даже Николай Иванович, вообще-то удивительно равнодушный к пропитанию, начинались самые хлебные места. Уже на двух-трех последних маленьких станциях, которые поезд миновал без остановок, виднелись женщины с солеными огурцами... С мочеными яблоками! С кусочками желтого масла на зеленых, вымытых листьях лопуха! Аркашка Колчин, известный анархист и вообще выдумщик, клялся, что видел на блюде жареную курицу!..

Аркашка считал, что надо немедленно остановить поезд и экспроприировать курицу, но машинисту это почему-то не пришло в голову.

А вскоре, в Арзамасе, их ожидало, по уверениям учительниц и начальника отряда мальчишеской мелюзги, некоего Валерия Митрофановича, такое изобилие, какое могло быть разве что в сказке. Особенно взбудоражены были младшие, которым из дома тоже дали кое-какое барахлишко на обмен. С неловкими улыбками, с принужденным хохотом, но все больше с азартом заправских тор-



говцев мальчишки глотали слюни, предвкушая, чего только они не наменяют на свои сокровища. У девочек эти репетиции проходили тише, обстоятельнее, они давали друг другу советы, неизвестно откуда почерпнутые, хотя иногда тоже доходили до молчаливых обид и ссор, пока Катя Обухова не начинала на сон грядущий рассказывать меньшим любимую сказку... Это была известная сказка о том, как жили маленький мальчик и его старшая сестричка... Мать с отцом однажды куда-то очень далеко ушли, поручив мальчика старшей девочке, но гуси-лебеди утащили братца и унесли в неведомые края. Когда девочка начинала искать брата, все вслушивались с необыкновенным интересом.

— Бежала девочка, бежала,— очень серьезно, чуть нараспев, говорила Катя,— и вдруг видит — стоит печка... «Печка, печка,— спросила девочка,— скажи, куда гуси полетели с моим братцем?» — «Съешь моего ржаного пирожка, скажу»,— отвечала печка...

Все замирали, начинали сердито переглядываться, а кто-то даже ворчал, облизываясь.

— «У моего батюшки пшеничные не едятся»,— грустно отвечала Катя за девочку, заранее зная, какие сейчас последуют комментарии.

— Подумаешь! А я бы съел и ржаной! — немедленно заявлял Миша Дудин, у которого мама работала где-то в самом Смольном.— Хоть дюжину!

— Дюжину! Я бы двадцать съел...

— И я бы двадцать съела и еще на завтра оставила...

Не очень обращали внимание на то, что девочке не удалось узнать у печки, куда полетели гуси-лебеди. С напряжением вслушивались в продолжение истории этой глупой девчонки, которая ничего не ела.

— Встретила девочка яблоню,— вздыхала Катя.— Спрашивает: «Яблоня, яблоня, скажи, куда гуси с моим братцем полетели?» А яблоня ей: «Съешь, говорит, моего яблочка, скажу...» Но девочка,— пожимала плечами Катя, которой сказка тоже начинала казаться странной,— не захотела... «У моего батюшки, говорит, и антоновские не едятся...»

— Буржуйка! — негодовал Миша.— Обожралась!

И все смотрели на Катю с негодованием, словно и она была в чем-то виновата.

— Встретилась этой девочке дальше молочная река, кисельные берега,— хмурясь, строго продолжала Катя, явно осуждая девочку.— «Река, река, куда гуси-лебеди унесли моего братца?» Река говорит: «Съешь моего киселька с молоком, скажу...»

Шум поднимался такой, что закончить ей не всегда удавалось.

Но сегодня, после того как все излили свое негодование на девочку-буржуйку, Миша, уже задремывая, пробормотал:

— А может, где и есть такие края... Молочные реки... Кисельные берега...

— Конечно, есть,— решительно кивнула Катя.— Мы как раз туда едем!

### 3

И правда, когда рано утром поезд остановился, сквозь щелки в тяжелой двери Миша увидел словно сказочное царство... Да что там молочные реки! Кисельные берега! На шумном рынке, который раскинулся и справа и слева от станции Арзамас, было все! Самая невероятная царская еда. Например, кольца коричневой колбасы...

Тяжело, со скрипом, раздвинулись большие двери теплушки. Аркашка Колчин первый прыгнул на землю и заорал:

— Ага! Мы первые! Те сзади плюхаются! Нипочем не догонят! Слабó!

Меньшие, высыпав из других теплушек, тотчас подхватили:

— Ура-а! Мы первые!

Они обожали Аркашку. Но он держал их на почти-тельном расстоянии. Находиться около Аркашки разрешалось только его постоянному спутнику и ординарцу Мише Дудину.

Теперь и по утрам солнце грело вовсю, а это утро выдалось совсем летнее. Но Аркашка упорно не снимал ни старенькую, потрескавшуюся, зато настоящую кожаную комиссарскую куртку, ни кожаную фуражку.

В своем роскошном обмундировании Аркашка двигался неспешно, слова цедил через губу и делал брезгливое лицо человека, занятого исключительно важными мыс-

лями. Но долго он так держаться не мог и начинал опять лезть во всевозможные события и приключения, горланить и веселиться.

— Аркаша-ша! — кричал и дергался как ненормальный его дружок Ростик, по прозвищу Псих, длинный, тощий, в измызанной куртке гимназиста, невымытый с самого Питера, со свалаявшимися белокурыми волосами. — Наша взяла! Куча мала!

И он стал приставать к маленьким и обижать их. Миша Дудин Ростика не уважал. Оглянулся на Аркашку, ожидая его вмешательства. Из вагонов посыпались и девочки. Одни с визгом прыгали вниз, другие степенно спускались по деревянным сходням. Небольшая, худенькая, с гладкой прической девочка, сумевшая каким-то чудом сохранить и форменное платье гимназистки, и воротничок, и манжеты в таком виде, будто они только что были отглажены и накрахмалены, оказалась около Ростика. Это и была Катя Обухова, но знакомые почему-то предпочитали называть девочку Екатериной...

Ростик наслаждался, выкручивая руки какому-то незадачливому третьеклашке, который тяжело сопел, с трудом удерживая слезы.

— Ну, чего связался, — бурчал Миша, пытаясь оттащить Ростика.

Екатерина повела глазами, и одна из ее подружек, веселая красавица Тося, протянула сложенный в трость зонтик... Зонтиком Екатерина тотчас трахнула Ростика по голове. Лицо ее при этом не дрогнуло. Растерявшись, Ростик оставил свою жертву.

— Так будет со всяким, — торжественно заявила Екатерина, — кто подло обижает слабых.

Ростик ринулся на нее, но Катя очень удивилась:

— Ты хочешь меня ударить?

— А ты думала! — замахнулся Ростик.

— Я девочка, разве ты не видишь?

— Ну и что?

— А ты как будто мужчина!

— Я? — немного опешил Ростик.

Все мальчишки и девчонки жадно поглядывали на рынок, но не решались туда сразу бежать. Думали, может, будет какая команда от старших, от учителей. Меньшие

искали своего Валерия Митрофановича, который давно ускакал из поезда и теперь яростно торговался в дальнем углу рынка, присмотрев самую смирную старуху, а у нее — пудовичок муки и бутылъ подсолнечного масла...

Из старших несколько самых шустрых и беззастенчивых ребят толклись на рынке, но остальные выжидали... В толпе старших мотался Ларька Ручкин и галдел, отчаянно жестикулируя:

— Чего стоите? Сюда не принесут! Ташите свое пролетарское барахлишко из Питера, славного города революции, мелкой, здешней буржуазии! Кланяйтесь кулакам! Авось отсыпят вам пригорошню пшеницы! А на колени станете, и губы сальцем помажут! Как иудам! Валяйте, детки революции! Ложитесь на пузо, лавочники вас полюбят...

Поеживались от таких слов, пересмеивались, но не торопились на рынок, как он ни манил... Пока Володя не крикнул, радуясь, что догадался:

— Да у него, у Ручкина, менять нечего! Вот он и поет!

И толпа загоготала, веселясь, словно освободилась от чего-то... Полезла в вагоны за вещичками...

Скалясь весело и сердито, Ларька косился на Володю. Но промолчал. Менять ему действительно было нечего. Может, Володя предложил бы ему что-нибудь из своих вещей, но тут его ухватила за рукав Тося, подруга Кати.

— Катю сейчас побьют!

Аркашка с Ростиком и Мишей Дудиным отошли всего на несколько шагов, когда к ним, поправляя очки, подбежал высокий, плечистый паренек в серой, аккуратной тужурке гимназиста. За ним торопилась испуганная Тося.

— Это ты хотел бить Катю? — спросил Володя Ростика, сжимая кулаки.

— Гляди! Из недобитых буржуев! — заржал Ростик. Рядом с Аркашкой он никого не боялся. — Ты откуда такой вывернулся?

И он вытянул вперед пальцы, целясь в очки гимназиста. Тот решительно отбил руку Ростика:

— Я — Владимир Гольцов! И я тебя вызываю!

— Чего?

— Морду он тебе желает набить, — пояснил, усмехаясь, Аркашка.

— Этот? Да он сейчас маму вспомнит...

— Я полагаю, вы знакомы с правилами,— поморщился Володя.— Знаете хотя бы, что нечестно вдвоем на одного...

— Нет,— недобро сказал Аркашка.— Мы без правил. Мы уж бьем так бьем. Чтоб не встал.

— Ладно, не плачь,— посоветовал, ухмыляясь, Ростик. Он заметил, что к ним приближается Николай Иванович, учитель из их вагона.— Гуляй пока... Собирай букеты.

— А где Ручкин? — спросил Аркашка, когда друзья отошли.

— Ларька-то? — скривился Ростик.— А!.. Скучный человек.

Он достал из-за пазухи рогатку и прицелился в девочек, не решавшихся отойти от своего вагона. Миша тоже вытащил рогатку. Но Аркашка не дал стрельнуть.

— Ты что? — плаксиво возмущился Ростик.

— Что тебя все на чепуху тянет. Сейчас мы Ларьке вставим фитиль...

— Ну? — не поверил Ростик.— А как?

Но быстро спрятал рогатку и потопал за Аркашкой.

— Жрать нечего? — на ходу бросил Аркашка.

— Брюхо подвело,— согласился Ростик, шаря глазами по унылому вокзалу. Миша только вздохнул.

— А мы достанем.

— Менять не на что, всё уж променяли. Или ты решился?..— задохнулся Миша, уставясь на комиссарскую кожанку Аркашки.

— Меняют мещане! — гордо пояснил Аркашка.— Мы экспроприруем.

— Это как?

— Я вас научу. Возьмем, и все. Раз нам надо.

— Ого?! — обрадовался Ростик.— А Ларьке — шиши! Я перед ним нарочно почавкую, чтоб он обслюнявился...

— На всех достанем,— нахмурился Аркашка.— Пусть знают, кто такой Аркадий Колчин!

— И Михаил Дудин,— выпятил грудь Миша.

— Не то, что какой-то Ларька Ручкин, хоть он и хвалится, будто Зимний дворец брал...

Они вступили на рынок плечом к плечу. Миша старался не отвлекаться. Впереди шел Аркашка. Его комиссарская куртка и фуражка произвели впечатление.



На Ростика тоже поглядывали с опаской, хоть и по другой причине. Как только ребята увидели на прилавке большой кусок розового пахучего сала, Аркашка, бледный, решительный, грозно сверкая черными глазами, протянул руку, не торопясь сунул сало под мышку и проворчал:

— Как буржуйские излишки, экспроприруем... Да здравствует анархия!

Повернулся кругом и тем же твердым шагом двинулся на выход, в сторону эшелона.

Миша во всем подражал Аркашке, пробовал сверкать глазами, но Ростик не выдержал и по-глупому победно ухмыльнулся: знай, дескать, наших... Тут только тетка, которая продавала свинину и сало, голосистая базарная торговка, подрастерявшаяся от кожного великолепия Аркашки и его загадочных слов, несколько воспрянула духом.

— Караул! Люди добрые! Режут! — завопила она. — Воры проклятые! Грабители! Да не дайте им уйти с моим салом! Да вон же они! Ворюги, дьявольское отродье!

Ростик, который, похоже, бывал в таких переделках и знал, что сейчас начнется, незаметно растворился в толпе. Но Миша не покидал Аркашку и, не сводя с него глаз, старался смотреть так же строго и независимо. На них лезли со всех сторон злобные морды, готовые не то что ругать или бить, а кусаться, как бешеные собаки. Но Миша не боялся, хотя и было страшно. Ничего, рядом Аркашка, а там — ребята, целый эшелон...

— Ишь, ворюги, повадились!

— Питерское ворье, ученое!

— Мы не воры! — еще выше вскинул голову возмущенный Аркашка. — Мы не крали!

Сало у него между тем торговка выдернула и, на ходу выдав затрещину Мише, убралась восвояси, все еще вереща на весь базар.

— Не крал? — лезли к ним страшные рожи. — А чего же ты сделал?

— Мы — экспроприировали! — гордо объявил Аркашка.

— Чего-о? — вылупили на него глаза ближние, не в силах даже выговорить такое слово.

Только и это вряд ли выручило бы ребят... Миша увидел в толпе любопытствующих своего руководителя,



Валерия Митрофановича, и так обрадовался, что забыл полученную затрещину.

— Валерий Митрофанович! — закричал он. — Это я, Миша Дудин...

Но странное дело — Валерий Митрофанович только что был, и недалеко, и тотчас же его не стало...

Уже потные, хваткие лапы брались за Аркашку и Мишу, и плохо бы им пришлось, но появились Николай Иванович и старшие ребята.

Николай Иванович заговорил таким строгим и насмешливым голосом, от которого в классе сразу становилось тихо. И здешние несколько поутихли. Пошумели потом еще, пробовали не отдавать Аркашку и Мишу, но тут Ларька Ручкин влез.

— Ладно, не отдавайте! — фыркнул он, размахивая руками. — Мы сейчас и остальных сюда приведем! Триста человек!

Пользуясь тем, что ближние призадумались, Аркашка, Миша и откуда-то взявшийся Ростик пошли за Николаем Ивановичем сквозь неохотно раздвигавшиеся рожи.

— Вот народ, а? — услышал Миша серенький и ровный голос Валерия Митрофановича. — На детей бросаются! Вот она, свобода...

И он пододвинулся к Мише и даже взял его за плечо, охраняя от нехороших людей, как обещал Евдокии Ивановне.

Когда выбрались к эшелону, Аркашка, все еще kloкоча от злости и обиды, вытащил из внутреннего кармана кожанки последнюю, купленную им в Питере, газету.

— А это что? — хлопнул он по газете ладонью.

— А что? — ухмыльнулся Ларька. — Опять про твою анархию?

— Читай, если грамотный! — ткнул ему Аркашка в нос газету и, не дожидаясь, сам прочел:

— «...авангард революции в Питере и во всей стране должен подняться массой, должен понять, что в его руках спасенье страны, что от него требуется героизм не меньший, чем в январе и октябре пятого, в феврале и октябре семнадцатого года, что надо организовать великий «крестовый поход» против спекулянтов...»

— А ты сорвал крестовый поход! — закричал Аркашка в лицо Ручкину.

Все, кто смотрел в газету, увидели, что это — «Правда», статья называлась «О голоде», и внизу стояла подпись — «Н. Ленин».

Ларька увидел еще две ленинские строчки — «За непомерно тяжелым маем идут еще более тяжелые июнь, июль и август...»

Ларька привычно скалился, но на душе было невесело и в глазах туман; даже когда увидел неподалеку своих, Катю Обухову, не повеселел...

#### 4

Поезд с ребятами оставил Арзамас позади и продолжал двигаться на восток, к Волге; эшелоны, шедшие сзади, не догнали его в Арзамасе... Над нежной зеленью полей, курчавыми перелесками, тоненькими, как синие жилки, речками сияло доброе солнце...

После обеда полагался час отдыха; потом, как и с утра, уроки. Пока же Ларька со своими приятелями стоял у открытой двери вагона и горланил, счастливо улыбаясь во весь щербатый рот:

— «Наш паровоз, вперед лети. В коммуне — остановка!»

Дряхлый паровозик старался изо всех сил, выжимая верст по двадцать в час, что было по тем временам совсем неплохой скоростью. Когда стоишь в открытых дверях теплушки и свежий ветер бьет в лицо, в грудь, а поля, рощи, мирные деревни, домишки стрелочников, вся своя русская земля приветствует тебя легким, сизым дымком над избушками, взмахами душистых веток, криками отлетающих в сторону ворон, — кажется, будто ты не просто в поезде, а наконец-то на боевом коне, а еще лучше — на броневике... Вроде тех, с какими Ларька стоял рядом, пробовал залезть, но не дали, бежал за ними чуть не до Зимнего в ночь на 25 октября... Слышал, как шарахнула пушка и пробила крышу Зимнего... И кто-то кричал, что будто прямо над царскими комнатами и Николашка небось с испугу окочурился... Другие объясняли, что царя во дворце нету. Ларька не поверил, пролез-таки в ту ночь в Зимний, в толпе солдат, рабочих, студентов, матросов взлетел по широкой лестнице... Царя нигде не было, да

и на кой он! На каждом шагу Ларьку гнали прочь, но он только делал вид, что слушается, а сам ужом пробирался вперед...

— «Иного нет у нас пути! — самозабвенно и звонко орал он сейчас, свысока поглядывая на тихие поля.— В руках у нас винтовка!..»

Винтовки-то как раз не имелось ни у Ларьки, ни у его товарищей, и это несправедливо. Винтовка, хотя бы наган, а лучше, конечно, маузер в шикарном деревянном футляре — вот что потребуется в эту ночь... Тогда тайна откроется наконец всем, и Кате Обуховой. Хотя она на Ларьку ноль внимания, потому что он по-французски ни бельмеса. Ну ничего, она его еще вспомнит...

Когда кончилась песня, стали слышны тихие разговоры по углам вагона:

— Отсюда, пожалуй, не удерешь. Скоро Волга.

— А ты правда хотел сбежать?

— Само собой. На что мне ихний курорт? Это родители придумали, спихнули меня.

— А голод?

— Подумаешь! Ну и что?

— А чего сидеть дома? Тут интереснее.

— Интереснее! Они там и правда голодают. У нас двое совсем еще маленьких.

— И у нас тоже.

— А я все равно не хотел ехать. Я отцу твердо сказал, что буду есть вообще через день. А он не послушал...

Ларька усмехнулся, блеснули зубы: детские разговорчики какие-то. О чем думают, о чем мечтают, когда по шпалам, рядом, в громе музыки, ржанье лихих коней, победных кличах, пролетает мировая революция... Это слабаки мечтают о доме. Им, непролетарским элементам, нужны папеньки и маменьки. А нам нужна винтовка! Лучше бы маузер...

Хотя Ручкин и Аркашка Колчин с недоверием поглядывали друг на друга и каждый старался быть впереди, но в тот вечер они думали одинаково.

Аркашка, дежуривший в вагоне младших ребят, запальчиво возмущался:

— Заехали! И фронта никакого не слышать! Вот глухомань! Одни проклятые торговки, одни спекулянты командуют! Вот тут и делай мировую революцию...



Слушали его раскрыв рты. Даже те, кто ничего не знал и не думал ни о какой революции, а соображал про себя, надежно ли укутаны соль и мука, вымененные в Арзамасе...

Шепотом хвалились своими необыкновенными удачами на рынке. Это надо же! За какие-то отцовские штаны, которые зря висели в шкафу и только занимали место, дали полный стакан соли, мешочек пшена фунта на три и еще три моченых яблока... Кто-то признался, что выменял на бабушкины часы целый круг колбасы. Они хвастались, не замечая, что серый волк не только бродит поблизости, но и все слышит. Это был, конечно, Ростик. Сначала он, делая вид, что внимательно слушает Аркашку, потихоньку кланчил у самых богатых малышей:

— Дай укусить яблочка! Дай кусманчик колбаски!

Но так как богачи все жадные и не торопятся расставаться со своими богатствами, Ростик переходил от убеждения к принуждению. Сгребал нежную шкурку хозяина яблочек и колбаски и мучил до синевы, пока не получал свой кусманчик. Так он пиратствовал и набивал бездонный живот, а рядом Аркашка пел сладкие песни о свободе:

— Жили, как люди, кто в Питере, кто в Москве. Ждали своего часа! Чтоб на фронт! Бить мировую контру! Я, конечно, за анархию, потому что только она дает полную свободу! Каждый человек — вольный! Делают, что хотят!

— А мы? — спросил Миша с надеждой.

— Кто это — мы?

— Ну, ребята...

— А нам, если хочешь знать, свобода нужна в первую очередь! Мы же самые закрепощенные! Нас все угнетают! Родители! Учителя! Почему-то не пускают на фронт...

Но тут вмешался незаметно подошедший Валерий Митрофанович.

— Колчин, прошу вас, — сказал он, беря Аркашку под руку и отводя его в сторону. — Я хотел спросить... Вы что, действительно анархист?

— Да, — приосанился Аркашка, — по убеждению...

— И у вас что же, есть оружие? — с явной опаской, но принуждая себя улыбаться, спросил Валерий Митрофанович.

— Какое это имеет значение? — вспыхнул Аркашка.

— Никакого,— согласился Валерий Митрофанович с облегчением и на всякий случай еще раз обшарил Аркашку глазами.— Я хотел только сказать, что если мы с вами, взрослые люди, можем иметь убеждения, то младшие классы еще не доросли, им еще рано... Вы согласны со мной? Вот вы с ними делитесь, а они ничего не понимают. Вы со мной лучше. Я давно интересуюсь анархизмом!

В душе польщенный, но внешне хмурясь, Аркашка наклонил голову.

— Вряд ли я смогу быть вам полезным,— произнес он с важностью.

— Почему же?

— Да так,— загадочно вздохнул Аркашка.— Обстоятельства.

— Ну, разве что обстоятельства...

Аркашка напустил такого тумана, что Валерию Митрофановичу захотелось попытаться, в чем дело. Но свою тайну Аркашка хранил свято.

Потом, уже к вечеру, когда солнце спряталось за лиловыми холмами, поезд неожиданно остановился. Оказывается, у паровоза отвалился кусок трубы. Машинист, вытирая паклей руки, ходил вокруг своего паровоза, как около старого, верного коня, и жаловался, что не сегодня, так завтра полетит какой-то клапан...

— И вообще я сомневаюсь на этом паровозе ехать,— хмуро говорил машинист, задирая лицо к тусклому, вечернему небу.— Без трубы не приходилось...

Из всех вагонов бежали смотреть на щербатую, как Ларькин рот, трубу. Чем больше народа сбегалось на нее любоваться, тем становилось веселее. И только Илларион Ручкин и Аркадий Колчин, эти главные заводилы, держались почему-то сзади. Ни авария с паровозной трубой, ни даже землетрясение не отвлекли бы Ручкина и Колчина от стоявшей перед ними задачи особой важности. При этом и Ларька и Аркашка словно не замечали друг друга. Похоже, что каждому из них было чем-то неприятно поведение другого. Может, тем, что вели они себя очень похоже...

Но остальным ребятам не было дела до таинственных переживаний Аркашки и Ларьки.

Только Миша Дудин настороженно и взволнованно

следил за Аркашкой, чувствуя, что тот задумал что-то необыкновенное, и был очень удручен, что даже ему ничего не открыто...

Эшелон стоял в чистом поле. Это было отличное приключение! Наступали сумерки. С поля не доносилось ни звука. Тут, конечно, были жители: птицы, мыши, какие-нибудь жучки и кузнечики. Но одни из них уже спали, а другие притаились, приглядывались, наверно, из кустов и норок, что станет делать эта ворвавшаяся к ним компания.

После тряски в надоевших вагонах было так приятно посидеть на теплой насыпи, поваляться на молодой траве, пока машинист и Николай Иванович решали, можно ли паровозу ехать дальше и будет ли это прилично, хорошо — без трубы... Наконец Николай Иванович объявил:

— Сейчас машинист проверит еще раз клапаны и даст сигнал на посадку...

Ребята разочарованно загудели.

— А вы чего бы хотели? — посмеиваясь, спросил Николай Иванович. — Тут остаться?

— Вот бы здорово!

— Давайте тут ночевать!

— Костры разведем!

Николай Иванович с удовольствием рассматривал Мишу Дудина и других четвероклассников, которые шумели больше всех.

— Куда мы едем? — спросил Николай Иванович.

— В город Миасс! — завопили малыши.

— Это где?

— На Урале!

— Кто вспомнит, чем славен Урал?

Когда малыши выдохлись, заговорили старшие. Как и в других случаях, скоро выяснилось, что соревнуются лучшие — Катя-Екатерина, Володя Гольцов и Ларька Ручкин. Что касается Аркашки, то хотя соображал он вообще-то неплохо, но не хотел и слышать, чтобы учиться еще и в эшелоне. Он принимал это как личное оскорбление, как совершенно непереносимое покушение на его свободу. Когда же на него нажимали или Ручкин начинал насмехаться, Аркашка вспыхивал и сжимал кулаки:

— Ты что? Тут — революция! Свобода! А тут — какой-то плюсквамперфектум! Будто жаба квакает...

И теперь он презрительно пожимал плечами, пока Володя Гольцов говорил о знаменитых уральских купцах-фабрикантах Демидовых и Строгановых, которые, по словам Володи, создали в этом диком крае промышленность и чуть ли не свое государство, нажили миллионы... Даже когда Катя Обухова заговорила о чудесах Ильменского заповедника минералов, где ребята, конечно, скоро побывают, Аркашка слушал холодно. Он смотрел на Катю проникновенными, черными, цыганскими глазами и удивлялся: неужели она ничего не чувствует? Неужели не понимает? Ну при чем тут какой-то Ильменский заповедник, какие-то минералы...

— А что скажете вы, Илларион? — с явным интересом, хотя и посмеиваясь как будто, спросил Ручкина Николай Иванович.

И тот, приподняв углом плечи, скаля по обыкновению зубы, отрубил:

— Урал выковал великих революционеров! Которые ставили к стенке Строгановых, Демидовых и иных прочих!

И хотя при этом он даже не смотрел на Володю Гольцова, во взгляде Ларьки светилось откровенное торжество. Не удержавшись, Ларька скосил веселый глаз на Катю Обухову... К крайнему своему удивлению, он уловил в ее лице неприязнь...

— Не понимаю, о каких, собственно, великих революционерах идет речь! — пожал плечами Гольцов.

— Например, о Емельяне Ивановиче Пугачеве! — победно посмеивался Ларька, глядя почему-то на Катю. — Об Иване Никифоровиче Чике-Зарубине! Правой руке Пугачева! К ногам которого падали Строгановы, Демидовы и их лизоблюды! А рабочий народ поднимался!

— Почему вы кричите, Ручкин? — тихо, но сердито спросила Катя. — Вы на нас кричите?

— У меня голос такой, — небрежно пожал плечами Ларька. Теперь он не смотрел на Катю.

— Подумаешь, трибун, — усмехнулся Гольцов.

— Урал дал революции и ее трибунов! — снова загремел Ларька. — Тут работал товарищ Артем! С Урала — товарищ Свердлов!

Но вокруг молчали. А хорошенькая вертлявая хохотушка Тося, подруга Кати Обуховой, прищурилась на Ларьку:

— Воображала!

— Я? — до того удивился Ларька, что даже не улыбнулся.

— Все сворачиваете на политику! На революцию! Будто в этом понимаете...

— Ну как же, он Зимний брал! — подхватил Володя и что-то звонкое сказал по-французски Кате. Она недобро усмехнулась.

И другие обиженно зашумели:

— Ручкин — революционер! Ха-ха!

— Большевик!

— Без него и революции не было бы! Все он!

— Задается! Строит из себя!

Ларька вертелся из стороны в сторону:

— Когда я говорил, что Зимний брал?

— Говорил! Говорил!

— Ну, не ты говорил, так твои приятели, Канатьев с Гусинским и другие...

Коренастый, стриженный ежиком Гусинский и курносый, с вьющимися светлыми волосами Канатьев, по прозвищу Боб, возмущенно переглянулись:

— Ну и что? Он в ночь революции был там, в самом дворце, а вы все проспали! И сейчас спите!

Послышались умиротворяющие голоса, призывы оставить политику, но многие были недовольны. Их давно обижали шуточки Ручкина, его независимость, взрослость; другим мозолила глаза комиссарская куртка анархиста Колчина. Особенно действовало вызывающее поведение Ростика, который, ссылаясь на свое пролетарское происхождение и революционные заслуги, то выколачивал сладкий кусок или удобный ночлег, а то демонстрировал пренебрежение к буржуям и контрикам, куда зачислял всех ребят подряд.

— Вы что, действительно считаете себя революционером? — насмешливо спросила Ларьку Катя Обухова.

— Вы еще ахнете, — тихо, только ей, сказал Ларька, вздохнув.

Тут стремительно влез Аркашка, который все время высокомерно морщился.

— Где вы, мадемуазель, увидели революцию? — набросился он на Катю. — Революция еще впереди! Она сметет с Земли все. Города. Границы. Страны. Будет

чистая, свободная Земля, одна для всех! И на ней — люди, свободные, как ветер!..

— Пока до этого дело еще не дошло, — хладнокровно сказал, возвращаясь от паровоза, Николай Иванович, — все по местам.

А до пожарищ, боев, смертных мук, о которых никто и не думал, оставались лишь сутки...

## 5

Этой ночью в вагонах, где жили младшие, у девочек дежурила Тося, у мальчиков — Володя. Их дежурства не любили, потому что Володя старался быстрее уложить мальчиков спать, чтобы читать какую-нибудь интересную книгу; к тому же он легко сердился и тогда обзывал всех козявками. А Тося так придирчиво и брезгливо осматривала руки, ноги, шеи, за ушами, потом — постели, что расстраивались самые стойкие и веселые девочки. А те, кто был послабей, потихоньку плакали.

— Мне что, доставляет удовольствие разглядывать ваши грязные уши? — ворчала Тося. — Такие грязнули завтра заведут насекомых! Начнется тиф! Мы все умрем! Тогда не так заплачешь, — укоряла она самую несчастную девочку.

И когда наконец все заснули или сделали вид, что спят, эта девочка еще всхлипывала...

Тосе казалось, что всхлипывает она нарочно, ей назло, просто дразнится.

— Ну, в чем дело? — проворчала над ней Тося.

Девочка молчала.

— Я тебя спрашиваю!

В ответ не то новый всхлип, не то тяжкий вздох.

— Изволь отвечать!

Соседка, напуганная грозным голосом Тоси, прошептала:

— Я знаю, почему она плачет. Она хочет...

— Не смей, — подскочила плакса, — молчи!

— Ах, вот ты как разговариваешь, — рассердилась Тося. — Перебудила весь вагон своими фокусами... Немедленно сообщите мне, в чем дело! Иначе завтра обе будете без завтрака.

— Она хочет к маме,— робко сообщила соседка.

Тося несколько растерялась, но тут же громко захохотала:

— А больше ты ничего не хочешь? Значит, ты хочешь к маме...

— Ничего я не хочу! — Жест отчаяния.— Это она хочет...

— Тихо,— сказала Тося.— Только тихо. А то я, знаете, что с вами сделаю?..

И она так взглянула на обеих, что девочки притихли. «К маме они хотят,— бормотала Тося, отходя.— Вытирай тут сопли...» Ни за что не призналась бы она в том, что и ей ужасно захотелось к маме, домой...

Между тем в учительском вагоне распекали Николая Ивановича за его непедагогическое отношение к нелепым выходкам учеников старших классов, их увлечению политикой... Среди персонала учителей первого эшелона были лишь двое мужчин — Николай Иванович и Валерий Митрофанович; учительниц же было шестеро, и из них одна совсем молоденькая, Анечка, Анна Михайловна... Ее до того все любили и опекали, что она всерьез подумывала, а не сбежать ли на первой же большой станции?..

Особенно сторожили ее от Николая Ивановича, который хоть и не покушался никак на Анечку, но тоже был человек молодой, ненадежный... Он обнаруживал совершенно неположенный педагогу интерес ко всем этим большевикам, меньшевикам, эсерам, анархистам и явно несерьезно относился к дисциплине и разумному времяпрепровождению учеников.

— Они — дети,— величественно внушала Николаю Ивановичу крупная седая женщина с устоявшимся, густым, манерным голосом.— Хоть в этом вы с нами согласны?

Ей, ранее начальнице рядовой питерской женской гимназии, было поручено руководство эшелонам.

Николай Иванович, сняв пенсне, застенчиво улыбнулся и снова водрузил толстые стеклышки на длинный, иронический нос. Учительницы снисходительно переглянулись, бросив взгляд на Анечку: не сочувствует ли она, не дай бог, этому странному молодому человеку?

— Они — дети, прежде всего дети, и пусть не смеют ничего воображать...

— Да, да, некоторые просто невозможны,— присоединилась Анечка.— Там есть такой, в комиссарской куртке, уверяет, что он анархист, и я слышала, как его просили показать, где он прячет бомбу...

— Как — бомбу? — ахнула изможденная, чем-то похожая на козу, учительница литературы.

— Да нет у них никакой бомбы,— отмахнулась начальница.— Выдумки.

— Хороши выдумки...

— Николаю Ивановичу они нравятся...

— Дети? Конечно,— сказал наконец Николай Иванович, пожимая плечами.— Но четыре года войны, хоть и далекой, а главное — революция, которой они все заглянули в лицо, разве могли пройти даром? Разве не сделали они этих детей серьезней, взрослее? Ну да, одни упорно прячутся в привычный мир школы, в воспоминания о доме, не хотят ничего знать, даже слышать о перевернувшемся мире...

— И слава богу.

— Но другие жаждут новых бурь и потрясений...

— Одни хотят продлить детство...

— Это и есть нормальные дети.

— Других оскорбляет мысль, что они — дети!

— Вздор.

— Такие, как Колчин или Ручкин, пожалуй, видят себя на коне, в бою...

— Не смешите нас, Николай Иванович,— басом сказала начальница, улыбаясь.

На очередном полустанке, где паровоз набирал воду, Николай Иванович вернулся в вагон к старшим ребятам, где обычно спал. В эту ночь ему спать не пришлось. Когда он пробирался к своему месту, приподнялся Володя Гольцов и тихо спросил:

— Николай Иванович, вы отсылали куда-нибудь Ручкина и Колчина?

— Нет. А что?

— Куда-то они делись.

Николай Иванович сунулся туда, где обычно спали Аркашка и Ларька.

— Да нету их,— весело сказал Володя.— Исчезли! И он рассказал о том, что видел своими глазами:

— Понимаете, мне не спалось... Мысли о доме, о том,



как дальше сложится жизнь... Если хотите, и недоумение от намеков Ручкина, что я — лизоблюд и меня надо к стенке... (Николай Иванович нетерпеливо зашевелился.) Да, да, и вот когда уже совсем стемнело, вижу, в дверном проеме возникла тень... Мы же до вашего возвращения не закрываем дверь. Сначала я не понял, кто это. Потом озарило: Ручкин! Он был одет и в руках держал какой-то узелок. Этот узелок мешал ему. Он попытался раз и два вылезти из вагона на крышу.

— Ах, на крышу! — оживился Николай Иванович. — Так, может, он в другом вагоне?

— Может... — уже не так весело уронил Володя.

— Колчин был с ним?

— Нет, Колчин поднялся, когда Ручкин исчез.

— И он тоже полез на крышу?

— Нет, прыгнул, и все.

Зная, что Ручкин дружит с Канатьевым и Гусинским, а к Аркашке присосался Ростик Гмыря, Николай Иванович растолкал всех троих. Было совершенно ясно, что они давно не спали, прислушиваясь, о чем учитель толкует с Гольцовым, но все же так долго продолжали притворяться мертвецки спящими, что в конце концов перебудили весь вагон. Ни Канатьев, ни Гусинский, ни Гмыря ничего не знали о беглецах. Во всяком случае, они твердо стояли на том, что ничего не знают, и горько обиделись, когда их заподозрили во вранье.

## 6

Даже Николай Иванович немного знал об Илларионе Ручкине. Учительницы похваливали Ларьку за хорошие успехи в занятиях, дивились его сообразительности; все это покровительственно, не то с умилением, не то с удивлением. Или с огорчением, когда он им ни с того ни с сего грубил... А до остального им дела не было. Лучше других обстоятельства жизни Ларьки известны были Валерию Митрофановичу: Ручкин, как и Миша Дудин, учился в четвертом реальном училище, где Валерий Митрофанович преподавал черчение. Но этот учитель не очень-то рассказывал о Ларьке: то ли считая подобный предмет незначительным, то ли учитывая, что

отец Ручкина — солдат, старший брат — матрос, и тот и другой небось большевики, так что осторожность и оглядка не мешали... Да и Ларька запомнился Валерию Митрофановичу мальчишкой строптивым и дерзким.

Два года назад в четвертом классе училища по вине Ручкина произошло великое побоище. У Ручкина была отвратительная манера задира́ть мальчиков из приличных семейств. На этот раз он несколько дней приставал к своему однокласснику, сыну почтенного инженера, мальчику хоть и туповатому, но воспитанному и не по летам сильному... К тому же отец, страстный спортсмен, показал сынишке простейшие приемы бокса, и когда Ларька в сотый раз полез к мальчику с наглыми предложениями побоксировать, с насмешками над его часами, запонками, лаковыми туфлями, мальчик наконец не выдержал и стал в позу боксера. Это дало Ларьке повод к новым ядовитым смешкам, пока не начался бой, и тут Ларьке, как он ни петушился, пришлось плохо. Но и сбитый на пол, он, против всяких правил, цеплялся за своего противника, хватал его за ноги, пока не свалил. Они продолжали драку лежа, и это был не цивилизованный бокс, а черт знает что. Ощерившись по обыкновению, словно смеясь, Ларька дрался со злобой, с остервенением, совершенно непонятными в двенадцатилетнем мальчике... Улучив момент, он с наслаждением запустил чернильницей и на этот раз действительно захохотал, когда нарядный костюмчик и даже лицо врага украсились темно-синими разводами.. Кто-то заступился за «боксера», кто-то за Ларьку, и через несколько минут дрался весь класс. Прибежавший на грохот и боевые кличи Валерий Митрофанович ничего не мог поделать. Ларька и на него успел оскалить зубы. Только когда кто-то из сражающихся заметил директора училища, молча стоявшего в дверях, началось похмелье...

Эти приступы непонятной злости случались у Ларьки и потом.

Многим он казался странным. По природе открытый, добродушный, веселый, он легко и, казалось, без поводов замыкался в себе, прятал обозленные глаза...

У него почти никто не бывал дома; толком и не знали, где он живет. В классе было всего двое мальчиков, с которыми Ларька был откровеннее, чем с другими,— Толя Гусинский и Боб Канатьев, во многом такие же странные,

неуравновешенные, в таких же штопаных рубашках, без носовых платков и в дырявых башмаках. Ребята иногда навещали Ларьку и дома. Впрочем, все трое неохотно ходили в гости друг к другу.

Когда все возвращались из школы, Ларька сворачивал обычно в подъезд большого, вполне приличного дома. Никого не интересовало, что подъезд был сквозной, выходил во двор. И тем более никому не приходило в голову, что Ларька жил вовсе не в этом приличном доме, а во флигельке, похожем на ветхую каменную сторожку, в глубине двора. Это и была сторожка, точнее, дворницкая, в которой помещались теперь три семьи. Не стоит рассказывать о том, как они жили, как постоянно ссорились и мирились, как матери занимали друг у дружки пяточки, как низко кланялись жильцам большого дома и тут же, вдогонку, проклинали их, хотя в большом доме, конечно, жили не цари и не министры с генералами, а довольно обыкновенный чиновничий люд. Был, правда, еще жилец — директор банка, занимавший целый этаж; говорят, там насчитывалось одиннадцать комнат...

Детям из дома категорически запрещалось общаться с детьми из дворницкой. Когда же Ларька пошел учиться в реальное, это вызвало в доме не то чтобы осуждение, но растерянность и затаенное недовольство... С одной стороны, хорошо, конечно, что бедный мальчик будет учиться, это похвально... Однако, помилуйте, нелепо все же, что он и наши дети, которые, как ни печально, тоже ходят в реальное, вдруг окажутся в равном, что ли, положении?..

Когда Ларька взбирался по давно скособоличившемуся крыльцу в коридорчик, куда выходили двери всех трех клетушек, он вздыхал с облегчением, хотя никому, даже себе, не признался бы в этом. Здесь он наконец-то испытывал сладостное и так необходимое человеку чувство равноправия, отбрасывал и злость, и обиды, и притворство, здесь он был самым собой, веселым, душевным парнем, которого все любили. И уже не надо было прятать дырявые башмаки, стыдиться ветхих, застиранных ситцевых занавесок, горшка ярко-красных цветов герани на щелястом подоконнике, сколоченных отцом табуреток вместо стульев, застоявшегося запаха стирки, дешевой еды, мокрых валенок, махорки...

Здесь Ларька становился наконец вольным и бездум-

ным мальчишкой, чего ему так хотелось и в школе... Но там не получалось. Там для игры в футбол требовался не только настоящий кожаный мяч, но и форма — полосатые трусы до колен, майки с эмблемой, специальные ботинки — бутсы. Здесь можно было играть босиком на великолепном пустыре-свалке, куда не смели наведываться не только дети из дома, но и вообще все приличные дети из всех близлежащих приличных домов. Мяч заменялся купленным на рынке бычьим пузырем, упрятым в сшитый своими руками брезентовый чехол. Мяч надували не каким-то глупым насосом, а собственным ртом, и все знали, что у Ларьки грудь необыкновенной ширины, воздуха в нее влазит больше, чем у кого другого, и поэтому только ему доверялась ответственная и немного таинственная операция надувания мяча.

Взяв с ребят слово, что о случившемся они будут молчать и не сделают ни шага из вагона без его разрешения, Николай Иванович двинулся тем же путем, каким исчезли Ларька и Аркашка. Он был хорошим гимнастом, и ему ничего не стоило вылезти на крышу из неторопливо двигавшегося вагона. Подобное искусство освоили в те годы и женщины, пока добирались в переполненных вагонах до хлебных мест, и возвращались домой с добычей или с пустыми руками...

Щедро светила равнодушная луна, ночи стояли самые короткие, так что казалось, будто уже светлеет, хотя едва перевалило за полночь. Но как ни вглядывался Николай Иванович в даль, стоя на подрагивавшем вагоне, ничего нельзя было рассмотреть. Он пошел по крыше к следующему вагону, перепрыгнул и так прошел весь состав до паровоза. Он еще надеялся, что найдет Ларьку и Аркашку в одном из тамбуров, куда кое-кто выбирался, чтобы тайком покурить. Но там их не было. Спускаться к машинисту Николай Иванович не стал, не к чему было затевать тревогу — дело все равно ночное, да и мальчишки, может, в поезде. Он медленно пошел по крышам обратно, присматриваясь к дверям вагонов. Все двери были закрыты. Но на одной из них Николай Иванович заметил что-то новенькое. Между скобами двери что-то белело... Оказалось — тетрадка. Нелегко было ее достать. На первом листе он прочел: «Николай Иванович, не поминайте лихом. Ну ее, такую сучищу. Да здравствует свобода! Ски-

талец морей». Почерк скитальца морей легко угадывался — это был, конечно, Колчин. На следующей странице под тщательно выписанными славянской вязью буквами «Е. О.» и строкой Тютчева: «Я встретил вас, и все бывшее в отжившем сердце ожило», шли еще стихи, которые Аркашка стащил у разных модных поэтов, например:

Берегись! Берегись! Берегись!

Нам завидуют бедна и высь.

На земле, — нет труднее труда, —

Так не встречаются никогда...

— Белиберда, — резюмировал Николай Иванович, неожиданно для себя в рифму. — Игорь Северянин, — пробормотал он потом, без малейшего одобрения. Взглянул еще:

Мы во власти мятежного, страстного хмеля;

Пусть кричат нам: «Вы палачи красоты»,

Во имя нашего Завтра — сожжем Рафаэля,

Разрушим музеи, растопчем искусства цветы...

— Кириллов, — так же сухо констатировал Николай Иванович.

Больше он читать не стал. Задумчиво посмотрел на буквы «Е. О.» в вензеле, учел, что вагон этот — старших девочек, среди которых безмятежно спит, надо надеяться, и небезызвестная Е. О.

Николай Иванович выдрал первую страницу, адресованную ему, всё же остальное засунул обратно за скобу, чтобы Е. О. могла насладиться в полной мере. Он уже собирался возвратиться на крышу, а там и в свой вагон, но обнаружил, что вся дверь, и снизу и в зазорах, до верха убрана цветами... Цветы были прохладные и влажные. Самый большой букет перехватывала черная матросская ленточка, одна из двух ленточек, которые Ларька берег пуще глаза...

— Ну-ну, — пробормотал Николай Иванович, тщательно засовывая этот мокрый букет и, главное, ленточку так, чтоб они не вывалились. — И ты, Ручкин...

Когда он вернулся в свой вагон, там, конечно, никто не спал. При появлении Николая Ивановича все замолчали.

— Нашли? — с надеждой спросил Ростик, когда Николай Иванович вернулся из своего путешествия по составу.

— Говорите, что знаете,— потребовал Николай Иванович.

Все долго молчали, потом Гольцов не выдержал.

— Да на фронт они удрали, ей-богу,— хихикнул Володя.— Раньше дурачки в Америку бегали, ну а теперь — на фронт!

— На какой фронт? — удивился Николай Иванович.— Тут хоть месяц скачи, ни до какого фронта не доскачешь.

— Что я говорил! — обрадовался Ростик.— На что им тот фронт, тоже сказанул... Они ребята — гвоздики, что-нибудь стоящее придумали...

И он завистливо облизнулся. Но тут же охнул, потому что Канатьев слева, а Гусинский справа молча съездили его по шее.

— Значит, на фронт? — переспросил Николай Иванович и добавил, не дожидаясь ответа: — Они что же, давно сговорились?

— Ну да! Аркашка просто примазался...— с огорчением пробурчал Канатьев.

— А вы чего тут торчите? — хмуро спросил Николай Иванович Ларькиных друзей.— Вас когда провожать на ратные подвиги?

Гусинский смотрел мимо и явно не собирался отвечать, он был вообще молчалив. Канатьев обиженно объяснил:

— Ларька не велел. Слово с нас взял...

Постепенно они все-таки разговорились. Выяснилось, что Ларьке невыносима, нестерпима, оскорбительна была сама эта идея — увезти его из красного Питера в какие-то хлебные места... где он будет жевать, а мировую революцию станут делать другие!..

— Если бы не мать, он бы остался в Питере или, в крайнем случае, в Москве,— тихо объяснял Боб Канатьев.— Но из Москвы еще могли матери сообщить. А отсюда, он так считает, никакое письмо не дойдет. Ларька как встретит красных конников, сразу попросится в отряд. Его возьмут, он вон какой длинный и ловкий. И потом, он кого хочешь уговорит. Дадут ему боевого коня! И тогда...

— Молчи! — басом сказал Гусинский, и так гневно, с таким негодованием, что бедный Боб мгновенно притих.

Впрочем, дальнейший план Ларьки был теперь уже

ясен. На добытом коне он обещал вернуться и взять с собой своих верных друзей...

Когда же в дворницкой взрослые заводи́ли серьезные разговоры, никто не гнал ребят, и Ларька с чувством освобождения от каких-то никчемных запретов слушал, как разделявают на все корки Николашку, ничтожного царька, который расстрелял народ перед своим дворцом, народ, шедший к нему с надеждой и с иконами, а теперь позволяет проклятой немке-царице продавать Россию на войне, царишка, который только и знает, что сладко есть и спать, когда вседохнут от голода, кроме его лизоблюдов, и которого давно пора сковырнуть и гнать взащей.

Когда царю и правда дали по шее, ликовали, к удивлению Ларьки, не только в дворницкой, но и доме... Живущие в доме тоже нацепили красные банты, кричали «ура!» и «долгой самодержавие!», и это было до того непонятно, горько, обидно, что в этот день кажущегося всеобщего объединения среди мальчишек дворницкой и дома было совершено необычное число драк.

Ларька не видел ни одного революционера, ничего не знал о большевиках, точно так же, как и его мать, и другие женщины дворницкой. Но испуг дома перед тем, какая гроза назревала в октябре и грянула новой революцией, и то, что там, в доме, теперь не кричали «ура!» и куда-то спрятали красные бантики,—наполняли Ларьку торжеством, страстным ожиданием чего-то по-настоящему хорошего, чего он так долго ждал и по чему истомился...

День был солнечный, снег на мостовой залоснился. Стоило открыть форточку, как тотчас доносилось «ура-а!» и непривычный стрекочущий шум мчащихся куда-то автомобилей. Усидеть дома Ларька не мог...

Еще за несколько дней до взятия Зимнего мать и другие женщины дворницкой без удовольствия, скорее, с испугом, недоверием рассказывали друг дружке, что с ними начали здороваться и заговаривать важные жилищки из дома, даже предлагали какую-то помощь... Другие, напротив, приставали, требуя объяснить, что плохого они, женщины дома, сделали им, женщинам дворницкой, и неужели они, женщины дворницкой, имеют что-нибудь против них, женщин дома, которые так же страдают от бесконечной войны, от всех этих революций, неизвестно кому нужных?

Удивительное, подмывающее ощущение бесстрашия, вольности все сильнее овладевало Ларькой и заносило его то на лестницы Зимнего дворца, по которым, все вверх, катила революция, то к матросам, которые допускали шустрого парнишку на свой революционный корабль, узнав, что у Ларьки брат тоже матрос и служит где-то на Балтике...

Но самое острое ощущение великих перемен, утверждения справедливости и возмездия, ощущение до боли Ларька испытал, когда директор банка, в тяжелой шубе и золотых очках, а с ним его жена и дочь, капризные, брезгливо сжавшиеся, позабывшие снять золотые кольца с холеных, никогда не работавших пальцев, появились в дворницкой, потому что отныне им предстояло тут жить! А все жители дворницкой перебирались в их огромную квартиру, где Ларьке с матерью выделили сразу две комнаты... Мать ни за что не хотела туда переезжать, боялась и даже тогда, когда соседи, с прибаутками, начали перетаскивать в удивительное жилье барахлишко, продолжала упираться и слабо протестовать. А Ларька чувствовал, что ненавидит мать за трусость, за привычку сгибаться в три погибели... Он даже не знал, кого больше ненавидит — мать или банкира с его семейством.

— А ну, посторонись,— велел им Ларька и под причитания матери потащил отцов ящик с инструментом, самое ценное, что у них было, на второй этаж дома, в новую квартиру.

На следующий день Ларька объяснил Мише Дудину, а тот ответил на уроке пораженному Валерию Митрофановичу, что великое переселение народов — это не какие-то гунны, готы и прочие неизвестные, а когда из дворницких переселяются в дома...

Некоторое время Ларька и его друзья не трогали приличных детей из дома. Но когда стало очень голодно, драки возобновились. Ведь хлеб прятали чиновники, банкиры, купцы, они хотели голодом задушить революцию, и Ларька, как мог, восстанавливал справедливость...

Когда стало известно, что формируются первые эшелоны, чтобы вывезти детей из голодающего Питера, кто-то из старых жильцов дома предложил матери отправить в хлебные места и Ларьку.



Он слышать не хотел об этом. Упорно твердил, что не помрет, никакого голода не будет,— чтобы никто из врагов и злодеев революции не воображал, что напугал кого-то голодом. Слезы матери, которая всячески уговаривала Ларьку ехать, послушать добрых людей, его только сердили. Но тут всего на сутки заехал брат, матрос. Он ввалился, когда его никто не ждал, большой, сильный, с потемневшим от бессонных ночей лицом, с бомбами-лимонками у пояса и рыжей коробкой маузера сбоку. Революция велела морякам остановить немцев, которые рвались к красному Питеру, и моряки выполняли свой долг. Брат говорил о боях, о своем корабле, о немецких солдатах: они начнут революцию в Германии, тогда пойдет и мировая... А потом завалился на мамину кровать и захрапел. Но предварительно он велел Ларьке «не шебаршить, не давить фасон, а ехать, куда приказывает революция...».

И Ларька сдался. Слова брата были законом, словом самой революции. В утешение брат оставил ему черные ленточки со своей матросской бескозырки...

Одной из этих ленточек Ларька теперь перевязал букет для Кати Обуховой, другую оставил себе. Может, когда-нибудь Ларька и Катя встретятся и узнают друг друга по этим ленточкам...

Он не мог больше оставаться в эшелоне. Иногда ему казалось, что его опять переселили в дворницкую. Почему-то с первым эшелонам ехало очень много детей из приличных семейств. У них было полно одежды и даже запасы еды, которую, правда, уничтожили на общих пиршествах в первые же дни. Некоторые мальчики и девочки уверенно переговаривались между собой по-французски, а те, кто не умел, все равно пытались держаться так, будто они, конечно, не ровня каким-то Ручкиным и Гусинским... И Ларька снова насмешничал, задира, дрался, но все это казалось ему уже пустяками, настоящее же дело осталось позади, в Питере, а еще вернее — там, где сражался брат и, может быть, бился с врагами революции еще и отец... Не скрытничая, не ловча, не дипломатничая, они в открытую дрались за свою победу, и это представлялось Ларьке таким счастьем, что он не выдержал...

Когда он мягко выпрыгнул из вагона, поезд шел, казалось, со скоростью пешехода. Ларька побежал рядом

с вагоном девочек, закрепляя свой букет. Он задумал это приношение, еще когда Гольцов, собиравший, как все видели, цветы, конечно для Обуховой, с перепугу прибежал с пустыми руками. Теперь Ларька утирал ему нос. Кроме того, было приятно бежать рядом с поездом. Не сразу с ним расставаться. Еще можно было вернуться в обжитой вагон...

Тут Ларька заметил, что в дверях его вагона словно что-то забелело. Он сбежал с насыпи, лег, но раньше заметил небольшую фигурку, тоже выскочившую на насыпь. И этот человек задержался у вагона старших девочек, что-то там делал. Негодуя, что он трогает его цветы, Ларька догнал вагон и увидел Аркашку.

Встреча никого из них не обрадовала.

— Ты чего? — спросил Ларька.

— Ничего,— буркнул Аркашка, больше всего мечтая о том, чтобы Ларька не заметил тетрадку, засунутую за скобы вагонной двери.

— Стишки? — тотчас бесцеремонно ухмыльнулся Ларька.

— Букетики? — парировал Аркашка, довольный, что сообразил, кто проконопатил дверь цветами.

— Нужен ты ей,— оскалился Ларька так, что и в темноте блеснули его зубы.

Аркашка дрогнул, но тотчас пожал плечами:

— Ты ей тоже не очень нужен...

Поезд между тем шел и шел, уходил, даже не прощаясь... И вдруг перед ними посветлело. Это прошел последний вагон.

— Ты куда собрался? — небрежно спросил Ларька, сплевывая.

Аркашка сунул руки чуть не по локоть за бортики своей кожанки, вздернул голову:

— На фронт!

— Куда-а? — словно бы страшно удивился и не поверил Ларька.

Он всегда помнил, что отец Аркашки хоть и помер, но был профессор, преподавал в Горном институте. И к анархизму Аркашки, и к его крикам о мировой революции Ларька относился иронически.

— Сказано, на фронт,— отрезал Аркашка и твердо зашагал в сторону, все равно куда, везде найдется дело.



— Это же на восток,— потешался Ларька,— к Волге... Там не фронт, а одни торговки с салом! Тебе туда?

Аркашка подумал, круто повернулся и зашагал в противоположную сторону.

Ларька шел рядом, подначивал, ехидничал, но чувствовал себя неважно... Теперь, когда он глядел на взъерошенного, незадачливого, обиженного Аркашку, его собственная затея бежать на фронт выглядела не очень стройной и убедительной. Непонятно, как такая замечательная, в общем, мысль пришла в голову и Аркашке.

Но каждый из них был рад, что шагает не один...

## 7

Утром эшелон узнал, что Ручкин и Колчин удрали на фронт.

Это событие всех взбудоражило.

Девочки ходили и сидели около Екатерины, удивленные, настороженные и обиженные. Они не понимали, а чем, собственно, Катя Обухова могла внушить такие глубокие чувства, что из-за нее сразу двое мальчишек отправились на фронт? Что в ней такого замечательного, в этой Екатерине? И если уж пошло на чистоту, то чем, скажите, она лучше остальных?

Катя пыталась объяснить, что и Ручкин и Колчин бежали на фронт вовсе не из-за нее.

— Да? — горестно взмахивала ресницами Тося, только вчера готовая, кажется, на все для Кати, а сегодня самая обиженная.— А как понимать эти строчки: «Я встретил вас, и все бывшее в отжившем сердце ожило»?.. И вензель «Е. О.»?

— Это смешно,— улыбнулась строгая Екатерина.

— Смешно, когда вас так любят? Неизвестно за что? Действительно смешно...

Уже находились девочки, готовые во всем этом происшествии обвинить Катю.

— Вечно воображает...

— Строит из себя что-то...

Другие возмущались мальчишками:

— Нечего сказать, нашли объект!

Кто-то испугался:

— Выходит, нас обманывают? Здесь где-то фронт! Куда же нас везут?

— Да нет никакого фронта!

— Но ведь они туда убежали!

Катя задумалась, глядя на девочек.

— А может, мы зря их обижали? — сказала она потом, вздохнув. Глаза у нее стали еще прозрачнее и строже.

— Кто их обижал?

— Хотя бы я. Смеялась над Ручкиным... А он верит. И Колчин.

— Во что?

— В самое святое. В революцию. По-настоящему верят... Ведь это же замечательно! Они герои... Ничего им не надо, никаких хлебных мест, они ушли жертвовать за свободу жизнью...

И такая неожиданная зависть зазвучала в ее голосе, что притихли и скептики, а Тося с нежностью сказала:

— Катя, ты ненормальная... — и под села ближе к подруге.

Катя Обухова росла в рядовой семье российских интеллигентов. Семья состояла из семи человек: папы — врача, мамы — учительницы, бабушки, а также двух братьев и сестры Кати — малышей.

В семье преклонялись перед либеральными идеями и равно плакали над крошкой Доррит, царем Федором из пьесы А. Толстого или Герасимом и Муму. Уважали и декабристов и Герцена, даже Чернышевского не хаяли, но Герасим со своей Муму был, конечно, трогательней.

Бабушка представляла социализм по строчкам любимого в семье стихотворения А. Толстого о «социалистах»:

Чужим они, о лада,  
Не многое считают:  
Когда чего им надо,  
То тащут и хватают...  
Весь мир желают сгладить  
И тем ввести равёнство,  
Что всё хотят загадить  
Для общего блаженства!

И хотя отец и мама сетовали на отсталость бабушки, они, в сущности, недалеко от нее ушли.

Имелись, однако, истории, факты, при упоминании о которых взрослые моментально становились серьезными

и понижали голоса. Как в храме или при соприкосновении с чем-то святым, священной тайной. На Катю это всегда производило глубокое впечатление. Например, при упоминании знаменитой фразы Достоевского о слезе ребенка, через которую нельзя переступить, какие бы великие идеи ни толкали на такой шаг... Это было так возвышенно, так трогательно и так верно, так человечно! Или фигура Каратаева. Простой мужичок, и такой чудный... Но в «Войне и мире» все-таки больше привлекали Наташа, Андрей, Пьер. Катиной маме роднее всех оставалась Мария Болконская, «бедняжка, не от мира сего»... Мама серьезнее и острее, чем другие члены семьи, воспринимала и либеральные фразы, и полумистический трепет жертвенности, и жажду куда-то идти, за что-то бороться, чтобы всем, и особенно несчастным, сразу стало хорошо и счастливо... Для Кати никого не было ближе мамы.

В толстых альбомах с медными застежками, между бархатными переплетами, хранились карточки... Гаршина с полубезумными, скорбными, пронзительными глазами; фотография с картины Иванова, изображающая Иисуса Христа, грядущего к обездоленным из глубины пустыни; фотография Диккенса, очень русского, с небрежной прической и бородой, печальными глазами, скорбящего; изображение очень бородатого, с провалами щек и тоже полубезумным, исступленным взглядом Салтыкова-Щедрина... Тут же мелькали деятели кадетской партии, вполне респектабельные и благополучные господа. Между ними как-то неловко чувствовали себя доктор Гааз, Достоевский, милый Чехов в пенсне и даже Горький в широкополой шляпе и какой-то хламиде.

Катя с детства приучалась относиться к этим карточкам с трепетным уважением. Про Гаршина, таинственно, полупшепотом, словно хоронясь от кого-то злого, мама рассказывала, что его сердце не вынесло торжествующей в мире неправды, унижений, что он глубоко страдал. И за тех, кто мучил людей, и за тех, кто мучился. Что он заболел и в припадке болезни бросился в пролет лестницы. Мученик. Праведник. Смертию смерть поправ... Он и походил на Христа. Во всем этом было много таинственного, глубоко волнующего, что надолго оставалось в памяти и в сердце.

Но пожалуй, особый трепет и счастливые, умиленные

слезы вызывала у мамы фигура доктора Гааза, тюремного врача при страшном Николае I. Книжка об этом человеке, его редкостном даре начисто забывать о себе и полностью отдаваться людям, о том, как любовь доктора Гааза к людям побеждала самых закоренелых преступников, стала и Катиной любимой книжкой. Это особенно трогало: не насилием, не новыми слезами, не какими-то материальными средствами, не дай бог оружием, а духом, добротой, любовью побеждались невзгоды, страдания и все ужасы мира... И хотя доктор Гааз никогда не убежал на фронт, Аркашка и Ларька представлялись теперь Кате в чём-то близкими тем святым карточкам, которые так бережно хранила мама...

Но пока Екатерина казнила себя за черствость и непонимание двух покинувших эшелон праведников, остальные по-другому восхищались Аркашкой и Ларькой и завидовали им.

Молчаливый Гусинский демонстрировал своим поклонникам железную мускулатуру. То он медленно сгибал руки в локтях, напрягая мышцы так, что глаза едва не вылезали на лоб. То показывал мощь брюшного пресса, приглашая Мишу Дудина бить изо всех сил. Вздыхая от невыплаканных слез — Аркашка убежал! не взял с собой! и даже ничего не сказал! — Миша бил с таким ожесточением, словно хотел насквозь просадить живот Гусинскому. Но брюшной пресс был на высоте, выдержал.

Эта демонстрация силы должна была лишний раз доказать присутствующим, что Гусинский, следом за Ларькой, по праву рванет в невиданные бои за мировую революцию.

От него старались не отставать даже те, кто не помышлял ни о каком бегстве, а тем более о судьбах революции. Пользуясь тем, что Николая Ивановича снова прорабатывали на педагогическом совете — за бегство двух учеников, один из мальчиков, имя и фамилия которого остались неизвестными, засовывал горящую папиросу огнем в рот и глотал огонь, которого, впрочем, там не было, но зато было много дыма.

Другой стал на голову и заявил, что простоит так до остановки, сколько бы эшелон ни шел.

Но особенной популярностью пользовались рассказы о якобы пережитых страданиях, трагических романах,

роковых моментах из их короткой, но уже полной ужасных событий жизни.

Постепенно безудержное хвастовство чем попало начало надоедать. Кое-кто еще восхищался Аркашкой и Ларькой, другие теперь их осуждали.

— Честное слово, я думал, они умнее, — чем-то расстроенный, фыркал Володя Гольцов. — Детство какое-то! Это в четвертом классе бегали к индейцам, да и то — при наших дедушках! А теперь! Сознательные люди! Какие-то дикие выдумки. Ставят себя в смешное положение...

— Ну, ты, одуванчик, — сказал Ростик, приближая почти вплотную свою немытую физиономию к чистому и причесанному Володе. — Дуну — ничего не останется... Может, они на дело пошли.

— На какое дело? — брезгливо отстранился Володя.

— Ну, это, как его... экспроприация. Зря меня не взяли.

— Простите, вы тоже анархист? — отворачиваясь от Ростика и стряхивая что-то с аккуратной курточки, осведомился Володя.

— Ты чего отворачиваешь рыло? — заявил Ростик, хватая Володю за рукав. — Ты чистенький, да? Ну погоди, сейчас узнаешь, кто я такой...

И он обманым движением нанес было Володе довольно подлый удар ребром ладони по шее. В этот примечательный день и Ростiku хотелось показать, какой он непобедимый... Но Володя перехватил его руку и резким толчком отбросил Ростика от себя. Ростик едва удержался на ногах.

— Ты чего? — полез было он снова к Володе, но теперь уже плаксиво канюча: — И пошутить нельзя...

Но вскоре исчез, перебрался в вагон малышей, где Валерий Митрофанович почему-то смотрел сквозь пальцы на художества Ростика...

Миша до сих пор не мог забыть, как Ростик экспроприровал у него пшено и масло.

Мать дала Мише для обмена отцовские, совсем новые галифе с широкими кожаными нашлепками на коленях и сзади. Галифе вызвало на рынке переполох: ими сразу заинтересовались с полдюжины покупателей. Миша, хоть никогда в жизни не торговал, вел себя так солидно и выдержанно, что сумел получить за штаны максимальную



цену: полпуда пшена и четыре фунта растительного масла. Эти три бутылки растительного масла и мешочек с пшеном стали главным сокровищем Миши. Он их постоянно ощупывал, а время от времени и вытаскивал, убеждаясь, что все в порядке. Часто около него оказывался Ростик, и его шумная радость, что у Миши все чин-чинарем, вызывала невольное удивление...

Но однажды Миша развязал мешочек с пшеном и, заглянув в него, испугался. Там было не пшено, а песок. Как в сказке. Как будто наколдовала злая волшебница. Миша кинулся проверять бутылки с маслом. Там болталась какая-то рыжая вода, пахнувшая дегтем!.. И пшено и масло сожрал Ростик. Сначала он пробовал отпираться, а потом заявил, что экспроприировал излишки.

— Я что, буржуй? — плача, выяснял Миша.

— А чего? Ясно, буржуй, раз у тебя есть, а у меня нету! — нахально заявил Ростик.

Потом, правда, он целую неделю прятался от Аркашки и навсегда потерял право на общение с ним и с Мишей.

Сегодня Ростiku снова не повезло. Едва он начал куражиться над меньшей братией, Миша Дудин велел:

— Уходи из нашего вагона!

Младшие были тоже под впечатлением побега Ларьки и Аркашки на фронт. Ростик попробовал раскидать ближних, но на него навалились сразу человек тридцать, и он постыдно бежал.

Эта победа так воодушевила Мишу Дудина и его соратников, что они уже не могли остановиться и жаждали новых подвигов.

— Аркашка правильно говорил: свобода, так для всех! — провозгласил Миша. — Что это нас все угнетают? Ростик этот... И старшие... Что это мы им поддаемся? Неужто мы такие слабенькие?

Тут они переглянулись, сдвинули головы и зашептались. Потом, после нескольких минут нерешительности, подталкивания друг друга, попыток свалить ответственность с себя на соседа, Миша и еще двое самых решительных направились в угол, где Валерий Митрофанович мирно штопал ветхий носок. Это занятие располагает к благодушию, лирическим воспоминаниям, и даже бдительный Валерий Митрофанович несколько расслабился, делая аккуратные стежки...

— Что вам, мальчики? — спросил он, не поднимая от работы головы, когда Миша и его товарищи подошли и остановились.

— Мы — делегация, — после паузы твердо сказал Миша, видя, что его друзья решили молчать.

— Что? — удивился Валерий Митрофанович, сразу вскидывая на них свои глазки-буравчики.

— Делегация... Нас уполномочил весь четвертый класс, — загалдели все трое.

— И мы вас свергаем! — Миша торжественно взмахнул рукой, но тут же добавил: — Вы не обижайтесь, Валерий Митрофанович, мы не вас одного, а свергаем всех учителей... — И он снова картинно взмахнул правой рукой. — Поцарствовали! Хватит! Попили нашей крови! Даешь свободу! Мы что, не люди?

— Это еще что такое? — Валерий Митрофанович поневоле отложил иголку и встал. Ребята несколько попятнулись. — Распустились! Вот к чему приводит безответственная болтовня о свободе, уравниловка, когда и учителей лишили чинов, анархия. Полюбовались бы господа большевики, до чего довели детей! Марш на место, не то всех оставлю без обеда!

— Тогда, — насупившись, сказал сосед Миши, который очень не любил, чтобы на него кричали, — мы выберем комитет и будем с вами бороться!

Неизвестно как бы реагировал Валерий Митрофанович на такую перспективу, но тут вагон так дернуло, как будто пол куда-то выскочил из-под ног. Все попадали, даже Валерий Митрофанович. Когда они поднялись, то поняли, что эшелон остановился.

Все бросились к двери, которую Валерий Митрофанович закрыл, когда Ростик ускакал из их вагона. Сначала Валерий Митрофанович ни за что не хотел ее открывать, несмотря на решительные требования Миши Дудина, всех членов комиссии и вообще всего четвертого класса.

Но голоса, доносившиеся с воли, звучали все громче и непонятнее, и наконец Валерий Митрофанович, который тоже страдал от любопытства, навалился на дверь...

Тяжелые двери со скрипом отъехали в сторону, и ребята увидели чудо... Впереди, около учительского вагона, гарцевали конники. И на двух конях, вместе с бойцами, сидели Ларька и Аркашка.

Мишу Дудина будто сдуло из вагона, а за ним посыпались и остальные.

Когда они подбежали, и Ларька и Аркашка уже соскочили с коней и стояли в толпе ребят... Ничего нельзя было понять: приняли их в красные конники или нет? Командир, в надвинутой на лоб фуражке, в лямке гимнастерки, перехваченной перевязью, на которой висела сабля, нагнувшись с понурой лошади, спрашивал, улыбаясь, Николая Ивановича:

— А чего ж только двое убежали драться за мировую революцию? Мало! Слабо воспитываете, гражданин учитель!

За ним пожилой боец с усами держал кумачовое знамя на темном древке. На знамени были изображены серп и молот и шла надпись: «Мир — хижинам, война — дворцам! Через труп капитализма — к царству труда». На обратной стороне виднелась тоже надпись: «Да здравствует всемирный коммунизм!»

Всадники были одеты кто во что горазд. Один носил даже старую соломенную шляпу. На ногах у некоторых были лапти. И лошади их, усталые, хмурые, выглядели не лучше...

Краском, что значило — красный командир, между тем говорил все громче:

— Мировая революция не за горами, товарищи! Международный пролетариат определенно потрясает могучими плечами! Поднимается и на западе наш девятый вал и скоро снесет к чертям собачьим всю старую нечисть!.. Мы победим!

Слушая своего командира, конники словно вырастали. Казалось, за плечами у них появились невидимые крылья. Кони подняли головы и заходили под всадниками, будто рвались в бой.

И ребята уже не видели сумрачных лиц, лаптей. Были только красное знамя, блестящее оружие, горящие глаза...

— А ребяташки у вас мировые! — сказал краском. Он подозвал хмурых, растерянных Ларьку и Аркашку и, наклоняясь с лошади, торжественно пожал каждому руку.

Сотни ребячьих голосов ответили на это ликующим воплем.

Готовясь к отъезду, краском приподнялся на стременах, выхватил шашку, так что учительницы, стоявшие позади Николая Ивановича, отпрянули, слегка взвизгнув, и отсалютовал эшелону.

Потом, когда отряд уже тронулся, краском нагнулся к Николаю Ивановичу и сухо спросил:

— Вы что же, товарищ, без головы?

Николай Иванович растерянно снял пенсне:

— Не понимаю...

— Раз вам, товарищ, партия доверила наших детишек, так не будьте шляпой. Намалюйте на своих вагонах хоть красный крест, что ли...

— Но здесь глубокий тыл...

— От ведь! — насмешливо сощурился и покрутил головой краском. — Ну что ты будешь делать с этой интеллигенцией! Ну и что, что тыл! Думаешь, банд тут мало? Гляди, на тебе ответственность...

И отряд исчез. Краском тоже ничего не знал о белом мятеже... До встречи с беляками только несколько часов.

Николай Иванович испытывал смущение, что не признался в своей полной беспартийности. Будто обманул краскома. Нехорошо...

## 8

Ребята проснулись оттого, что кто-то, ругаясь, бил в двери и стены вагонов. Хорошо, что на ночь двери все-таки закрывались. По крышам топотали, казалось, десятки ног. Слышались одиночные выстрелы и чьи-то чужие, нерусские голоса.

Ничего нельзя было понять. Поезд опять стоял...

Во всех вагонах дети кинулись к щелям, отдушинам. Они увидели офицеров и солдат в незнакомой форме, толпившихся на путях и на перроне большого вокзала.

— Куда это мы заехали? — испуганно спросил Миша Дудин.

Ему показалось, что это и не Россия вовсе. Но тут же у вагона кто-то заорал, ругаясь вполне по-русски:

— Отворяй! Стрелять буду! Эй, краснопузые!

А где-то стреляли — может, по вагонам? Да что же это такое делается?

Николай Иванович, которого не меньше ребят



ошеломило неожиданное происшествие, разобрал среди нерусских криков несколько слов и еще больше поразился: «Чехи? Откуда?»

Чехи и словаки входили тогда в состав Австро-Венгерской империи, которая вместе с Германией вела войну против России. Правда, говорили, что германская армия, хотя большевики подписали в Бресте мир, все еще наступает, но где-то на Украине. Не здесь же, на Волге, в самом деле! Просто мираж какой-то... Пока он размышлял, не банда ли это, из тех, о которых предупреждал краском, Валерий Митрофанович, дрожа от нетерпения и испуга, первым раздвинул двери своего вагона. Правой рукой он быстренько крестился, а левой делал гостеприимные жесты, приглашая почему-то в вагон:

— Милости просим, господа! Слава богу! Я титулярный советник, господа, милости просим...

Открылись и другие вагоны.

— Ваше благородие! Глядите, большевики! — крикнул пожилой солдат, хватая Николая Ивановича за ногу. Николай Иванович спрыгнул, оглядываясь на ребят.

В углу вагона шла непонятная возня. Там торопливо раздевали Аркашку, освобождая его от чересчур комиссарских доспехов. Аркашка вяло сопротивлялся...

— Белые, дурак, не видишь? — жарко шептал Ларька, сдирая с него кожаную куртку.

Он сунул куртку Ростiku. Тот попробовал увернуться:

— На что она мне! Ты себе возьми!

Объяснять Ларьке было некогда, он только замахнулся, и Ростик, скуля, влез в кожанку.

— Ты ее за день так увозишь, никто не подумает, что комиссарская, — утешил его Ларька.

Кожаную фуражку Аркашки, нехотя, с видом человека, делающего огромное одолжение, взял Володя Гольцов...

Он не надел ее, а держал в руках и размышлял:

— Вообще все это чепуха. Кому какое дело? Мы все же дети...

— Погоди, покажут тебе детей...

Николай Иванович велел ребятам из вагона не выходить. Его с любопытством спрашивал молоденький щуплый офицерик, похожий на цыпленка:

— Вы правда большевик?

Он был в новом мундире с погонами подпоручика.

Николай Иванович тоже с любопытством смотрел на его погоны с двумя звездочками. Словно все повернулось вспять. Может, тут и царь где-нибудь с ними, его императорское величество?

— Я всего лишь преподаватель петербургской гимназии,— криво усмехнулся Николай Иванович.— Эшелон с детьми, от голода...

— Вы прямо из Питера?

— Да. Почти две недели едем.

— Ну так как же не большевик! Конечно, большевик! Да вы не трусьте! Повесим, только и всего. Двум смертям не бывать, одной не миновать.

И он весело махнул рукой. Тут только до Николая Ивановича дошло, что молоденький подпоручик изрядно пьян.

Худой офицер-чех в непривычно высокой фуражке что-то буркнул, потом раздраженно проскрипел на ломаном русском языке:

— Ви возглавляля эшелон?

— Нет, с нами начальница женской гимназии, госпожа Теселкина.

Николай Иванович ответил нехотя, не понимая, при чем тут все же чехи, но не желая расспрашивать об этом пьяного подпоручика. Чех велел русскому подпоручику отвести Николая Ивановича к учительскому вагону, и подпоручик послушно козырнул. Пришлось идти.

В дверях вагона старших мальчиков стоял Володя Гольцов. Как-то само собой получилось, что теперь его выдвинули вперед. Никто не понимал, что же тут произошло, и пока боялись спросить.

Чех заглянул в двери, но поморщился и отступил. Что ж, в вагоне ехали тридцать ребят, он шел двенадцать суток, и не удивительно, если пахло кисленьким...

— На войне как на войне,— по-французски сказал Володя, вежливо улыбаясь чешскому офицеру.

— О-о! — удивился чех...

Они обменялись несколькими фразами, Володя говорил по-французски гораздо лучше, но старался этого не показывать. Довольный чех улыбался...

За спиной Володи Ларька тихо спрашивал Аркашку:

— О чем они болтают?

— Гольцов вроде объясняет, кто его родители,— не-

уверенно зашептал Аркашка.— Ну, что в эшелоне главным образом дети из приличных семейств...

— Ага,— кивнул Ларька доброжелательно.— Еще?

— Спросил, какая тут власть?

— Ну?

Аркашка замялся, потом пожал плечами:

— Офицер отвечает — законная.

— Врешь?.. Законная! — зашумел Ларька.— А сами в погонах ходят!

Этот же вопрос, какой власти в руки они, собственно, попали, хотелось выяснить и учителям.

Разговор налачился не сразу, потому что и чехи, и слегка протрезвевший подпоручик, болтавшийся около них в качестве переводчика, почему-то не торопились подняться в вагон.

Оказывается, они опасались холеры и особенно сыпного тифа, который теперь, конечно, завезен с эшелонам из вшивого краснопузого Питера.

Начальница эшелона выпрямилась и еще более стала походить на Екатерину Вторую.

— У нас нет вшей,— гордо заявила она.

И для большей убедительности отчеканила это заверение и по-французски.

Французский язык и тут произвел на чехов благоприятное впечатление. Они поднялись в вагон и повели себя вежливо. Но все же решительно предложили выгружаться из эшелона. И паровоз и вагоны нужны для военных целей.

— Как — выгружаться! — ахнула начальница.— А куда же мы?

— О вас позаботятся гражданские власти.

До сих пор никому в эшелоне и в голову не приходило, что их тут выгрузят. Беспокоились лишь о том, насколько их могут задержать...

Начальница пыталась протестовать. Но не помог даже французский язык.

— Одну заразу, мадам, прошу простить, вы с собой все же везете, даже если в эшелоне нет вшей,— любезно осклабился чешский капитан, выбрасывая из левого глаза монокль. Он явно хотел походить на немца.— Я говорю о большевистской заразе, от которой мы поможем России освободиться.



— Господа, при чем тут дети? — холодно спросила начальница. — Наш долг в эту тяжкую годину уберечь их...

— Кстати, о детях. — Капитан вкинул было стеклышко в глаз, но не удержал его и вынужден был вставить на место пальцами. — Что у вас за дети?

— Из семей петроградской интеллигенции.

— Есть списки?

Анечка подала списки ребят. Капитан вместе с подпоручиком просматривали фамилию за фамилией.

— С нами дети в возрасте от десяти до четырнадцати лет, — решила сказать одна из учительниц.

— Кто из комиссаров отправил своих детей? — подмигнул веселый подпоручик.

— Из комиссаров? — начальница, недоумевающая, уставилась на Николая Ивановича. — Я повторяю, здесь просто дети, обыкновенные ученики из гимназий и реальных училищ, дети, вы понимаете, господа?

Валерий Митрофанович кашлянул:

— Может быть, Ручкин?..

— Что — Ручкин? — облила его презрением начальница.

— Я в том смысле, что отец у него солдат, брат — матрос...

— Ну и что? — теперь нахмурился подпоручик.

— Да ведь солдаты и матросы, сами знаете, господа, поголовно большевики...

Подпоручик обиделся:

— Слушайте, вы, шпак... — От более красочных выражений его удержал негодующий взгляд начальницы. — Большевики — поголовно Шмуленсоны, а русский солдат и русский матрос всегда за родину, за Русь святую, за царя-батюшку!

— Не надо теперь царя, — поморщился чех. — Надо — Учредительное собрание, демократия.

Они было заспорили, не обращая внимания на побледневшего Валерия Митрофановича, но начальница сказала:

— Господа, мое дело учить детей, дело детей — учиться. Я надеюсь, с этим согласна любая власть. Прошу разрешить нам следовать дальше, тем более что район, куда мы направляемся, Южный Урал, город Миасс, надо полагать, теперь управляется вами...

— Мадам, есть приказ,— строго покачал головой капитан.— Сейчас,— он вскинул руку, взглянул на часы,— девять сорок. К четырнадцати часам освободить вагоны, или мы прибегнем к силе...

— К силе? — Начальница откинулась назад, как от удара.— Против детей? Господа, мы же цивилизованные люди! Здесь триста мальчиков и девочек. Нельзя же просто выбросить их...

— Это все фокусы ваших большевичков! — нахохлился чех.— Идет война, мадам...

Но потом он нехотя разрешил этот день и ночь провести в эшелоне.

Хотя из эшелона никого не выпускали, ребята долгое время бодрились. Большинству казалось, что произошло какое-то недоразумение, которое скоро уладится.

Малыши подняли возню, стараясь привлечь внимание незнакомых офицеров и солдат. А когда это не удалось, начали даже покрикивать:

— Эй, вы!.. Чего нас не пускаете?

Крикнут и спрячутся. Пока сердитый солдат с черной бородой, поставленный стеречь их вагон, не приказал:

— Цыц, краснюки!

Ребята притихли. Потом Миша спросил:

— А что это, краснюки?

Солдат ответил не сразу, сворачивал сигарку, потом процедил, не глядя:

— Еще корми вас... Наплодили комиссары!

Ребята с недоумением переглянулись.

— Мы никакие не комиссары,— засмеялся Миша.— Мы дети, вы что, не видите?

— Ну да, большевистское отродье...

— Ага, я большевик,— обиделся Миша.— Ну и что?

— Сейчас я тебе уши оборву...

— А мы вовсе не большевики! — завопили ребята.

— Мы — ничьи!

— Мы сами по себе!

— Скоро вы нас отпустите?

— Мне в уборную надо,— заявил Миша.

Но к его крайнему удивлению, солдат погрозил кулаком...

Около вагона старших девочек прохаживались два юных чеха в форме не то офицеров, не то солдат. Тося

уверяла, что это офицеры, и пыталась с ними кокетничать. Чехи делали вид, что не обращают внимания на девочку, но нет-нет да и косились на Тосю: очень она была хорошенькая.

— Слушай, как ты можешь? — хмурилась Катя. — Ведь это, в конце концов, враги!

— Кому враги, мне? — удивилась Тося и, расшалившись, крикнула офицерам: — Господа, вы мне враги?

Не выдержав, они заулыбались...

В это время начальница и Николай Иванович бросились в город искать, кто бы помог следовать ребячьему эшелону дальше или хоть отвел какое-нибудь временное помещение... Начальница, которую очень подходяще звали Олимпиадой Самсоновной, внушала Николаю Ивановичу, что оставаться тут нельзя, что для всех, даже для местной власти, лучше пропустить эшелон дальше, чтобы не заботиться о ребятах.

— Ведь нам надо не только крышу, но и пропитание. На триста человек! — повторяла она и при этом совсем не походила на Екатерину Вторую...

Они повернули к центру, и тут Олимпиада Самсоновна словно споткнулась и остановилась...

Это была маленькая площадь, куда выходило приземистое здание с широким балконом. С балкона свешивались три трупа. Видны были только неживые ноги и упавшие на грудь головы, повисшие пряди волос. Туловища закрывала черная классная доска. На ней наискосок, хорошим почерком, было написано: «Большевики».

Николай Иванович отвел начальницу в сквер, усадил на скамейку, откуда не видно было страшного балкона, дал ей отдышаться. Несколько минут она не могла сказать ни слова. «Почему — классная доска?» — хотела спросить Олимпиада Самсоновна, но постыдилась.

— Может, вы вернетесь к детям? — предложил Николай Иванович.

Ей очень хотелось вернуться к детям... Но она сердито взглянула на Николая Ивановича, встала и пошла вперед.

После долгих мытарств им удалось получить разрешение временно занять пустующие казармы на окраине города.

— Временно! — подняло палец какое-то руководящее

лицо, механически стряхивая пепел и перхоть с лацканов пиджака. — Казармы могут в любой момент понадобиться.

— А питание? — твердо спросила начальница.

Руководящее лицо замахало руками:

— Уповайте на частную благотворительность. Только! Только! — кричал он, не давая Олимпиаде Самсоновне открыть рот и бесцеремонно выпроваживая их вон.

Когда, падая от усталости, они добрались наконец до выделенных детям казарм, то обнаружили, что прямо перед казармами — холерные бараки, куда свозили и только что заболевших и умирающих...

## 9

Ребята проводили в своем эшелоне последнюю ночь. Теперь, перед черной неизвестностью, вагоны представлялись родным домом...

И в эту же ночь подошли остальные детские эшелоны. Догнали наконец...

— Как раз вовремя, — сказал Николай Иванович, встречая прибывших.

Все четыре эшелона белогвардейцы выгружали одновременно. Власти ссылались на то, что помещение детям выделено.

— А домой теперь как же? — спрашивал Миша Дудин. — Пешком, что ли?

До казармы, во всяком случае, пришлось добираться пешком. Теперь их было не триста, а восемьсот человек...

Они кое-как построились. Девочки особенно стеснялись идти в строю.

— Что мы, приютские какие-нибудь? — фыркали меньшие, нарочно покидая строй, как ни уговаривала их Анечка.

Старшие, даже такие серьезные, как Катя-Екатерина, просили дать им адрес казармы, уверяя, что они отлично доберутся сами, только бы не идти строем. Володя, конечно, стоял рядом и поддерживал Катю. У него появился снисходительный тон по отношению к событиям, как у единственно серьезного человека, когда даже взрослые играют в какие-то недостойные игры...

— Странно,— повторял он, иронически подергивая плечом.— О таких вещах предупреждают. Предвидят, что ли. Нечего сказать, завезли...

Хотя учительницы, повинувшись Олимпиаде Самсоновне, вышли на проезжую часть и пытались собрать колонну, им тоже казалось диким идти через весь город по середине улицы, чтобы на них все глазели...

— Значит, нам идти в строю? — приставала добродетельная «литература» к Николаю Ивановичу.

Он пытался все обратить в шутку. Поручил Ларьке идти правифланговым, и обязательно с песней:

— Только, чтобы песня была, сами понимаете, нейтральная...

Ларька отдал честь. И колонна тронулась наконец под несколько неожиданную песню:

Наверх вы, товарищи, все по местам!  
Последний парад наступает!  
Врагу не сдастся наш гордый «Варяг»,  
Пошады никто не желает...

— Надо бы повеселее,— засомневался Николай Иванович.

— А чего веселиться? — отмахнулся Ларька и завел следующий куплет. У него и эта песня звучала вызовом, но остальные пели жалобно...

Замыкал колонну Аркашка с учительницами и со своими приближенными — Мишей Дудиным и его друзьями.

Но как ни бодрился Николай Иванович, как ни старались Ларька и Аркашка, настроение у ребят было самое панихидное. Пели немногие, да и у тех лица были не геройские, а грустные... Некоторые девочки даже плакали на ходу и спрашивали друг дружку шепотом:

— Что же с нами теперь будет?

Каждый ташил свои вещи. Сразу стало ясно, что многим меньшим, особенно девочкам, это не по силам. Ростик предлагал свои услуги тем, у кого барахлишка было побольше, но от него шарахались... Часть груза у маленьких взяли учительницы, часть старшие. И те и другие не привыкли таскать тяжести; они то останавливались, то пытались как-то переупаковать вещи на ходу.

Николай Иванович, который вместе с Олимпиадой

Самсоновной возглавлял колонну, город знал плохо, но старательно следил за тем, чтобы не повести ребят через ту площадь, мимо того балкона, с которого свисали три тела, полузакрытые классной доской...

Ему это удалось. Они шли по спокойным улицам. Лишь на некоторых домах осыпалась штукатурка, покорябанная стрельбой, и чернели разбитые стекла. Движение было небольшое, но дважды их обогнали броневые автомобили да несколько раз, сторонясь, ругались извозчики. Прохожие с тротуаров разглядывали их без церемоний, высказывая всяческие догадки.

— Мне кажется, я — обезьяна, — сердилась Катя.

— А мне представляется, что я голая, — пожаловалась Тося. — Вон как глазек... Стыдно.

Кто-то из прохожих пытался заговорить со старшими ребятами, с учителями. Но молчаливые ряды торопливо проходили мимо. Только Валерий Митрофанович не выдержал, обиженно объяснил какому-то неотвязному господину:

— Приезжие мы. Беженцы...

— Ах, беженцы?

Интерес к ним сразу поблек.

Как они ни торопились, невольно замечали, что в городе почему-то постреливают. Похоже, тут шла война. Из переулка им навстречу вдруг выскочили двое простоволосых мужчин в расстегнутых гимнастерках, метнулись налево, но оттуда кто-то бежал, угрожая, и они заскочили в первый же подъезд. Колонна ребят шла мимо, все невольно прислушивались с ужасом, и точно — загремели выстрелы из того подъезда...

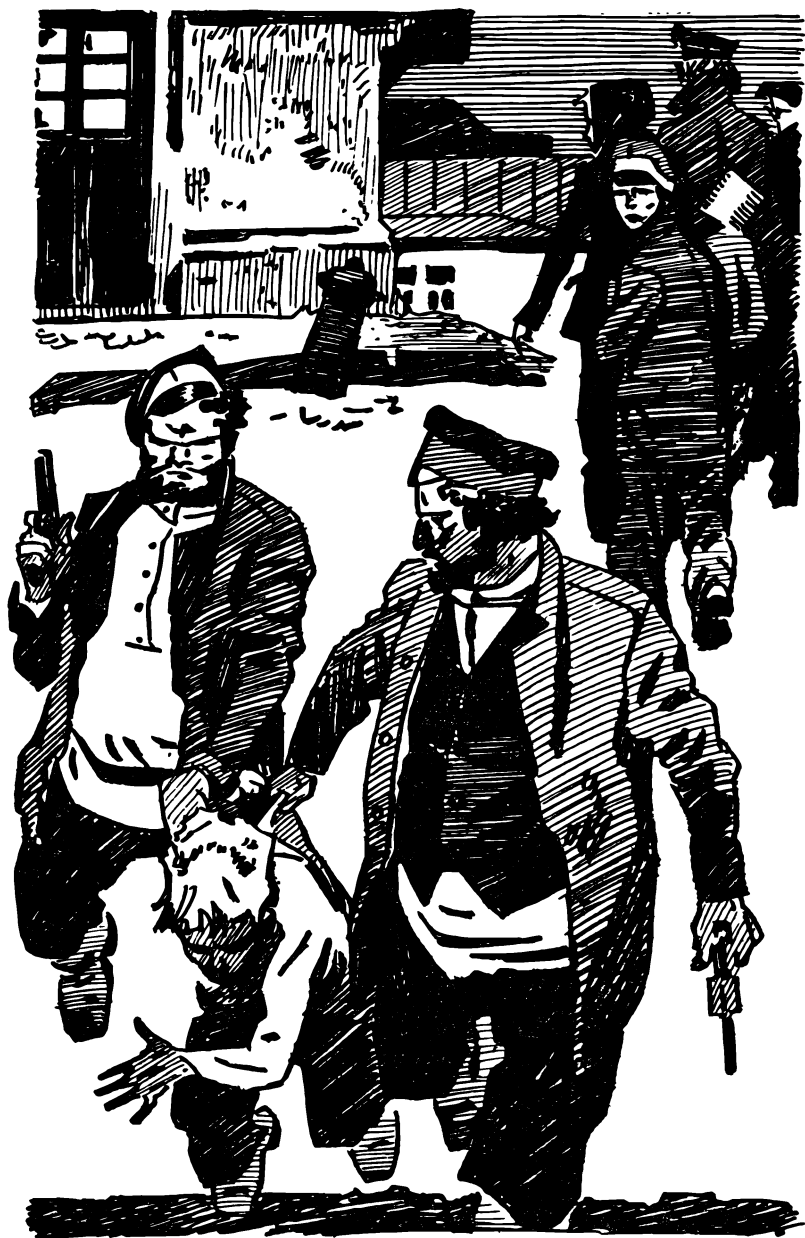
А из другого дома двое вооруженных краснощеких дядек вытащили тощенького мальчишку — с Мишу Дудина, пожалуй, даже поменьше. Похоже, что его арестовали...

Олимпиада Самсоновна не выдержала и, как ни угваривал ее Николай Иванович, направилась выяснять, что происходит.

— Я начальница гимназии, — объявила она. — Что вы делаете с этим мальчиком?

— Так он не ваш, не гимназический, — ухмыльнулся один из вооруженных, — он из приходского училища.

— Что же мальчик сделал?



— Четыре артиллерийских тесака хранил! — вытаращил на Олимпиаду Самсонову дикие глаза другой. — Твои тесаки?

— Мои, — помолчав, прохрипел мальчик.

Его потащили дальше.

— Вот это да, — сказал Миша Дудин, стараясь идти в ногу и не вылезать из строя. — Смотри, каких арестуют... А они могут нас схватить?

— Нас нельзя, — твердо сказал Аркашка. — Мы не ихние.

— Мы питерские, да? — ожил Миша.

— Тебя еще, может, и арестуют, — испуганно тявкнул кто-то сзади. — Сам говорил, что большевик...

Но остальные молчали. Думали о доме и ужасно жалели, что сюда поехали. Обижались: все родители. Вечно они что-нибудь напридумывают, а нам отдуваться.

Один Ростик веселился.

— Чего носы повесили, пацаны? — приставал он к маленьким. — Вы за меня держитесь, не пропадете! Кто кусманчик колбаски найдет? Кто даст, другом буду, не пожалеет. А жадин я сразу уничтожаю. Как контриков. То есть как врагов царя и отечества. Тут есть офицер, мой двоюродный брат, он все может, смотрите.

Но его услышала Катя.

— Вы же анархист, — остановила она Ростика.

— Кто? Я? — вылупил он на Катю бесстыжие глаза.

— Все время рветесь экспроприировать.

— Ты что?

— Обозвали всех нас контриками и буржуятами.

— Гляди, Екатерина, не серди меня...

— Я таких, как вы, ненавижу, — сказала она с расстановкой.

— А мне наплевать с самой колокольни.

— Для вас нет ничего святого...

— Ты это брось, на человека наговаривать, — зашипел Ростик, оглядываясь по сторонам. — Может, ты не веришь, а я православный, крещеный, в бога верю.

И он даже перекрестился. На него покосились с удивлением, но кое-кто перекрестился тоже. Вдруг поможет?

В рядах удивлялись:

— А зачем мы идем в эту казарму?

— Что нам там жить, что ли?



— Не пускают вперед, в Миасс этот, поедem назад, домой.

— Тут жить нельзя, стреляют.

— И хлеба тоже нет. Заехали...

— Ничего нет, вон — очереди какие.

У казармы их ждало новое потрясение...

Голова колонны уже свернула в широкие ворота, мимо полосатой будки часового, сейчас пустой, на утоптаный двор, когда напротив, где вытянулись длинные бараки и откуда удушающе густо несло хлорной известью, подняли бревно шлагбаума. Медленно, с натугой, выкатилась телега. Ее с трудом тащили две сильные лошади. Телега была чем-то высоко нагружена. Груз, прикрытый брезентом, стягивали веревки. Но все равно из-под брезента торчали желтые ноги мертвецов... А когда телега наклонилась на выбоине, брезент отвернулся и на колонну ребят словно надвинулись мертвые лица со странно неживыми, выпученными глазами. Дети шарахнулись, сбились в кучу, кто-то кинулся бежать; у некоторых девочек началась истерика.

Из ближнего холерного барака выскочил круглый человечек в белом халате. Размахивая руками, он ринулся на ребячью колонну:

— Куда? Назад! Нельзя!

Он увидел возвышавшуюся над колонной Олимпиаду Самсоновну и набросился на нее:

— Куда вы тащите детей? Здесь холера! С ума сошли?

Словно убегая, ребята проскакивали на просторный двор казармы.

Олимпиада Самсоновна объяснила доктору, что городские власти белых отвели детям жилье именно здесь и наотрез отказались дать другое помещение.

Негодую, проклиная, врач шел за начальницей по казарме, заглядывал в пыльные комнаты с нарами, командовал:

— Мыть! Все мыть кипятком с мылом и хлоркой! Я дам немного зеленого мыла... И закрыть ворота! Никого не впускать, не выпускать! Карантин!

— А кто же помое? — спросила Олимпиада Самсоновна.

— Как кто? Да ведь вас вон сколько!

Услышав несуразно смелое предложение, что он, ски-

талец морей, будет мыть здешние загаженные полы, Аркашка презрительно усмехнулся:

— Как что-нибудь стоящее, так нельзя — вы дети. А если подвернется какая гадость — пожалуйста...

Не дав никому оценить глубину Аркашкиного замечания, около него тотчас завертелся Ларька, дразня белоснежными щербатыми зубами:

— Запела интеллигенция! Ах, полы мыть! Фи, какая гадость! Ручки запачкаем, маникюрчик пропадет... — Он пытался хватать Аркашку за руки, но тот отводил их, хмурясь. — Эй, позовите кого-нибудь нашему анархисту носик вытереть...

Они едва не сцепились, но тем не менее начали оттирать полы в большой комнате, предназначенной для старших мальчиков.

Выделив шестерых дежурных учителей, по двое от каждого эшелона, все остальные педагоги собрались в комнате, где были столы и скамейки. Здесь некогда солдаты занимались «словесностью», то есть заучивали, кто есть солдат и кто есть враг внутренний, как величать господ офицеров и даже государя императора. Воздух в комнате был необыкновенно затхлый. Прежде всего открыли окна.

Все ждали от Олимпиады Самсоновны и Николая Ивановича объяснений и утешений. Учительницы из первого эшелона — потому что привыкли полагаться на свою начальницу; вновь прибывшие думали, что Олимпиаде Самсоновне известно все, сейчас она внесет ясность, и события пойдут своим чередом...

Понимая, что учителей ждет огромное разочарование, она покачала головой:

— Все, что нам удалось выяснить, мы вам немедленно сообщим. Николай Иванович, пожалуйста...

Николай Иванович встал, снял пенсне и, осторожно им жестикулируя, сказал извиняющимся голосом:

— Не только в городе, но, похоже, что на значительных территориях Поволжья, Урала, возможно, и Сибири вместо большевиков к власти пришли эсеры. Их поддерживают крупные военные силы: бывшие военнопленные, в основном чехословаки, сумевшие сохранить оружие, ну и русское офицерство. И все те, кого Советская власть основательно обидела. Эти силы вступили в войну с боль-

шевиками. Мы, конечно, ни в коей мере в политические, тем более в военные события вмешиваться не можем. Но эти события касаются нас непосредственно и достаточно остро. Путь назад, откуда приехали мы, закрыт. Об этом при существующей обстановке не следует и заикаться. Путь вперед, куда мы направлялись, закрыт тоже: там идут бои... Похоже на то, что ближайшие месяцы, пока положение как-то не прояснится, нам предстоит провести в этой казарме...

Посыпались не только недоуменные вопросы, но и протесты. День, другой тут еще можно было перебиться, но месяцы? Это ни у кого в голове не укладывалось... Густой и властный голос Олимпиады Самсоновны на время привлёк общее внимание.

— Мы еще будем, конечно, встречаться с представителями местной власти,— сказала она,— но пока нам отказано во всем. Предложено рассчитывать только на частную благотворительность. Эти месяцы будут очень тяжелыми...

Опять посыпались протесты. Особенно яростно жестикулировал Валерий Митрофанович, ссорясь с соседями.

— Вы хотите что-то сказать? — позвала его Олимпиада Самсоновна.— Пожалуйста.

— Господа, о чем мы толкуем? Опомнитесь,— быстро заговорил Валерий Митрофанович, улыбаясь и буравя глазками всех, особенно Олимпиаду Самсоновну и Николая Ивановича.— Ведь нам удивительно повезло! Спасибо нашим братьям-славянам,— он действительно поклонился едва не до земли,— выручили, помогли дорогие чехи! И мы и дети отныне можем забыть весь этот красный ужас, большевистскую мерзость, безобразия и унижения... Признаюсь, господа, каюсь, дошел в большевистском Питере до того, что я, интеллигентный человек, чиновник, имеющий Анну III степени, кланялся какой-то низкой твари, буфетнице, чтобы достать кусок селедки и пару вареных картофелин! Ночью проснулся и не сплю от стыда, от гнусного унижения. Вы понимаете, господа, дело не только в голоде. Большевики — это нравственное растление, крушение всех устоев. Нас спасают не только от физического голода, но и от голода духовного! Возвращают нам наши идеалы, нашу веру! Теперь мы можем быть спокойны за судьбу порученных нам учеников. Они спа-

сены! И первый наш долг — выразить глубокую благодарность за наше спасение! От нас и, конечно, от всех детей...

— Позвольте,— Олимпиада Самсоновна до того была поражена, что не успела рассердиться,— что вы говорите? Как могут дети благодарить за освобождение? Ведь их родители — там... Нет уж, я прошу вас, политику оставим, давайте о деле... Прежде всего о продовольствии. Своих запасов, даже если мы еще урежем пайки, нам хватит не более чем на двадцать два дня... Цены здесь невероятно растут. Имеющихся денег хватит, чтобы закупить продуктов еще на шестнадцать дней. И это все. Мы можем кое-как перебиться не месяцы, а лишь один месяц, ничего не расходуя ни на одежду, ни на школьные принадлежности...

Сердитые голоса стали еще слышнее. Кто-то припомнил и выступление Валерия Митрофановича. Особенно понравились его слова о необходимости поклониться белым и чехам вовсе не потому, что ужасно хочется уцелеть и есть горячее жареное мясо с белым хлебом, а из высоких нравственных побуждений. В интересах учеников, которым совершенно необходимы твердые моральные устои, святые идеалы, а не ужасная большевистская распушенность...

— В такой обстановке ничего не остается, как поклониться новым властям! — заговорили соратники Валерия Митрофановича.— Тем более что они не какие-нибудь насильники, а демократы, выступают за Учредительное собрание! Надо составить приветственный адрес, выразить наше восхищение, преданность, тогда и к нашим нуждам будут внимательны. В конце концов, это же ради детей!

Порешили на том, что завтра новая делегация, в которую непременно войдет Валерий Митрофанович, направится к городским властям, чтобы добиться отправки в Миасс, а если это невозможно, то получить здесь все необходимое.

— Давайте все же и мы поможем ребятам с уборкой,— напомнил Николай Иванович.

Пошли с крайней неохотой. За всю прожитую жизнь полы никто из них никогда не мыл. Само собой разумеющимся считалось, что для грязной работы есть иные люди. Теперь таких людей не было.

В казарме оказалось столько грязи, что вывезти ее

всю не было сил. Ребята устали, работали кое-как. Еще часа через два все так измучились с непривычки, что решено было кончать. Бодро выглядели и пошучивали только Ларька и еще с десяток ребят.

Наскоро поели и завалились спать — кто где, большинство на полу. Ростик забрался в комнату, где были нары, и расположился там, хотя нары никто не дезинфицировал и спать на них было категорически запрещено...

## 10

Но Ростик не заболел. И вообще холера ребят не тронула, хотя они прожили в этой казарме четыре месяца.

Первые дни и недели надеялись. На то, что завтра поедут дальше. Вернутся домой. Или хоть получают из дома письмо. Письма домой писали все. Учителя понимали, как мало надежды, что эти письма дойдут, но ничего не говорили ребятам.

Однажды к Олимпиаде Самсоновне, которая по общей просьбе руководила колонией, явились два чина контрразведки, оба в штатском; один представился как учитель в недалеком прошлом, другой — ветеринарный врач... Они долго совещались о чем-то с Олимпиадой Самсоновной. Потом был вызван Миша Дудин. Его продержали минут двадцать — казалось, невероятно долго! Миша вышел, судорожно вздыхая, в глазах стояли слезы. К нему кинулись с расспросами, но он с трудом выдавил:

— Велели молчать...

Аркашке и Ларьке Миша по секрету рассказал:

— спрашивают, ты письма пишешь? Пишу... А кому? Маме, отца нет, убит... А она работает? Работает... Куда ж ты ей пишешь, спрашивают, домой или на работу? Раньше, говорю, домой писал, а как случилось, что мы тут остались, — на работу. Тут один достает конверт, показывает — твое письмо? Я гляжу, мое, спрашиваю: а почему оно у вас? — Миша снова вздохнул с всхлипом... — А они: значит, твоя мама в Смольном работает? В Смольном, говорю... — И в ответ на укоризненный взгляд Ларьки: — Им же все равно на конверте видно... Кем же она у тебя, спрашивают, комиссаром? Нет, говорю, буфетчицей, чай готовит... Они чему-то смеются, будто не верят, а у самих

глаза, как у волков, горят... Кого же она чаем поит? — спрашивают. Да всех, мол. И Ленина, говорят?.. Нехорошо мне стало на них смотреть, я отвернулся и говорю: не знаю. Тогда один как вскочит! Как закричит! Знаешь, орет, знаешь... Олимпиада Самсоновна хочет его унять, а он отмахивается, за грудки меня берет...

— И ты сказал? — Аркашка так взглянул на своего адъютанта, будто прожег его насквозь.

— Сказал... Ходит к Ленину с чаем...

Аркашка хотел закричать, не хуже тех, кто допрашивал Мишу, но Ларька его остановил:

— А они что? — спросил Ларька.

— Они сказали Олимпиаде Самсоновне, чтобы завтра прислала меня в контрразведку... Кричали, что накажут за то, что я жалуюсь.

— Как это?

— Ну, в письмах. Писал, что здесь плохо.

— Так все писали! — снова вспыхнул Аркашка.

— Они и говорят Олимпиаде Самсоновне: как смеют ваши воспитанники еще жаловаться! Мы их приютили! Мы их спасаем от большевистского ига.

— А кто их просил? — хмуро спросил Ларька. — погоди, значит, они читают наши письма?

— Ага, — сказал Миша и вздохнул еще раз, поглубже, хотел удержаться... Но не смог — рот скривился, тотчас посыпались из глаз слезы, крупные, как капли дождя, и он едва выговорил: — Никуда наши письма не пошли... Никто их не получил. Беляки все забрали себе...

Оставив на время Мишу, Ларька и Аркашка тайно совещались вместе с Гусинским и Канатьевым.

— Мишу надо спрятать, — сказал Аркашка. — Нечего ему ходить в контрразведку.

— А зачем он им нужен? — удивился Боб Канатьев.

Аркашка торжествующе поглядел на всех и, гордясь своей догадливостью, развитой бесконечным чтением книжек о сыщиках, жарко зашептал:

— А если они щупают ход к Ленину? Задумали его отравить?

— Ты что? — выпрямился, разглядывая его, Ручкин.

— Заставят Мишку написать матери письмо. Моя жизнь — в руках этого человека...

— Какого человека?

— Ну, который письмо ей принесет! Мама, смерть или жизнь — все зависит от тебя. Не дай погибнуть своему единственному сыночку.

— Мишка так не напишет.

— Заставят.

— Ну и что?

— Ну, она и отвернется... А он подсыплет в чай — сами знаете чего!

И хотя никто не знал, что в таких случаях сыплют в чай, всем стало не по себе.

— У Мишки вроде не такая мать, — неуверенно сказал Ларька.

— А, все они одинаковые, — безнадежно махнул рукой Аркашка.

Решили спрятать Мишу, чтобы в никакую контрразведку ему не ходить.

— Я это сделаю, — сказал Ларька. — Тут есть свои ребята из других эшелонов. Мы им Дудина подкинем...

— И пусть зовется пока Эрколе Маттиоле, — немедленно предложил Аркашка.

— Чего?

— Ну, как Железную Маску звали, ты что, не слыхал?

— Не надо, — покачал головой Ларька. — Лучше я скажу, что это мой братишка, и пусть его по-старому Мишкой зовут, только по фамилии — Ручкин.

— Да, не потянет он на Железную Маску, — нехотя согласился Колчин. — Тогда хоть про письма давайте всем расскажем. Пусть народ узнает! Никто не имеет права читать чужие письма, это же элементарно... Знаете, какой шухер будет? Как девчонки завоют?!

Ларька кивнул:

— Только сначала я Мишу спрячу.

Они так и сделали.

Миша Дудин исчез.

Расстроенная донельзя Олимпиада Самсоновна, которой, конечно, ничего не сказали, лично явилась в контрразведку, жалуюсь, что крайне напуганный мальчик сбежал, исчез, что она требует розыска и возвращения мальчика. Она подозревала, что он тут, в контрразведке, и с явным недоверием глядела и на бывшего ветеринара, и на бывшего учителя. Их так разозлила пропажа Миши, что они едва не посадили Олимпиаду Самсоновну, и лишь

к вечеру, кипя от негодования, она кое-как добралась до казармы...

Когда стало известно, что их письма никуда не пошли, вся колония готова была взбунтоваться. Их отрезали от дома! Стало ясно, почему, хотя прошло уже две недели, как они застряли в этом городе, никто не получил ни одного письма из дома...

Занятия, которые упорно пытались проводить учителя, то и дело срывались, оборачиваясь обсуждением свалившихся бед. Старшие еще держались, из самолюбия. Но в младших классах девочки плакали на уроках, а мальчишки шумели:

— Мы что, всегда тут жить будем, что ли?

— А ты думал? Теперь и не вернемся...

И голоса их тоже звенели злыми слезами. Младшие классы во всем винили учителей.

Но теперь в учебе, в примелькавшихся и поднадоевших учебниках, тетрадях, циркулях, треугольниках и линейках, даже в том, что Анечка сумела как-то наладить звонки на уроки и перемены, такие же, какие звенели в оставленных нынче школах, в зубрежке, подсказках, неожиданных открытиях — в задаче, стихотворении, в какой-нибудь мысли, показавшейся очень важной, — во всем этом, таком заурядном дома, было что-то необычайное... Тут уж не просто сдашь, не сдашь, четверка будет, тройка или схватишь двойку. Теперь эта же самая учеба словно проверяла: а что ты за человек? Устоишь или повалишься? И в то же время какая-нибудь «Физика» Хвольсона или «Геометрия» Киселева словно подпирала тебя, помогая не сдаваться...

Как-то Мише Дудину удалось наконец получить по русскому языку долгожданную пятерку. На перемену он вышел со счастливым лицом человека, ждущего от судьбы новых чудес. Его провожали восхищенные взгляды девочек. Но Аркашка, выслушав скромный отчет Миши, громко сказал:

— Ты что, дурной? Кому она нужна, твоя пятерка?

И Миша потускнел... Он чувствовал еще, что пятерочка и хороша и нужна, но уже и стыдился ее. На Мишино счастье, рядом оказался Ларька. Он не улыбался. Напротив, очень грозно взглянул на Аркашку и медленно, сурово произнес:



— Мишкина пятерка нужна революции.

И поднял вверх руку замершего от счастья Дудина, как руку победителя.

Аркашка только сплюнул от злости. Может, он тоже учился бы, как положено, если б раньше не стал в позу: дескать, нам, скитальцам морей, чихать на это детство — учебнички, тетрабочки, отметочки. Чем дальше, тем сильнее крепло у ребят чувство гордости, что как ни трудно, а они все равно учатся. Чихать они хотели на трудности!

Николай Иванович как-то заговорил с Олимпиадой Самсоновной о том, что надо же сообщить родителям детей об их положении.

— Да, да, ужасно, — согласилась было она. — Но как? Я, знаете, молюсь, — смущаясь и тем строже добавила начальница. — Ко мне вернулась вера... Я всегда, конечно, верила, но сейчас... Нас может спасти только чудо!

Николай Иванович осторожно покашлял. Ему не хотелось рассуждать о вере и чудесах.

— Люди все-таки пробираются и оттуда и туда... Жизнь не останавливается. Я говорил с нашим соседом, холерным доктором... Есть каналы, можно дать знать в Питер, пусть как-то помогут...

— Как? Как они помогут? — уставилась на него Олимпиада Самсоновна. — А если наше письмо попадет в контрразведку? Тогда вызовут не Мишу Дудина...

Николай Иванович наклонил голову... На следующий день он за своей подписью отправил все-таки письмо в Петроград.

Только через несколько лет стало известно, что оно тогда дошло, доктор не обманул... Судьба восьмисот детей, отрезанных в белогвардейском Заволжье и Приуралье, волновала не только их родителей. Питерский Совет пытался через Советы в прифронтовой полосе, потом через Красный Крест и частным порядком как-то связаться с детьми, направить им зимнюю одежду... Но из этого ничего не вышло. Ни дети, ни учителя не знали об этих хлопотах.

Володя пожаловался Кате:

— Интересно получается. Провожали с музыкой. Ах, детки!.. Южный Урал, озера, хлебные места и еще Ильменский заповедник... А что вышло? Спим вповалку, как свиньи. Есть нечего. Я вчера по огородам лазил. Воровал

картошку. Желудевый кофе и тот кончился... Загнали деток. До чего дошло. Даже с детьми не считаются, как не стыдно....

— Вы же хотели быть взрослым,— неласково удивилась Катя.

— Хорошо, но мы люди, а тут обращаются совсем не по-человечески...

— Пожалуйста, хоть вы не нойте.

— Я не ною, но так нельзя. Надо же что-то делать.

— Ну и делайте.

— Странно. Не я же всем распоряжаюсь...

У них с Катей начались какие-то недомолвки... И почему-то они говорили по-русски, забывая о любимом французском языке.

Один Валерий Митрофанович живчиком носился среди всеобщего уныния, что-то раздобывал и даже умудрился поправиться, наливался соками... Он то и дело ораторствовал, становился трибуном... Призывал всех радоваться победам над большевиками:

— До зимы вернемся в Москву и Питер! «Гром победы, раздавайся! Веселися, храбрый росс!»

И те из ребят, кто особенно пал духом, вертелись около него, расспрашивали о последних новостях, начинали верить, что и правда скоро попадут домой. А до остального им и дела не было.

Однажды в начале августа, вечером, Валерий Митрофанович, закончив на сегодня свои хлопотливые дела, воодушевленный только что произнесенной в младших классах речью, что Россия теперь одумается и вернет монарха, а с ним и табель о рангах, чувствуя себя уже не титулярным, а — чем черт не шутит! — статским советником, открыл дверь в свою комнату, предвкушая заслуженный отдых. Тут же на него откуда-то сверху хлынул поток воды. Пытаясь руками прикрыть лысину, он шагнул в сторону и рухнул, зацепившись за веревку, которой в комнате отродясь не было. Чей-то голос, чуть ли не женский, строго сказал:

— Так будет со всяким, кто идет против революции!

Кто-то даже перепрыгнул через поверженного Валерия Митрофановича — ему показалось, что пронеслось несколько ног.

Валерий Митрофанович поднялся, отыскал и зажег



каганец — хитрое приспособление из блюдечка с мазутом, в котором плавал кусочек ваты. Понял, что над дверью было подвешено полное воды ведро. И веревку нашел, свернул ее и спрятал... Но мысли его были далеко. Ведь он стал жертвой не простого школьного озорства, а обдуманной политической мести.

Он долго ломал голову, пытаясь припомнить, где он слышал голос, осудивший его за борьбу против революции... Очень расстраивался, что никак не мог припомнить. Решил ничего никому не рассказывать. Прикинуться равнодушным к обиде, веселым, своим в доску парнем — так они говорят... Быть мудрым, аки змий. И все разве-дать, разнюхать, вывести на чистую воду.

А в округе и даже в городе все еще вспыхивали неожиданные бои. Ничего нельзя было понять. По местной газете и восторженным речам Валерия Митрофановича выходило, что от Пензы до Урала огромные территории отпали от большевиков, что их прогнали, уничтожили, и славят не то Учредительное собрание, не то царя-батюшку. А бои можно было видеть из окон казармы...

В двадцатых числах августа, в серый, почти осенний денек, когда с утра запахло дождем, но он почему-то никак не начинался, пальба пошла как раз под окнами, во время обеда.

— Ложись! — крикнул дежурный, Николай Иванович.

Процедура была известная, старшим даже надоела. Только маленькие поспешно залезали под столы, и то норовили захватить свой паек хлеба... Зазвенело окно, вылетевшее от шальной пули, посыпались осколки. И пока девчонки визжали, а Катя и Николай Иванович их утешали, Ларька и Аркашка умудрились незамеченными выскользнуть из столовой.

Окно в соседней комнате было открыто. Они бросились к нему, вовсе и не думая, что сюда может залететь пуля. На заморенных, в пене, лошадях прыгали всадники. У некоторых на ногах были лапти, а у одного боком сидела на голове старая соломенная шляпа... Командир, в лиялой гимнастерке, с непокрытой, обвязанной окровавленным бинтом головой, отбивался саблей от нападавших на него беляков...

Не сговариваясь, Аркашка и Ларька покатались по лестнице вниз, выскочили во двор. Выстрелы, крики и

стоны их не остановили. Они выглянули из-за полосатой будки часового.

Командир лежал на земле; около него отстреливались двое, потом побежали к холерному бараку, за ними гнались белые... А краском, это был он, ребята узнали его еще из окна, лежал один и стонал...

Оскалясь, не дыша, Ларька на четвереньках побежал к нему.

— Ты что? — ахнул было Аркашка и пополз следом.

Краском не мог говорить, но узнал Ларьку и, глядя на него, с трудом подняв руку, хотел сунуть ее за борт тужурки. Дрожащими пальцами Ларька расстегнул его тужурку. Там было кумачовое знамя, то самое, еще виднелась надпись «Мир — хижинам...» Краском строго взглянул на Ларьку, коснулся знамени, будто подвинул его к ребятам, приказал... И Ларька, схватив знамя, спрятал его под рубашку, на голое тело.

Они с Аркашкой ухватили было краскома за тяжелые плечи, чтобы оттащить во двор. Но вовремя шарахнулись в сторону: над ними свистнула, как змея, чужая шашка... Они побежали к себе во двор, пригибаясь, ожидая страшный удар.

— Куда? — крикнул чей-то сиплый голос, останавливая погоню за мальчишками.— Там холерные...

## 11

В сентябре, часто безоблачном и теплом в этих краях, как назло, зарядили дожди, похолодало.

Все чаще стали размышлять, в чем же выйти на улицу.

Против дождя у некоторых девочек были зонтики; еще меньше отыскалось плащей, да и те имели скорее символическое значение, так как любая капля проходила сквозь них без труда. Мальчики были вооружены против дождя только веселой уверенностью, что каждая лужа с нетерпением ждет своего исследователя, и стремлением потягаться, кто дольше способен мокнуть. Это, конечно, пока шли теплые дожди. Но пошли холодные...

Рассчитывали непременно вернуться в августе; никаких теплых вещей никто не взял.

Впрочем, первые дни они боялись выходить даже во

двор приюта. Помнили о холере... А главное, все здесь было незнакомое, чужое. Дома их все знали. И они знали всех. Не только людей, но и стены, от которых так ловко отскакивал в расшибалочку тяжелый пятак, деревья, вокруг которых они кружились, свой двор, сарай, дорогу в школу, каждую выбоину в тротуаре, забор, за которым рычала злая собака, тетку с горячими пирожками,— они знали всех и всему были хозяевами! Все это было если и не их, то словно для них... А здесь они были никем. Даже ничем! И ужасно неприятно становилось слушать, как ругают их Питер. Только Ларька мог откровенно, издевательски посмеиваться, сверкая зубами:

— Кто был ничем, тот станет всем!

Хорошо, что немногие и не сразу догадывались, что это из «Интернационала». Кто был ничем, тот станет всем. Неужели это про них?..

В обносках, пожертвованных сердобольными горожанами, замерзшие, синие, с мокрыми носами, десятки, а потом и сотни мальчиков и девочек выбирались из казармы, несмотря на строжайшие запреты, и разбредались по городу.

С утра ребята забирались на рынки и простаивали у жаровен и прилавков со съестным до тех пор, пока их не прогоняли взащей или не бросали кусок, как собачонкам, которые вертелись тут же и часто прыгали, свирепо клацая зубами, норовя перехватить брошенную еду... Самые маленькие шныряли по столовым и трактирам, убегали от гнавших их официантов... Просить они не умели — только смотрели, провожали застывшими глазами каждый кусок.

Никакие нравоучительные речи и задушевные беседы, что попрошайничать стыдно, позорно, не помогали.

И все-таки они учились. От злости, отчаяния, стремления кому-то что-то доказать...

— Что, собственно, доказать? — недовольно спрашивал Валерий Митрофанович.

— Наверно, что они живы,— отвечал без улыбки Николай Иванович.

Они даже умудрялись переживать свои успехи и неудачи в какой-нибудь химии или древней истории. Ужасались, что Ростик может остаться на третий год в седьмом классе. А если его исключат, что тогда будет?

— Ничего не будет,— отмахивался Ростик.

Но ему никто не верил. И это общее настроение уважения к занятиям как-то действовало даже на него...

К этому времени все запасы, все средства, которыми в свое время Питер и Москва наделили детские эшелоны, были полностью израсходованы.

Восемьсот ребят и их учителя голодали.

Если кого-то из учителей и воодушевляли надежды на расцвет демократии здесь, между Волгой и Уралом, на счастливую судьбу, приведшую их сюда, на какой-то необыкновенный взлет духовных сил России, исключительно благотворный, конечно, для нравственных идеалов учеников,— то обо всех этих прекрасных вещах теперь как-то не думалось... Хотелось есть. Хотелось переодеться во что-нибудь сухое, теплое и крепкое. И нестерпимо хотелось домой, в этот богом проклятый Питер, где злодействовали большевики, но где был хоть какой-то свой дом...

В городе тоже было голодно. Еще в августе из магазинов исчезли мука, сахар; хлеба выдавалось полфунта, а то и четверть фунта в день. За какие-нибудь два месяца цены на рынке подскочили в сорок раз... Налеты старших ребят на огороды пришлось оставить после того, как Ростика и еще троих, забравшихся на ближнее картофельное поле, хозяева избили до полусмерти.

Все, что можно было продать, давно уплыло на рынок. Настал день, когда и Аркашка, долго крепившийся, одним махом и за первую цену, которую ему предложили, загнал кожаную куртку и фуражку.

— Эх, ты! — корил его Ларька, когда узнал об этой операции.— В чем же мы теперь выходить будем! Что братва скажет?

Аркашкину куртку при нужде использовали по очереди — и Гусинский, и Канатьев, и Ларька.

Но Аркашка был горд и счастлив. На вырученные деньги он тайком, через своего верного адъютанта Мишу Дудина, передал Кате два пирожка с ливером и несколько слипшихся розовых леденцов...

Миша со словами «это вам» сунул ей бесценный дар в руки и убежал, как ему было велено. Но Катя догадалась, от кого поступил презент. Она поблагодарила Аркашку и призналась:

— Ужасно трудно побороть голод... Я все время стараюсь думать о чем-нибудь другом, серьезном и всякий раз спохватываюсь, что опять думаю о еде... Так противно!

Но она ни слова не сказала, что и пирожки и леденцы были строго распределены между ее подопечными, девочками младших классов.

Зато через день Катя сама попросила Аркашку:

— Вы не могли бы достать немного черных ниток? Иголка у меня есть...

Она брала с собой две катушки ниток, черных и белых, но они давно разошлись. Многие девочки из младших классов позабыли взять нитки, а на этих девочках все горело — и чулки, и сарафаны, и юбки.

У Кати была забавная манера — она ко всему, не только к деревьям или цветам, но даже к мебели и к своей одежде с детства относилась как к живому... Она до сих пор мимоходом делала выговоры ботинкам, если они не хотели налезать ей на ноги, или сердилась на воду за то, что она слишком холодная. Когда у Кати, к ее крайнему огорчению, распоролось по шву любимое черное платье с кружевным воротничком, она долго журила его за измену старой дружбе, но потом пришла к выводу, что это не поможет и платье необходимо как-то зашить.

Житейские проблемы возникали ежеминутно. Такой пустяк — нитки! А где их взять? За катушку ниток на рынке давали целую курицу... Нет, вы представляете? Курицу...

К тому же Катя обнаружила, что и у Володи, и у компании Ларьки особенно, есть что и заштопать и зашить.

— Братва! — рывкнул Ларька, узнав о невыполнимой прямо-таки задаче, поставленной перед ними Катей. — Не подкачаем, братва! Порядок на Балтике!

Аркашка, который ревновал Ларьку и к брату-матросу и к Кате, вдохновенно прочитал, несмотря на пустой желудок, звонкие стихи:

Герои, скитальцы морей, альбатросы,  
Застольные гости громовых пиров,  
Орлиное племя, матросы, матросы,  
Вам песнь огневая рубиновых слов...

Нитки были добыты очень сложным путем. Кое-кто в городе сочувствовал ребячьей колонии, попавшей в



такую беду. Например, девочки, помогавшие швеям в мастерской, которая обшивала и чехов и белое воинство, выражали это сочувствие особенно Аркашке и Ларьке. Когда из рук девочек в руки ребят перешли две заветные катушки ниток, ни слова не было сказано о Кате. Девочки из мастерской не подозревали о ее существовании. А мужское коварство — или рыцарство? — позволили Аркашке и Ларьке торжественно вручить нитки Кате.

— Откуда вы их взяли? — ахнула она.

— Да тут один из третьего эшелона захватил лишку, — сверкнул улыбкой Ларька.

Потом она пришивала Володе пуговицу на тужурке, а он обиженно бубнил, поправляя очки, у которых недавно отвалилась дужка:

— Извините, я не понимаю, что вы находите общего с этой публикой — Ручкин, Колчин и прочие...

— Нитки, — усмехнулась Катя.

— Ну при чем тут нитки, вздор.

— Не скажите.

— У вас завелись с ними тайны. Ходят странные разговоры, что у вас одна компания... — Он запнулся, припоминая, как это называется. — Одна бражка... шайка-лейка... И вы даже казнили за что-то этого жалкого Валерия Митрофановича.

— Но ведь он остался жив, — усмехнулась Катя веселее.

— Я вижу, вам тут нравится, — обиженно сказал Володя.

— Нет. — Катя вздохнула, откусывая нитку. — Совсем не нравится...

— Тогда поедem в деревню.

— Куда?

— В деревню... Учителя выясняли, можно ли старших ребят, хоть по одному, по двое, пристроить пока в зажиточные семьи по деревням. Говорят, можно.

— Что же мы там будем делать?

— Подкормимся...

— Даром?

Володя поморщился:

— Должен ведь кто-то о нас заботиться! Ну, станем помогать...

— Пахать? Доить? Что вы умеете? Я ничего не умею.

- Будем их учить всему, что знаем сами.
- Французскому, что ли? Кому нужны такие учителя!
- Все равно тут оставаться нельзя! Тем более, нас собираются выгнать даже из этой крепости...

Правда, наступил и такой день. Солнечный, но очень холодный. Когда Олимпиаде Самсоновне предложили в срок восемь часов очистить казарму и сдать ее под госпиталь...

К середине сентября власть белых, затеявших контрреволюционный мятеж, зашаталась... Уже в августе красные полки перешли в наступление, но первые удары были еще слабы. Зато десятого сентября наши окончательно вышибли белочехов из Казани; двенадцатого сентября Железная дивизия взяла Симбирск. 7 октября Чапаевская дивизия ворвалась в Самару. Красная армия гнала белых на восток. Но там поднимал голову Колчак, еще один «правитель России»...

В Приуралье все больше поступало раненых из разбитых белых полков и дивизий. Их негде было размещать, вспомнили про казарму...

Сведения о решительном наступлении большевиков почти не проникали к ребятам. Учителя кое о чем догадывались, но не делились этими догадками с учениками. Старались прятать газеты, где расписывались всякие ужасы, происходящие якобы в Питере и в Москве, оберегая ребят от политики. Впрочем, некоторые заметно изменились под впечатлением фронтовых вестей, и больше других Валерий Митрофанович. Он все-таки наткнулся однажды на Мишу Дудина, удивился, даже обрадовался и хотел было мчаться в контрразведку, сообщить о «находке»... Но потом задумчиво устался на Мишу.

— А ведь мы с твоей мамой хорошие знакомые, — горестно вздохнув, заговорил он задушевно. — Что же ты от меня прятался? Разве я тебе чужой?

И он, еще раз вздохнув, погладил Мишу по голове:

— Счастливая, неповторимая пора детства... Все в игрушки играет. Ну, играйте, играйте...

— Говорили, до осени вернемся домой, — пробормотал Миша, растревоженный напоминанием о матери. — А это что? — Он показал на лужи, которые холодный ветер подернул рябью, словно гусиной кожей. — Вон как холодно...

— Да, домой...— Учитель смотрел куда-то в сторону.— Где он, наш дом?

— Как где? В Питере!

— Ну конечно,— быстро оживился Валерий Митрофанович.— Естественно! Где же еще? Я и говорю — в Питере наш дом родной!

И он пошел было, сплунув, но вернулся и таинственно прошептал, наклонившись к Мише:

— Может, скоро увидишь маму!

— Нет, правда? — подскочил Миша.

— Все может быть. Что ты скажешь тогда о своем Валерии Митрофановиче?

— Скажу, что вы очень добрый человек...

Не то морщась, не то улыбаясь, словно больной, Валерий Митрофанович еще раз погладил радостно трепещущего Мишу по голове и удалился, велел молчать.

Миша тут же передал разговор Аркашке. Но Аркашка нахмурился и тоже велел помалкивать...

Старшие ребята знали о наступлении наших и ломали головы, как им быть.

Когда белых выбили из Казани, Ларька впервые достал знамя краскома. Хотя и ему и Аркашке очень нравилась Катя, ее не позвали. Ребята забрались в подвал, в заброшенную котельную, где не было ни угля, ни дров, жили одни мокрицы...

Ларька не видел знамени с того дня, как получил его от краскома. Только проверял, на месте ли оно. Он полез на верхотуру, за котел, вытащил обернутый полотенцем сверток, смахнул паутину, медленно развернул, и все увидели плотно сложенное кумачовое полотнище.

— Руками не лапать,— приказал Ларька, когда Гусинский хотел потянуть знамя за кончик, чтобы виднее стала сделанная на нем надпись.

— Под этим знаменем,— мрачно сказал Ларька,— мы соберем свой отряд...

— Красных мстителей! — загорелся Аркашка.

— Лучше красных разведчиков.— Ларька сморщил скуластое лицо так, что глаза стали как прорези в бойнице.

— А что разведывать? — спросил Канатьев.

— Что? Прежде всего узнать, где наши.

— А чего узнавать? — вскинулся Аркашка.— Скоро здесь будут!

— Да, будут! — оскалился Ларька. — А мы?

— Что мы?

— Мы где будем?

Аркашка приуныл:

— Я почему знаю...

Но тут же снова вспыхнул:

— Слушай... давай тут останемся!

— Как ты останешься? — удивился Канатьев.

— Останемся, и все!

— Тебя увезут и не спросят, — махнул рукой Ларька. — Вот если б знать, где наши... Попробовать к ним удрать. Вернуть боевое знамя...

Ребята переглянулись, осторожно улыбаясь, уже завороченные этой мыслью...

— А Катя? — вспомнил Аркашка.

— Взяли б и ее, если б пошла.

— Погоди, а Мишка? — нахмурился Аркашка.

— Дудин, что ли? Мал.

— Что ж, мы его тут оставим?

— Всех не возьмешь.

— Всех! Выходит, мы четверо выскочим, а ребята пусть пропадают?

— Кому будет лучше, если и мы с ними пропадем, — нехотя пожал плечами Ларька.

Когда Аркашка и Ларька начинали вот так спорить, огрызаться и ссориться, Гусинского и Боба Канатьева охватывало беспокойство.

— Ну, чего опять сцепились? — завозился Канатьев, оглядываясь на Гусинского. Тот молча скорчил неодобрительную гримасу. — Еще не договорились, куда бежать, в какую сторону, как это вообще делается, а уже кидаетесь друг на дружку...

Аркашка и Ларька притихли.

— Прежде всего — революция, — проговорил Ларька. — Все другое после.

— А революция для кого? — нахмурился Аркашка. — Для всех! Значит, и для Кати и для Мишки...

— «Для всех!» — передразнил Ларька. — Сказанул тоже!

Аркашка сообразил, что тут он и правда сморозил. Стал выкручиваться, но его уже не слушали. Думали, как же все разузнать, связаться с красноармейцами...

— Может, они нас отобьют? — нерешительно поинтересовался Канатьев.

— А мы бы ударили отсюда с тыла! — тотчас подхватил Аркашка. — С белых только пыль полетит! Даешь, братва!

— Чем ты ударишь? — огрызнулся Ларька. — Если б нам оружие...

— Добудем! В бою!

— Нет, сперва надо связь установить... — Ларька стал складывать знамя, заворачивать его в полотенце. Все провожали знамя глазами...

— Ты чего? — спросил Аркашка.

— Установим с нашими связь — развернем знамя, — твердо заявил Ларька. — Будем красные разведчики...

Но они ничего не успели сделать, потому что через день пришли суровые, пожилые солдаты — санитары в линялых гимнастерках, и, стыдась смотреть на ребят, стали, подчиняясь окрикам своих начальников, выбрасывать из казармы во двор скудное добро учителей и детей...

Накануне младшие классы ушли следом за четырьмя подводами в какой-то приют, в пятнадцати километрах от города. Теперь Олимпиада Самсоновна и другие учительницы бегали следом за двумя офицерами, которые командовали выселением из казармы. Учительницы заранее просили Николая Ивановича и других мужчин не вмешиваться, предоставить переговоры им, дамам.

— Все-таки офицеры, — объясняли учительницы. — Воспитание! Манеры!

Но санитары хмуро выносили во двор, на холодное, льдистое солнце все имущество.

— Господа, ну что вы делаете! — Олимпиада Самсоновна еще пыталась говорить уверенно. — Где же дети будут спать? Как вам не совестно...

Нет, не получался уверенный тон. В каждой нотке ее голоса звучали обида, растерянность, мольба... Рыжеусый офицер отмахнулся от нее, как от назойливой мухи:

— Переспите на земле. Не подохнут ваши краснопузые детки. А если вам, мадмуазель, — он попытался ухватить за талию Анечку, — будет холодно или жестко, зовите нас...

— Господа, что за шутки! — пробовала Олимпиада Самсоновна защитить вспыхнувшую Анечку.

— Ну, ты мне надоела, старая карга! — обозвал ее рыжеусый. — Вон отсюда, кому сказано!

— Я попрошу быть повежливее...

Она все еще просила. Ее унижение становилось невыносимым. Катя, стоя сзади, ломала вырезанную Володей палочку, машинально шептала: «Так будет со всяким...»

Но офицер шагнул к Олимпиаде Самсоновне ближе и, шевеля усиками, как таракан, сказал что-то тихо. Какую-то грязную пакость...

Тогда Олимпиада Самсоновна подняла руку и молча выдала ему, на радость всем ребятам, пару оплеух — сначала дала по левой щеке, потом по правой. Офицер схватился за шашку; шашки на месте не оказалось. Он зацарапал ногтями по кобуре пистолета... Но его крепко взял за руку Николай Иванович, со всех сторон молча надвигались ребята... Офицер оглянулся и понял: ждут только сигнала, чтобы кинуться, как волчата... Их гляди сколько, сотни, а у него команда в десять стариков... Вон впереди тощий, скалит зубы, подобрал где-то дубину...

## 12

Кое-как обошлось. Выпросили у холерного доктора стакан спирта, угостили обиженных офицеров. Еще день перебились в казарме. Наутро и старшие двинулись походным порядком в приют, следом за младшими. Человек шестьдесят отправлялись на деревенские харчи. Ларька и Аркашка по просьбе Николая Ивановича ушли с последними ребятами и учителями в приют. Гусинский, Канатьев, Володя и Катя поехали в какое-то село Широкое.

Впрочем, на телеге, кроме хозяина, место нашлось только для Кати и Володи, а Гусинскому с Канатьевым сразу велено было идти рядом, пешком. Так распорядился хозяин, Фома Кузьмич, у которого двоим из них — еще непонятно, кому — суждено было пока жить. Глаз у Фомы Кузьмича был острый. Бесцеремонно осмотрев ребят, он раскрыл красный рот, запрятаный в черную бороду, и увесисто пророкотал:

— Девица и ты, баринок, со мной сидайте. А эти нехай идут, ноги не отвалятся.

Володя полез на телегу, но Катя сказала:

— Я тоже пройдусь.

Фома Кузьмич не стал перечить. Тогда и Володя соскочил на землю, пожимая плечами. Все сунули свои пожитки на телегу, под влажную солому, и пошли.

Володя заговорил с Катей по-французски, объясняя, что незачем, собственно, мочить ноги, если можно не мочить, что им сейчас ничего не остается, как слушаться и точно все выполнять, не выдумывая... Он пространно объяснял это, иногда, словно случайно, встречаясь с любопытствующими глазками Фомы Кузьмича.

— Я ничего не выдумываю,— по-русски ответила Катя.

— А он по-каковски болтает? — спросил ее хозяин.

— По-французски.

— Гляди-ко! А ты не можешь?

— Могу,— улыбнулась Катя и добавила что-то по-французски.

— Это чего же будет?

— Она благодарит вас за доброту,— перевел Володя.

Хозяин насчет доброты пропустил мимо ушей, как пустое, его заинтересовало другое:

— Может, вы не русские? Не крещеные вовсе?

Володя и Катя молча показали ему свои простые серебряные крестики, смущаясь, что шнурки засалены.

— А те? — кивнул Фома Кузьмич на Гусинского и Канатьева, которые несколько отстали.

— И те! — твердо ответила Катя, не давая сказать Володе. Они хорошо знали, что у Гусинского никакого крестика на шее нет.

Фома Кузьмич пустился расспрашивать, как ребята жили в Питере, кто их родители, какое имели состояние. Катя отвечала следом за Володей, но от этих расспросов снова подобралась тоска... Она так ясно увидела маму, ее молящие, в слезах глаза, трясущиеся щеки, дрожащие губы, которые пытались кричать что-то очень важное, когда теплушка уходила от питерского перрона... И своих братиков, близнецов, как они цеплялись за нее и ревели, когда она прощалась, уезжая... Боже мой, живы ли они?

Володя и тот приуныл. Вспоминался ему почему-то почтенный седоусый швейцар, кавалер, награжденный крестом за Плевну, толстая вишневая дорожка, прижатая золочеными прутьями к ступеням широкой лестницы,

которая вела в их квартиру на третьем этаже, натертые полы, на которых по утрам весело играло солнце, его кабинет, низкий диван и охотничье ружье над ним, шкаф с книгами, зеленое сукно стола, такого же, как у отца, бронзовую лампу... Отца и мать он как-то не видел: они, похоже, снова были в отъезде. И так захотелось ему домой, что он едва не взвыл и сердито замолчал, не отвечая Фоме Кузьмичу.

На выезде из города поперек легла глинистая лужа. Володя успел прыгнуть в телегу, протянул руку Кате. Но Фома Кузьмич сердито велел ему сойти.

— Куда же я сойду? — удивился Володя. — Тут грязно.

Фома Кузьмич сам прыгнул в грязь, рассердился:

— Ты что, совсем дурной? Лошади трудно...

Володя, пожимая плечами, слез. Холодная глина облепила туфли, полезла внутрь. Он шел около Кати и раздраженно удивлялся:

— Как будто лошадь важнее людей. Странно...

— Но ведь это хорошо, что он пожалел лошадь. Значит, он добрый.

— Ну да, лошадь жалко. Только нас никто не жалеет.

— Послушайте, Володя, не надо так. — Катя тронула его за рукав изрядно засаленной гимназической тужурки. — Понимаю, тоскуете о доме. Я тоже. В сущности, все очень хорошо. — Она храбро улыбнулась. — Я вспоминаю книгу, которую вы мне давали читать. О крестовом походе детей. Как они шли через всю Европу в Палестину, веря, что это им, детям, суждено...

— При чем тут крестовый поход? К тому же те дети погибли.

— Может, и мы погибнем, но спасем людей от крови, от жадности. Именно мы, дети. Напомним, что Христос велел любить друг друга, быть добрыми...

Володя невольно покосился на чернобородого Фому Кузьмича с лукавыми глазками и жарким ртом — как раскроет, кажется, горящая печка! — и усмехнулся:

— Послушают вас эти Фомы Кузьмичи, как же...

— Конечно, не послушают, а мы будем говорить свое!

— Побьют.

— Побьют, а мы будем твердить о любви... Это же прекрасно, Володя!



Он явно сомневался, так ли уж это прекрасно...

Когда отъехали верст шесть от города, Фома Кузьмич забеспокоился. По его словам, тут орудовали красные партизаны. Он стал учить ребят, что говорить, если вдруг налетят:

— Вы им толкуйте, что из Питера, что я вас от голодухи спасаю.

Гусинский и Канатьев насторожились, стали расспрашивать, что за партизаны и далеко ли фронт, но Фома Кузьмич отмахнулся от них, настороженно поглядывая по сторонам, цокая на лошадь.

Дорога теперь пошла лесом. С золотых берез, оливковых дубов, красных кленов падали пахучие, свежие капли от прошедшего недавно дождя. И кусты и деревья тоже словно ждали кого-то и стояли настороже. Ребята переглядывались с нетерпеливым оживлением, не замечая, как злятся на них Фома Кузьмич. Гусинскому и Канатьеву отовсюду чудились всадники на взмыленных конях. Но никто не вылетал из золотых берез... А лес отступал, и впереди было поле. Когда лес остался позади и за мокрым полем зачернели деревенские крыши, Фома Кузьмич перекрестился, приосанился и подхлестнул лошадь.

Ребята впервые так близко видели поле. Кое-где желтели высохшие и увядшие стебли. Тут шло сражение, и колосья словно пали в бою...

— «Лишь паутины тонкий волос блестит на праздной борозде», — прошептала Катя, жадно глядя вокруг, и засмеялась, заметив, с каким беспомощным унынием смотрит на все это Володя.

Телега въехала в деревню. Ребятам стало неловко, даже Кате. Только сейчас почувствовали, до чего они здесь чужие и незащищенные. Пошли первые избы с пустыми огородами, закрытые ворота, брехучие собаки; начали встречаться люди; все торопливо кланялись Фоме Кузьмичу... Наконец лошадь остановилась около самых высоких и тяжелых ворот и длинного низкого строения, около которого, на вытопанной земле, стояли несколько мужиков. Здесь был трактир, заезжий двор и дом, где жил с семьей хозяин всего этого богатства, Фома Кузьмич...

Заехали во двор, где пахло теплым навозом. Неловко улыбаясь, оглядываясь по сторонам, не зная, куда себя приспособить и как тут положено вести себя, ребята стояли

около телеги. Лохматый пес ринулся на них от сарайчика, где воровал у свиней похлебку. Бесстрашная Катя присела перед ним и протянула руку погладить, да еле успела ее убрать — так свирепо клацнул зубами пес.

— Ты чего собаку дразнишь? — завопила какая-то девчонка с крыльца.

— Все равно собаки меня любят, — гордо сказала Катя, пристально глядя в глаза лохматому псу. И верно, от нее он отстал, привязался к Гусинскому с Канатьевым.

— А вы чего? — прикрикнул на них Фома Кузьмич. — Идите со двора, проситесь у людей, может, кто примет, а мне без надобности вы. Я и так двух дармоедов прохарчить взялся... — Не глядя на оробевших мальчиков, он уже командовал Володе: — Эй, Володька! Лошадь распряги! А ты, девка, как тебя, Катька, что ли, ступай на скотный, вон хозяйка глядит, она тебе сыщет дело... Да работать у меня по совести, не то я вам живо найду укорот!

Володя осторожно приблизился к Фоме Кузьмичу и, хотя тот сердито повернулся к нему спиной, забормотал в эту жирную спину про то, что Фома Кузьмич напрасно думает, будто они какие-нибудь. За него, Володю, родители хорошо заплатят...

— Заплатят! Лошадь до сих пор не распряг?

— Так не умею я, Фома Кузьмич, — несмело улыбнулся Володя.

— Что же тебя, так даром и кормить?

— Почему даром? Мои родители заплатят вам за все!

— Твои родители эвон где! А посередке — фронт...

Фома Кузьмич не договорил — заметил, что вместе с Гусинским и Канатьевым со двора уходит и Катя.

— А ты куда? — крикнул он.

Екатерина подошла и уставилась на него большими темными глазами.

— Не понимаю, — сказала она спокойно.

— Я тебе куда велел идти?

— Зачем вы притворяетесь злым? — продолжала она, удивленно рассматривая Фому Кузьмича. — Мы и так вас боимся... Вот, привезли мальчиков и бросили. Куда им теперь?

— Ладно, Катя, — сказал Канатьев, и они с Гусинским пошли к воротам.

Екатерина смотрела на Фому Кузьмича.

— Панкратовых нехай спросят,— буркнул он.

— Мальчики,— крикнула Екатерина,— спросите Панкратовых, скажите, Фома Кузьмич прислал, а если не получится — возвращайтесь сюда.

— У тебя что, родители тоже из богатеньких? — неласково спросил ее Фома Кузьмич.

— Нет, они бедные,— тряхнула головой девочка.

— Что ж, они и за твой прокорм не заплатят?

— Так ведь я буду работать,— улыбнулась она и пошла, куда ей велел Фома Кузьмич, к скотине.

Нестарая, худая женщина в грязном платке, надвинутом на глаза, взглянула на Катю и, не спросив, как ее зовут, велела убрать и сменить у коров подстилку.

Животных Екатерина не боялась с детства. В пустое стойло надо было пройти мимо двух коров. Коровы стояли к ней задами, худая женщина их доила; одна корова оглянулась на Катю с любопытством, и девочка ей улыбнулась, почувствовав хоть маленькое облегчение... Катя понимала, что ей надо убрать из пустого стойла полужидкое навозное месиво. Она ничего не имела против этой работы, но не знала, как к ней приступить.

— Вон оне, вилы,— равнодушно сказала хозяйка.— Видишь окошко? Бросай туда.

Катя не решалась ступить в навозную жижу. Ботинки у нее были одни, и тут они сразу бы ужасно промокли. Но что оставалось делать? Вздохнув, она шагнула вперед, что-то зачавкало, и жижа протекла в шнуровку...

— Куды полезла! — удивилась хозяйка.— Лапти пошишь в углу.

Как будто не могла сказать секундой раньше! Катя вышла на сухое, подобрала, где ей было сказано, пару огромных лаптей, задубевших от пропитавшего их навоза, скинула башмаки, уже подмокшие конечно, сунула маленькие ноги в эти скороходы.

— Маленький Мук, туфлями стук,— улыбнулась она, приглашая и хозяйку посмеяться, но та не взглянула на девочку.

Катя осторожно, чтоб не упасть, взялась за вилы. Какие они были нескладные, тяжелые, хотя вообще-то Катя хорошо бегала на коньках, увлекалась акробатикой, и девочки считали ее сильной... Она решительно поддела вилами толстый, пропитанный жижей, слой соломы и под-

няла его, изогнувшись, к маленькому окошку, прорубленному в бревенчатой стенке. Жижа потекла сверху на голову, даже на лицо и на плечи... Но Екатерина не бросила вилы. Упрямо совала их в окошечко, пока не попала. Потрясла вилами, комок свалился наконец куда-то за стену.

Так и пошло. Хозяйка что-то ворчала, кажется, сердилась. Катя старалась работать быстрее. Она вся перемазалась в навозе, воняло от нее, как из выгребной ямы. Девочка с ужасом думала, сумеет ли отмыться и отстирать все, что на ней надето, когда в сарай заглянул Володя и весело сказал:

— О, а ты навоз собираешь? (У нее не было сил ему ответить.) Ты похожа на Золушку, но я думал, что она все-таки чище,— так же весело добавил Володя.— А я получил назначение в официанты! В здешнем трактире!

Катя молча орудовала вилами, и он, уловив какое-то осуждение, добавил:

— Все лучше, чем с навозом возиться!

Катя ничего не могла понять... Прошло несколько дней, самых тяжелых в ее жизни, а Володя, именно в этот момент, начал ее сторониться. Она решила, что ему совестно: сам на чистой работе, а она ворочает в грязи. Но разве он виноват? И Катя старалась утешить Володю — ведь все зависит не от него, а от хозяина и обстоятельств, что ж тут делать... Только Володя торопился уйти.

У хозяев была девочка лет двенадцати. Володя, который учился в гимназии, говорил по-французски, приехал из Петербурга, носил очки, одевался все-таки куда чище, чем в деревне, сохранив кое-что из своего туалета, очень нравился хозяйской дочке. Ей доставляло особое удовольствие всячески унижать Катю, командовать ею. Она капризничала и грубила всякий раз, когда Катя пыталась к ней подойти, что-то рассказать, и совсем не выносила, если Катя заговаривала с Володей. Но девочка — это ничего, хотя иногда и она доводила Катю до слез.

Куда хуже было понять, что Володя стыдится ее, Екатерины Обуховой, что он отрешивается не только от дружбы с ней, но даже старается показать, что не имеет с ней, замарашкой, ничего общего, что они, в сущности, незнакомы... Он уже покрикивал на Катю, и это страшно нравилось хозяйской дочке и Фоме Кузьмичу.

Катя, как и Володя, взяла с собой учебники и тетради. Олимпиада Самсоновна и другие преподаватели дали всем, кто уезжал в деревню, особые задания, чтобы не отстать, не задержаться с переходом в следующий класс. Эти задания, тетради, учебники были теперь для Кати особенно близкими и дорогими. Опорой в ее плохой жизни. Даже взять в руки учебник или тетрадь было радостью. Заниматься ей удавалось урывками, едва ли не тайком, и тем большим утешением и счастьем это было.

Как-то Фома Кузьмич с женой уехал на свадьбу, оставив дома бабуку, дочку и Катю и наказав огня ни в коем случае не зажигать. Катя, надеявшаяся позаниматься, пока их не будет, загрустила, но, когда они уехали, взяла тригонометрию, которая ей особенно трудно давалась, и вышла с учебником на улицу. Тут было все-таки посветлее и можно было решать задачки. Когда Катя спустя час, хоть и промерзшая до костей, но довольная, что позанималась, вернулась в избу, она увидела на полу непривычную кучу изодранной в клочки бумаги... Это были все ее тетради и учебники. С печи, свесив голову, с радостным любопытством наблюдала хозяйская дочка.

Катя присела и стала перебирать клочки. Восстановить, собрать что-нибудь нечего было и думать.

— Нажалуешься? — победоносно спросила хозяйская дочка.

Катя подняла голову и посмотрела на нее. Улыбка постепенно сошла с лица хозяйской дочки, сменилась гримасой, и вдруг она плюнула Кате в лицо...

Тут Кате показалось, что быть всегда доброй несправедливо. Даже противно. Ей вовсе не хотелось твердить этой дрянной девчонке о любви. Куда полезнее треснуть ее так, чтоб взвыла...

Но Катя промедлила. И девчонка победоносно захихикала...

Холодало. Приближалась зима. Дважды выпадал снег, кончался октябрь...

Становилось все сложнее выходить на улицу — не в чем. У Кати заострился и почему-то все время блестел нос. Руки покрылись цыпками, кожа на них шелушилась, а кое-где потрескалась и гноилась. После того как она несколько дней прокашляла — «бухала», как упрекала ее хозяйка, Фома Кузьмич разрешил дать «кожушок», из

той одежды, которая свалена была в сарае и давно никем не употреблялась за крайней ветхостью. Но козушок все же грел, и Катя несколько ожила. В этот вечер она разыскала Гусинского и Канатьева.

Они работали у владельца мельницы, тоже хозяина. Катя, которая мало их, в сущности, знала, очень обрадовалась, увидев ребят.

— Ой, Катерина! — загрустил даже хладнокровный и неразговорчивый Гусинский. — Что с тобой?..

— Со мной ничего такого, — сказала Катя, пряча страшные руки. — Вот только скучно.

— Зря мы сюда поехали, — серьезно кивнул Канатьев. — Надо было с ребятами оставаться.

— Отсюда надо уходить, — медленно проговорил Гусинский как о решенном деле.

Катя прижала израненные кулачки к груди:

— Мальчики, неужели вы знаете дорогу?

Они переглянулись. Гусинский медленно и важно наклонил голову. Тогда Боб Канатьев тихо сказал:

— Ларька, ну и мы тоже, считаем, что ты ничего, верняк...

— Кто я? — не поняла Катя.

— Ну, не продашь, — пояснил Боб, — своему Володьке и другим шурам.

— Это все пустое, если вы знаете дорогу!

— Куда? — холодно спросил Гусинский.

— Ну, где наши! В этот приют!

Мальчики опять переглянулись. Гусинский снова наклонил голову, и Канатьев зашептал, торжествуя:

— Мы знаем аж две дороги...

Катя уставилась на них, недоверчиво покачивая головой, улыбаясь.

— И в приют и к красным партизанам! Тут такая братва есть, в этом Широком! Эх, Ларьке понравились бы... Знаешь, где наши, красные, фронт?

Она покачала головой.

— Может, и полсотни верст не будет.

— А приют?

— Приют — всего в двадцати верстах, только в другую сторону.

— Можно за день дойти, — прошептала Катя.

Она улыбалась, и тихие слезы текли сами. У нее было



очень счастливое лицо. Катя обняла за шею Гусинского и Канатьева и, пользуясь полной их растерянностью, быстро чмокнула каждого.

— Еще чего! — возмутился Боб, яростно вытирая щеку.

Гусинский с достоинством отодвинулся тоже.

— Какие вы смешные! — едва выговорила Катя. — Какие вы хорошие! И как я хочу, чтоб мы скорее опять были все вместе. Я уж на это и не надеялась...

## 13

Они мечтали добраться до приюта. А те, кто попал в приют, думали только о том, как уйти из него куда угодно, хоть в лапы деревенским лавочникам и кулакам, а еще бы лучше умереть сразу, только не умирать медленной смертью от голода и холода. И так горько было чувствовать свою ненужность, полную беспомощность...

Казалось, никому нет дела до сотен детей, погибающих на пороге зимы в Приуралье. Ничего нет удивительного — гибли тысячи детей, оставшихся без родителей, без всякой поддержки; десятки тысяч бродили по стране в одиночку...

Конечно, и в то страшное, небывалое время находились добрые души, помогали, чем могли. Приют считался красным, дети — большевиками, питерскими, помогать им было опасно... Но если выпадал все-таки счастливый день, то Николай Иванович в надвинутой на уши фуражке, перевязанный через грудь крест-накрест платком для тепла, приносил за плечами набитый чем-нибудь рюкзак — пропитанием, кое-какой одежкой.

Раза два, тайком, заглядывали в приют телеги с картошкой, с соленой рыбой: присылали местные Советы, ушедшие временно в подполье. На день-два настроение поднималось. Строились несбыточные планы, как их выручат, доставят домой...

На то, как устраивались старшие ребята, все учителя, даже Олимпиада Самсоновна, давно закрыли глаза. Старшие совершали налеты на ближний лес, предупредив лесника, что если он и правда стрельнет, его навещат человек триста... Лес давал то жалкое топливо, которое позволяло хоть раз в неделю топить печи.



Они ели теперь все — павших лошадей, ворон; невыкопанную хозяевами с огородов подгнившую картофельную мелочь вместе с прелой ботвой; съели все грибы и лесные ягоды, какие росли поблизости.

Маленькие не думали уже о доме, а только о еде, совсем оголодали. Когда же вспоминали дом, то плакали, не веря, что когда-нибудь вернутся. Даже Миша Дудин плакал.

Сначала белые наступали, а красные отходили. Это было то короткое время, когда веселился Валерий Митрофанович... Потом белые побежали, а вперед пошли красные. Смертельный бой шел не только на фронте, но в каждом городе, в каждом селе и в лесу...

— Чем так, ни за понюх табака пропадать, — шумел Аркашка, — пойдем хоть голыми руками душить гадов!

— Ладно болтать, — кривился Ларька.

— Лучше вот так гнить?

— Ты же сам жалел меньших, девочек, — невесело скалил Ларька зубы. — Или их тоже поведешь сражаться?

— Тогда я один пойду! Свяжусь с нашими! Скажу — тут вон сколько ребят погибают! До фронта всего верст шестьдесят.

— Может, шестьдесят. А может, и больше. Ну, дойдешь ты, пусть. И что?

— Пошлют за нами отряд!

— Ты думай все-таки, — нахмурился Ларька. — Пусть даже пробьется к нам отряд. Как он потащит с собой восемьсот ребят? Разве с такой обузой можно пройти тихо? Белые налетят, всех побьют, только и делов.

— Что ж, так и сидеть? — помолчав, тоскливо спросил Аркашка.

— Собирайся в лес, за дровами...

Потом красные остановились, даже как будто попятнились, а вперед опять пошли белые. Из Сибири к Волге лез новый правитель всея России, адмирал Колчак...

Только Ростик Гмыря со своей гоп-компанией жил не тужил. Он не был теперь ни анархистом, ни православным — очень надо! — а только высматривал, где чем можно поживиться. В приюте ничто не привлекало взор; в ближних деревеньках, может, и нашлось бы кое-что, но легко попасться, а тогда побьют до самой смерти. Хотя били Ростика довольно часто, он боялся побоев так, что

с ним случались припадки от страха. Он обратил внимание на железнодорожную станцию верстах в пятнадцати от приюта, где иногда останавливались, а то и стояли по несколько дней товарные поезда, ожидая, когда попадется какой-нибудь паровозишко, чтоб потащил дальше.

Самое главное было, как утверждал Ростик, уловить «заваруху», то есть момент, когда на станцию налетали местные «зеленые» или просто какая-нибудь банда. Тут следовало не зевать и, пока стреляли, рубились, умирали, лезли в вагоны, душили один другого, подобраться незаметно к чему-нибудь стоящему. Однажды Ростик и его сподвижникам крупно повезло: под пальбу и зарево от подожженных складов они уволокли два мешка с сахаром — в ту пору это было дороже, чем два мешка с золотом.

Несколько дней Ростик строил великолепные планы, как он разбогатеет, какое влияние и могущество, какую власть над всеми приобретет с помощью этого сахара... Потихоньку поедая его и нехотя делясь с гоп-компанией, он представлял себе горы мяса, хлеба с маслом, груды денег. Но об удаче Ростика узнал Ларька — и в тот же час весь сахар пошел в общей котел; Ростик не успел утаить персонально для себя даже «кусманчик»...

Большинство ребят открыто или тайком завидовали Ростик. Он и его друзья куда чаще были сыты, чем другие. Они раздобыли для себя кое-какие теплые вещи. Даже Николай Иванович, протирая пенсне, иронически хмыкал:

— Эти выживут. Биология... Выживают сильнейшие.

Выходило, что остальные погибнут. Обречены... От этого холодело не только сердце, а и живот и ноги.

Хотя старшие ребята в жизни приюта играли теперь заметную роль, учителя все-таки пытались одни всем командовать. Они не делились своими планами, надеждами. Даже Николай Иванович отмалчивался. Или у них не было уже никаких надежд? Это настораживало ребят, отделяло от учителей...

Между тем число больных росло. Никакой медицинской помощи не было. С эшелонами ехали только медсестры, да и у них давно кончились все лекарства. От ребят пытались скрыть, что четверо заболевших умерли.

Занятия становились подвигом, хотя теперь никто этого не признавал. Постоянно кружилась голова, дрожали руки... Но они ожесточенно продолжали учиться, доказывая всем, кто их обижал, что это ужасно несправедливо. А для Ларьки и его компании каждая добытая с боя пятерка была как выстрел по колчаковцам, как победный взмах красного знамени...

Дважды старшие ребята, когда ходили в лес за дровами тайком, обсуждали положение. Оно представлялось безвыходным. Все настойчивее пробивалась мысль, что сидеть тут и ждать, когда все перемрут, бессмысленно.

Шестого ноября с ночи повалил мокрый снег. Сначала казалось, что и он растает. Но этот снег не растаял, хоронил все под белым саваном... Никто не выходил из дома в этот день. Все стояли у окон, смотрели. Вчера хотели протопить печи, но до леса не добрались, не хватило сил; только Ларька с Аркашкой притащили по вязанке. Казалось, что снег скоро начнет валить и в комнаты, засыплет их тут и похоронит...

И тогда в разных углах приюта, даже у девочек, ожесточенно заговорили:

— Даешь митинг!

От этого слова повеяло сразу родным — Москвой, Питером. И они побежали в зал, даже те, кто не знал, что такое митинг.

В зале была когда-то сцена, от которой осталось только кирпичное основание, весь деревянный настил и обшивка — все было сожжено в печках. На сером кирпичном возвышении стоял, подняв руку, Ларька. Он укоризненно покачивал головой, и зал постепенно затихал. Никого из учителей не было, это и нравилось и пугало...

— Товарищи! — громко сказал Ларька.

Кто-то шикнул, кто-то свистнул — кажется, из группы Ростика...

Ларька помолчал, глядя на Ростика, потом медленно продолжал:

— Товарищи!

Ростик демонстративно засвистел, кто-то засмеялся.

Ларька понял, что многие еще не доросли до замечательного слова «товарищ».

— Ну ладно! Не господами же вас называть! Господ теперь нет! Тогда так: граждане!

Но тут в дверях показался Валерий Митрофанович. — Это что за сборище? — возмущенно закричал он на весь зал.

Сразу стало тихо. Ларька недовольно объяснил:

— Называется митинг, Валерий Митрофанович, неужели не понятно...

— Кто разрешил?

— Масса требует!

— Какая еще масса, вы что?

— А вот эта, — и Ларька кивнул на зал.

— Немедленно кончайте! Все по классам! — завопил Валерий Митрофанович и, понимая, что никто его не испугался, сам испугался и куда-то убежал.

У Олимпиады Самсоновны шел нервный разговор. Николай Иванович, дежурный учитель, сообщил о том, что ребята собрались на митинг. К этому отнеслись в лучшем случае юмористически: ага, за митингами наступит революция, и нас, учителей, свергнут... Валерий Митрофанович не делился своими приключениями с товарищами-педагогами, и никто не знал, что Миша Дудин уже делал подобную попытку. Но большинство учителей, издерганных ответственностью за ребят, беспомощностью, неразберихой, голодом, крайне болезненно встречали любые попытки ребят проявлять самостоятельность, что-то требовать, критиковать... Часть учителей покинули колонию. Все определеннее создавалось то неприятное и опасное положение, когда ребята убеждались, что от учителей нечего ждать спасения, и разочаровывались в них, а учителя, в свою очередь, корили ребят за бесчувственность, эгоизм, за то, что они вовсе не ценят самоотверженную заботу своих учителей...

— Это самоуправство, — сердилась Олимпиада Самсоновна. — Дети будут командовать... Надо немедленно прекратить митинг.

— Давайте пойдем послушаем их, — протирая пенсне, мирно сказал Николай Иванович. Ему не хотелось спорить. — А митинг разрешил я.

Это он тут же придумал. Все дружно на него набросились. При этом даже Олимпиада Самсоновна, даже Анечка почувствовали облегчение: нарушили порядок, оказывается, не ребята, они по-старому послушны, дети же, а необдуманно поступил учитель...

— Вам следовало доложить мне,— еще хмурилась Олимпиада Самсоновна.— Я, конечно, не пойду на это странное собрание. Но вам, как дежурному учителю, следует там быть.

Вместе с Николаем Ивановичем к ребятам направились еще несколько учителей.

В зале, где собрались ребята, не хватало мест. Толпа в коридорах, галдеж не давали начать митинг, как Ларька ни надрывался. Решили выбраться в коридор. Но и в коридоре оказалось тесно. Тогда хлынули во двор.

Теперь, когда они чувствовали плечи и спины друг друга, когда увидели, что их много, что они — сила, за много дней впервые зазвучал смех и даже холод был не так страшен. Малыши, у которых нечего было надеть, теснились на крыльце, выглядывали в двери. Ростик и гопкомпания залезли на крышу — для «шухеру», как пояснил Ростик,— и приплясывали там, отказываясь спуститься вниз. По углам здания, там, где спускались водосточные трубы, стояли две здоровенные бочки, полные темной, промерзшей воды. Одну из них Ларька избрал трибуной. Ему кричали со всех сторон, чтобы начинал, и он полез на бочку. Осторожно выпрямился, стараясь не поскользнуться на обледенелых краях, и стоял несколько секунд, приоткрыв рот, не то усмехаясь, не то сердясь — никогда нельзя было у него разобрать... Все ждали, что он скажет, притихли. Ему стало не по себе перед этой огромной толпой ребят, задравших к нему худые, заморенные, сопливые лица...

Аркашка, который стоял у самой бочки, болезненно сморщился, переживая странную паузу. Он чувствовал, что Ларька оробел. И страстно желал оказаться на бочке вместо Ларьки: уж он-то сказал бы, что надо...

Ларька не понял, как это вышло, вроде и не он все делал, только взлетела, будто сама, его рука и его хриплый голос жарко крикнул:

— Домой даешь! Вот что! Даешь домой!

Боже мой, что тут началось... Никто, даже Николай Иванович, который как раз подошел, не ожидал ничего подобного. Шестьсот человек взревели одним ликующим воплем! Тысяча двести рук взлетели к нему! Ларька ошалел от вызванного им восторга. Ему казалось, от ребят хлынула теплая волна и подняла его... А на другую

бочку уже громоздился знакомый парень из второго эшелона и, взмахивая руками так, будто решил лететь в Питер по воздуху, кричал что-то тоже о доме...

Все хотели говорить о доме, чтобы скорее туда попасть. Каждый теперь был оратором. И прошло довольно много времени, пока хоть немного выговорились. Только тогда они заметили Николая Ивановича и стали поглядывать в его сторону.

Уловив момент, он сказал:

— Я тоже хочу домой.

Новый взрыв восторга! Все теснятся к нему, позабыв о Ларьке.

— Но я не знаю, как туда попасть.

Общее недоумение, разочарование.

— А вы, Ручкин, знаете?

И снова все мгновенно повернулись к Ларьке, жадно на него уставились.

— Я так скажу, граждане! — закричал Ларька, хотя Николай Иванович говорил нарочито спокойно. — Здесь ждать нечего! Чего мы ждем? Чтобы все передохли?

И запрокинутые лица снизу закричали тотчас вместе с ним:

— Нечего ждать! Нечего! Даешь домой!

Даже Ростик со своими прыгал на крыше и кричал:

— Домой! Домой!

— Как? — погромче спросил Николай Иванович.

Ларька, словно никого не видя, сердито, обиженно смотрел только на него. Честно говоря, у Ларьки все время копошилась мыслишка, что если ребята нажмут как следует на учителей, те придумают, как вернуться в Питер. Прежде всего, Николай Иванович придумает... И вот он при всех задает этот вопрос Ларьке. Более трудного вопроса никогда Николай Иванович не задавал...

У Аркашки под горячими ладонями крошился лед; он умоляюще и грозно смотрел на Ларьку, требуя что-то придумать, ответить Николаю Ивановичу... И все так смотрели.

— Сидеть тут нечего! — отчаянно крикнул Ларька. — Построим колонну, и все, как один человек, пойдем до станции! Пусть вместо трех эшелонов дадут один! Уместимся! Влезем! И поедем!

Снова всплески радости и крики:

— Ура! На станцию! Поедем!

— В городе — тиф,— нерешительно сказал Николай Иванович.— По дороге заградительные отряды, в город нас не пустят. На станции — тоже тиф, мертвые вповалку с живыми. У случайных поездов — свалка, чтобы залезть хоть на крышу, стреляют друг в друга. И на запад поезда идут только к фронту, дальше не идет ни один поезд...

Он говорил, запинаясь,— видел, как тускнеют лица ребят. Как от него отворачиваются. Не хотят его. Кто-то свистнул. Но куда хуже прозвучали угрюмые голоса:

— Выходит, верно... Все тут перемрем...

— Кто может выполнять хоть небольшую работу, надо расходиться по деревням,— посоветовал Николай Иванович.— Пережить эту зиму...

Тут он неожиданно замолчал, и все начали оглядываться.

От проселочной дороги, которая под снегом смотрелась ровнее, чем поля вокруг, шли трое... Впереди спотыкалась девочка, прихрамывала, едва не падала. За ней, стараясь не отставать,— двое мальчишек. Они топались; нетерпеливее всех — девочка. Что-то в ней было знакомое; но даже когда она подошла ближе, ее не сразу узнали. Испуганно морщились: неужели это Катя? И месяца не прошло, как расстались, а что с ней сделали... Она выглядела сгорбленной старушкой; кожушок, из дыр которого торчала свалявшаяся овчина, задубел от навоза; у нее было серое лицо, слезились глаза, жалко дрожали бесцветные губы...

Ее старая подруга Тося и другие девочки притихли, объясняя, что не узнают Катю, хлопотали около нее, уговаривали идти в дом, лечь в постель. Она мотала головой так, что отлетали слезинки; ей хотелось быть со всеми.

Ларька, делая вид, будто не заметил Катю, зло крикнул Гусинскому и Канатьеву:

— Эй! Николай Иванович говорит, в деревне нас ждут! Вы чего обратно прибежали?

— Всю ночь шли,— бормотал Канатьев, все еще затравленно озираясь, будто ждал погони.— Разок передохнули только, падала Катя. И утром шли, и днем...

Николай Иванович с надеждой взглянул на Володю Гольцова. Хотя он тоже прошагал всю ночь, и утро, и

день, но выглядел не только свежей своих попутчиков, но здоровее всех, кто оставался в приюте.

— А вы, Гольцов?

На щеках Володи заиграли ямочки, на губах — самодовольная улыбка:

— Знаете, это все зависит от того, как себя поставить,— поделился Володя жизненным опытом.— Обухова все навоз выгребала, хотела что-то доказать...

— А ты за лакея в трактире был! — нахмурился Гусинский.— Шестерка.

Ларька наклонился с бочки, осклабясь и ожидая дальнейших разоблачений. Он не любил Володю...

— Значит, и в деревне делать нечего,— зашумели между тем вокруг Николая Ивановича.

Он сказал несколько растерянно:

— Друзья, вы знаете, мы пытались связаться с Питером. Не вышло. Местная власть в помощи нам отказала. Предлагают всех раздать по деревням... Да, в деревне с непривычки очень трудно, но каждый будет сыт, проживет в тепле. А к весне все решится!

Снова Ларька, потом Аркашка и другие ребята страстно призывали прорываться домой любой ценой...

— Может, половина ребят погибнет! — хрипел Аркашка, потрясая кулаками.— Зато другая половина увидит и Москву и Питер! А тут — перемерут все!

— У нас нет выхода,— хмурился с бочки Ларька.— Учителя тоже понимают, что здесь оставаться нельзя. Скажите, Николай Иванович, можно здесь оставаться?

Николай Иванович промолчал.

— Видите? Расходиться по деревням? Но сейчас нас почти восемьсот человек. Мы — сила. А разбредемся по два-три человека, тогда что? «И никто не узнает, где могила моя...» — Он быстро, сердито усмехнулся.— Помните, как мы пели: «Врагу не сдастся наш гордый «Варяг», пощады никто не желает»? Давайте не сдаваться! Давайте бороться! У нас должен быть один лозунг — даешь домой, и никаких гвоздей! И тогда мы дойдем!

Но все же голоса разделились. Много нашлось ребят и девочек, которые испуганно цеплялись за приют...

Митинг бурлил еще часа два, пока все окончательно не промерзли и не вернулись в комнаты, хоть и нетопленные...



Поели какой-то горячей бурды и снова начали спорить.

Ларька с Аркашкой, Катя, Гусинский и Боб Канатьев рассказывали друг другу, как прожили этот месяц. Похвалиться было нечем...

Неподалеку прохаживались Володя и Тося, делая вид, что они никакого внимания на компанию не обращают, так как полностью заняты своим разговором...

Аркашка требовал немедленно на все плюнуть и сейчас же, с ходу, не откладывая ни на минуту, встать и идти домой, в Питер.

— Да! Просто так встать и идти! — шумел он. — Все надо делать просто!

Сначала по неотложным делам исчезли Гусинский и Боб Канатьев... Аркашка долго вертелся, очень подозрительно косился то на Катю, которая, с блаженным видом вытянув ноги, отдыхала после своего путешествия, то на посмеивающегося, жестикулирующего, чем-то смущенного, но все-таки довольного Ларьку... Два раза Аркашка мужественно предлагал Ларьке пойти перекурить «это дело», но Ларька обидно отказывался... Наконец Аркашке пришло в голову, что он тут лишний. Аркашка немедленно встал и ушел. Решительно и бесповоротно, как все, что он делал. С полпути он вернулся, молча и крепко пожал руку Кате, потом Ларьке и удалился с таким видом, будто двигался напрямик на эшафот... Еще раньше ушли Володя и Тося.

Словно продолжая разговор, Катя сказала:

— Я мечтала убежать из дома. А теперь — мечтаю домой! Смешно, правда?

— Вы хотели убежать? — не поверил Ларька.

— Мама у меня удивительная, — жалобно сказала Катя. — Папа тоже очень хороший. Но, знаете, с горя он иногда выпивал...

— С какого это горя? — слегка осклабился Ларька.

— Вы не правы, — строго глядя на его насмешливую физиономию, сказала Катя. — Горе есть у всех. С папой это началось, когда мы остались совсем без ничего. Понимаете, они с мамой испугались революции. Да, испугались, ну и что? До революции мы жили в казенной

квартире, отец служил на железной дороге. Они все бросили, убежали в Тихвин — есть такой городок — к маминой тетке. Там было очень плохо. Пришлось возвращаться. Нашу квартиру уже заняли, все вещи пропали. И мы оказались вдруг совсем нищие... Почему-то они никуда не могли устроиться на работу. Знаете, раньше у нас всегда была прислуга...— Катя несколько смущенно, словно извиняясь, взглянула на Ларьку, который явно не хотел верить в горе и переживания таких, которые занимали целые квартиры, держали прислугу, жили бабами.— Готовить, стирать, убирать — ничего этого мама не знала,— тем же виноватым тоном продолжала Катя.— Прежде еда, одежда появлялись сами собой. Никому просто в голову не приходило, что может не быть еды. Или чулок...— она пальцем провела по своему штопаному и перештопанному чулку.— И когда всего этого не стало, мама, по-моему, просто ждала, когда опять все появится. Ну, она привыкла к духовной жизни, понимаете, книгам, музыке, всяким удивительным мыслям, и была уверена, что только это и есть жизнь, а варить кашу или мыть полы...

— А моя мать только и делала, что стирала и мыла полы,— сказал Ларька.— Всю жизнь. Может, и вас обстирывала...

— Извините...

Он дернул плечом:

— Ничего, продолжайте.

— Вам же неприятно. Извините.

— Почему это мне неприятно? Вы же не воображаете, как Гольцов, не корчите из себя...

— Так нечего — понимаете? — нечего корчить! — Она быстро, нервно улыбнулась.— Они у меня смешные, родители. То есть это мне теперь так кажется. Как будто я от них уехала очень давно и постарела... Знаете, они спустили все, до белья. У них остались только обручальные кольца и мамина золотая медаль об успешном окончании гимназии. С кольцом и медалью она поклялась не расставаться. Мы два дня не ели, маленькие — братишки мои, близнецы — плакали... Отец решил продать свое кольцо. Они пошли на рынок, чтобы принести пшена, молока, может, немного масла. Отец рассказывал, что мать остановилась у первого же лотка. У нее была странная, бла-

женная улыбка. Она смотрела туда, где были навалены леденцы на палочках, и шептала: «Леденцы...» И он почти на все деньги купил ей леденцов.

— Да что они у вас, ненормальные? Простите, конечно...

— Вы ничего не знаете! — нахмурилась Катя. — Пятнадцать лет назад, когда они только познакомились, папа угостил маму такими же леденцами. Оба вспомнили про это. И не могли удержаться...

— Все равно — чудаки. Дома дети с голодухи пищат, а они леденцы покупают...

— Фу! — надулась Катя. — Вы так-таки и не поняли! Это ужасно...

И она повернулась к Ларьке спиной. Потом встала и ушла. Ларька пожал плечами: «Обиделась... На что, сама не знает. Вот и пойми эту интеллигенцию, да еще девчонок». Ему было все же досадно, как если б он остался виноват...

И все-таки между ними началась странная дружба. Катя и Ларьку опекала, как своих маленьких, и он, посмеиваясь, разрешал ей это. Она пришивала пуговицы и внушала ему, что сострадание и доброта нужнее людям, чем революция... Иногда он не выдерживал и сердился:

— Нет уж! Дудки! Хватит! Теперь мы хозяева, разберемся... Кого надо — и к стенке.

— Кого вы этим убедите?

— А что, разве вашего Фому Кузьмича можно убедить?

— Насилие ничего не доказывает...

— Да? А чего же цари, буржуи, генералы да всякие Фомы Кузьмичи насильничали и насильничают?

— Все равно победят только доброта и любовь.

Он сердито смотрел на нее; постепенно гнев гас, и Ларька примирительно бормотал:

— Я не против. Только когда это будет?

У Кати была карта Южного Урала. Она с трудом добыла ее в Петрограде, когда стало известно об их поездке на лето. Между прочим, на карте был отмечен Ильменский минералогический заповедник, куда предполагались экскурсии.

— Видите, это хребет Косой горы, — печально говори-

ла Катя.— Озера: Аргаяш, Сырык-Куль, Ишкуль, Малый Кисегач...

— Звучит,— одобрил Аркашка.

— Все это на восток,— пренебрежительно отмахнулся Ларька.— А нам — на запад.

И они, все более увлекаясь, принялись разрабатывать пеший маршрут домой — не до Питера и даже не до Москвы, а хотя бы до Волги, где бились красные полки.

— На юг — нельзя,— хмыкал Ларька, рассматривая карту.— Там казаки атамана Дутова, из всех белых зверей — самые звери... На запад — прямой путь. Но тут жестокие бои, не пройдем. Обходом на север — очень далеко. Получается, лучше всего идти на северо-запад, по Белой. Повезет, так спустимся на плотах до Камы. Может, какой-нибудь пароходик подберет, а нет — опять к плотовщикам, и до Волги. Оттуда домой — рукой подать!

— Выходит, ждать, пока вскрыются реки! — сдвигал брови Аркашка.

— А ты думал?

Разговорами о том, сбудется поход или не сбудется, они отвлекались от всех огорчений. До сих пор у большинства, и у Ларьки и у Николая Ивановича, не было никакой одежды, кроме летней. Голодали по-старому, но одежда стала главной бедой, без нее невозможно было выходить, а значит — добывать хоть какую-то еду. У компании большую популярность сразу приобрел Катин кожанок. Ведь уже начался ноябрь!

Даже у самых храбрых и стойких, даже у Ларьки екало сердце, когда представлялось, до чего же долго будет тянуться страшная зима... Кто плакал, кто ныл, кто ругался, а кто и умирал. Большая часть учителей разбежалась. Умирать они не хотели. Устроились в тыловых учреждениях белых, и иногда, если просыпалась на короткое время совесть, кое-чем даже помогали буквально погибающим ребятам.

Ларькин митинг с призывом «Даешь домой!» подбодрил на короткое время. Утром, проснувшись на своих тощих тюфячках, под легкими одеялами, на которые ночью каждый наваливал для тепла всю свою одежду, они с раздражением, уныло вспоминали митинг, который теперь представлялся сплошным обманом... И все-таки надеялись: а вдруг Ларька что-нибудь придумает?..

Меньших ребят все чаще приходилось чуть не силой поднимать с тюфячков. Они спрашивали:

— А зачем вставать?

— Что же ты, так и будешь лежать?

— Так и буду. Все равно есть нечего, делать нечего...

Вставали только на уроки. Этот закон еще держался. Над тем, кто пробовал бросить учить уроки, зло и жестоко издевались, даже били. Считалось, что такой — слабак, ничтожество. Тем более что в каждой группе находились ребята, на которых остальные равнялись.

— Была бы вода,— говорил в младшей группе Миша Дудин, вскакивая с тюфячка и поеживаясь так весело, будто холод доставлял ему редкостное наслаждение.

— На что она,— вяло отвечали ему, выбираясь из-под наваленных одежд.

— Без пищи человек может прожить знаешь сколько? Ого! Сколько хочешь! А без воды и двух дней не проживешь. Вот дождь идет — и хорошо, воды больше будет. И снег пусть — все равно вода, нужная...

— Аш два о,— говорили с некоторым уважением.

И вспоминали, что сегодня как раз химия. Начинали шелестеть учебниками...

И это утро началось так же. Но потом по приюту пошел тревожный говор: «Прискакали казаки! Забирают Ларьку и Николая Ивановича...» Все кинулись к окнам.

По двору, на сытых конях, разъезжали, как завоеватели, меднорожие казаки. Посмеивались, замахивались нагайками. Двое вели Николая Ивановича, подталкивая впереди Ларьку. В стороне вернувшийся с казаками Валерий Митрофанович взирал на все это с жадным любопытством.

В потрепанном, измызганном сюртучке, в черной косоворотке, застегнутой на все пуговицы, в разбитых ботинках, Николай Иванович выглядел как бродяга.

— Кто таков? — гаркнул на него казачий офицер.

— Учитель Петроградской седьмой гимназии.

— Так это ты, большевицкая морда, устраиваешь тут красные митинги, агитируешь за Питер и Москву, где жида засели? Тащи его, ребята!

Тут же с крыльца кубарем скатились Аркашка, Гусинский, Канатьев и еще некоторые ребята — между ними и Миша Дудин, конечно.

— Эй, эшелонские! — призывал Аркашка. — Наших бьют!

Приют загудел, как улей... Ребята посыпались отовсюду, но казаков было все-таки человек двадцать, все на конях, вооруженные... Они хлестали тех, кто оказался ближе, нагайками, а то и шашками — пока плашмя...

Тут в казачьего офицера угодил первый камень. Он обернулся и увидел в двух шагах Катю. Она подхватила новый камень и прицеливалась дрожащей рукой, громко говоря:

— Так будет с каждым, кто нападает на детей!

— Перепороть! — скомандовал офицер. — Всех!

И казаки, сгрудив коней, нахлестывая нагайками, стали загонять орущих ребят в приют.

Тогда на крыльце появилась величественная женщина. Она медленно шла, гордо откинув седую голову, в великолепном, шитом блестками, платье. Остановясь над первой ступенькой, женщина подняла к строгим глазам черепаховый лорнет и, увидев казачьего офицера, жестом приказала ему подъехать. Даже ребята не сразу узнали в этой удивительной женщине Олимпиаду Самсоновну...

— Что здесь происходит, есаул? — резко спросила она. — И почему вы не явились ко мне, раз удостоили нас своим визитом?

Он невольно спрыгнул с коня, невольно отдал честь. Ничего подобного он явно не предполагал встретить.

— Отставить, — бросил есаул сквозь зубы своим казакам.

Порка отменялась. Нагайки исчезли. Кони отступили. Лупоглазые, меднолицые казаки с испугом дивились на Олимпиаду Самсоновну.

Однако у есаула было предписание на арест Николая Ивановича и Ларьки. Ссылаясь на то, что его отряд подвергся нападению, он требовал также ареста Аркашки и Кати...

## 15

Катю Олимпиада Самсоновна отстояла. Но Николая Ивановича, Ларьку и Аркашку есаул все-таки забрал.

Когда казаки уехали, Олимпиада Самсоновна вызвала к себе Валерия Митрофановича. Через несколько минут

он выскочил от нее, потненький, красный, вздрагивая от страха и негодования, более обычного похожий на крысу.

Между тем казачий отряд на рысях шел в город. Самым захудалым казакам досталось взять на коней Аркашку, Ларьку и Николая Ивановича. Казаки вели себя так, будто унижены и оскорблены этой участью, будто в ребятах и особенно в Николае Ивановиче было что-то скверное, нечистое.

Кони скользили по расквашенной дождями и мокрым снегом земле, добираться до города пришлось больше часа. Казаки, с которыми ехали арестованные, еще черты-хались, но и в ругани начинало слышаться естественное любопытство... Тот, кто вез Николая Ивановича, подивился:

— Где ж ты, жид, на коне научился сидеть?

— Я русский, православный...

— Врешь!

— Мой отец — офицер, погиб при переправе через Дунай в последнюю войну с турками...

— А ты с большевиками?

— Я со своими учениками, с детьми! — нахмурился Николай Иванович.

Есаул впереди заругался:

— Эй, с арестованным не болтать!

И больше казак с Николаем Ивановичем не разговаривал. Правда, и не ругался, ехал тихо, молча...

Ларька тоже помалкивал, пока его казак с ним не заговорил. Но у них разговор пошел куда неожиданней.

— Питерский? — сплевывая, спросил казак.

— Из Санкт-Петербурга, — помедлив, с важностью ответил Ларька.

— Выходит, из комиссарских?

Выдержав еще большую паузу, Ларька брезгливо процедил:

— Я сын последнего графа Аракчеева, Илларион.

— Ну да? — усмехнулся казак, оглядываясь на Ларьку. Но все же на всякий случай несколько подтянулся, плевать перестал...

Ларька молча оскалил зубы. И такая в нем была уверенность, такое сдержанное достоинство, равнодушие ко всему, что с ним сейчас происходит, что, помолчав

и еще раза два оглянувшись, казак сипло осведомился:

— Может, впереди желаете сидеть?

— Мне тут удобнее,— холодно отказался Ларька.

Пока Ларька плел какие-то хитрые ходы, еще и ему до конца непонятные, Аркашка ломил напрямую. Не дожидаясь, когда казак с ним заговорит, Аркашка с ходу занялся агитацией. Как будто отвечая на ленивую ругань казака, он вдруг зашумел:

Сарынь на кичку!

Ядреный лапоть

Пошел шататься

По берегам...

Казак подумал и сердито спросил:

— Чего это?

— Стихи,— с готовностью ответил Аркашка.— Про Степана Разина. Есть и про Емельяна Пугачева. Слыхали о таких казаках? — Ответа не последовало, но Аркашка не смутился.— Вот были казаки! Детей, между прочим, не трогали. А бились за волю с самыми свирепыми боярами и генералами! Про вашего есаула и про вас песню никто не сложит!

Казак молча ожег его нагайкой. Аркашка невольно вскрикнул.

— А говорил — никто не споеет.— И казак еще огрел его.— Не так запоешь...

Но Аркашка молчал, и казак, свирепея, стегал его по чем попадя.

— Горелов, отставить! — крикнул есаул казаку.

— Слова говорит, господин есаул,— проворчал казак.

— Эдак ты его не довезешь,— по-хозяйски сетовал есаул.— Забьешь раньше времени.

— «Врагу не сдается наш гордый «Варяг»! — заорал Аркашка, отирая кровь.— Пощады никто не желает!»

Но, взглянув на грустное лицо Николая Ивановича и на сердитого Ларьку, Аркашка обиженно замолчал.

Когда они приблизились к городу, казаки стали злее, даже тот, кто вез непризнанного потомка графов Аракчеевых. На въезде в город есаул велел связать арестованных, и казак, который вез Аркашку, воспользовался этим и, злорадно рассматривая лицо мальчика, стянул ему веревки на руках потуже.



— Герой,— усмехнулся Аркашка.

Им велели сойти с лошадей, поставили посередине, так что и впереди и сзади били копытами кони, и погнали в город.

На окраинных улицах людей почти не было, да и те, кто попадался, отводили глаза.

Но чем ближе к центру, тем больше встречалось приличной публики. По улицам прогуливались офицеры со своими разодетыми дамами, улыбались, хвастались: ведь Красная Армия еще отступала... Выглядывали лавочники; какие-то сытые и тепло одетые господа пренебрежительно косились на закоченевших, оборванных ребят и Николая Ивановича, явных жуликов, пойманных где-то с поличным доблестными казаками.

Ларька шепотом сумел поделиться, кем он назвался.

— Почему Аракчеевым? — едва слышно удивился Николай Иванович.

— А черт его знает. Теперь я им подкину, что Олимпиада Самсоновна — бывшая фрейлина вдовствующей императрицы и будет жаловаться самому адмиралу Колчаку, который ее лично знает...

— Глупости,— одними губами сказал Николай Иванович.— Зачем? Кто поверит, что ты — граф Аракчеев?

— Графенок. Проверить все равно обязаны...

Тут их ожгло с двух сторон. Есаул и его помощник свирепо грозили плетками, дескать — поговори еще.

У Николая Ивановича и Ларьки лица стали каменные. Но Аркашка сверкнул черным глазом, вскинул над головой связанные руки и, раздувая горло, как голубь, запел что было мочи:

Это есть наш последний  
И решительный бой,  
С Интернационалом  
Воспрянет род людской!

Улица словно шарахнулась от него. Застыли, как стойке «смирно», лощеные офицеры. Их дамы, взвизгнув, готовы были бежать. Вылупили бессмысленные глаза лавочники. Даже казаки в первое мгновение остолбенели. Но тут же занялись тем делом, на которое только и были способны. Двое мордатых казаков, спрыгнув с коней, начали бить Аркашку, и не в шутку, даже не отчески, а

в полную лошадиную силу... Ларька бросился на помощь; за ним, спрятав пенсне, шагнул и Николай Иванович, увещевая казаков. Их тоже стали избивать. Руки у всех троих были связаны, они только беспомощно поднимали их, пробуя защититься. Аркашка уже лежал на земле без движения. Николай Иванович, страшась, как бы на Аркашку не наступили танцующие вокруг лошади, наклонился над ним и тут же получил такой удар по непокрытой голове, что кулем свалился рядом со своим учеником. Только Ларька еще увертывался кое-как, хоть и ему доставалось. Из рассеченного до кости лба кровь залила глаза, а он привычно скалился, дразнил казаков, хрипел:

Владеть землей имеем право...

Но паразиты — никогда...

Теперь и улица расхрабрилась, лезла сражаться. Чьи-то руки с холеными ногтями, в перстнях и кольцах, тянулись к Ларьке, бросали что попало в лежащих Аркашку и Николая Ивановича... Им оставалось жить всего несколько минут... Но тут случилось чудо.

Над лежащими Аркашкой и Николаем Ивановичем, негодуя, фыркая непонятными словами, стояла незнакомая скуластая женщина. Но была она не лежащих, а казаков. Зонтиком! Как Катя... Тут же к ней шагнул человек, тоже не старый и чудной, в коротком пальто с воротником шалью, а откуда-то рядом послышался начальственный голос:

— Есаул! Прекратите это безобразие...

Бесстрашно орудуя зонтиком, лупцуя и казаков и лошадей, таинственная женщина возмущенно повторяла:

— Это же дети! Как не стыдно! Это же дети!

И Ларька, отирая кровь и ничего еще не соображая, все-таки решил на всякий случай подыграть... Скорчил жалобную рожу и зашепелявил трогательно:

— Я хочу к маме...

Казаки, повинувшись начальственному голосу и жестам какого-то важного офицера, отступили, не зная, что теперь делать с пленниками. Но улица еще не утихла, ей мало было крови, она не могла смириться, что не дают добить большевиков...

Странная женщина, не обращая внимания на толпу, склонилась над Аркашкой и тотчас выпрямилась:



— Надо автомобиль,— скомандовала она своим спутникам.

Важный офицер, закуривая, объяснял и есаулу и вспотевшей от усилий толпе:

— Перед вами союзники, господа. Понимаю ваш справедливый гнев, но всему свое место...

— Это вмешательство в наши внутренние дела, черт возьми! — завопил какой-то господинчик, удивительно схожий с Валерием Митрофановичем.— Пусть распоряжаются у себя в Европе!

— Америка, господа! — многозначительно сказал важный военный.

И все притихли. Уставились на рыжеватого мужчину в пальто с воротником шалью, на худошавую, решительную женщину... Американцы? Да, на Америку у Колчака делалась крупная ставка...

Только двойник Валерия Митрофановича не унимался. Он пробился к женщине, которая, присев, поддерживала голову Аркашки, а Ларьку цепко ухватила за руку. Спросил:

— Мадам, вы что, не слышали, как они пели «Интернационал»?

Она молчала и смотрела на него так холодно, что он смешался, бормоча:

— «Интернационал», мадам...

Женщина повернулась к нему спиной и улынулась Аркашке:

— Ничего не бойся.

— Кто их боится,— презрительно сверкнул заплывшим глазом Аркашка. «Может, это свои пришли?» — стукнуло его. Он еще не совсем пришел в себя.

— Американцы,— бормотал оскорбленный человек, скрываясь в толпе.— Не знают, что такое «Интернационал»! Ну, погодите, узнаете...

## 16

Никто не решился бы предсказать, что произойдет в приюте после ареста Ларьки, Аркашки и Николая Ивановича...

С начала путешествия ребят из Питера одним нрави-

лась Олимпиада Самсоновна, другим Николай Иванович; кому-то — Анечка и даже та учительница русской литературы, словесница, которая походила теперь на унылую, старую козу... Были тихони, которые держались за Валерия Митрофановича, с удовольствием нашептывали ему, кто что сказал и что сделал.

Так же неопределенен был долгое время и авторитет самых выдающихся из старших ребят. Одним нравился Ларька, другим Аркашка; немало мальчишек, раскрыв рот, любовались Володей Гольцовым — его манерами, французским выговором, красивой одеждой, небрежной уверенностью в собственном превосходстве, иронией... Иные пристали к гоп-компанин Ростика, которая хвалилась умением жить и держалась обособленно, погруженная в никому не ведомые таинственные делишки... Большинство девочек были прямо-таки влюблены в Катю Обухову, но многим нравилась красивая и легкомысленная Тося, которая так ловко делала вид, что ей все на свете трын-трава.

Все эти маленькие привязанности, уколы ревности или тщеславия, восторги от близости божества занимали почти всех в первые недели путешествия. Неожиданный грохот чужих кулаков и сапог по теплушкам в то мирное, розовое утро, когда их поезд подошел наконец к Волге, белые и чешские офицеры, выпрыгнувшие, словно черти из преисподней, выселение из эшелона грубо, нагло, безжалостно разрушили все, что еще вчера казалось таким важным... Конечно, поклонники Олимпиады Самсоновны, поначалу были уверены, что она мигом наведет порядок. Те, кому наивысшими авторитетами представлялись Володя Гольцов или Катя Обухова, жались к ним... Но ни Катя, ни Володя, ни даже Олимпиада Самсоновна почему-то ничего не могли поделать. Их обижали. Жить становилось все хуже, все невыносимей. Одни ребята еще внимательнее прислушивались к Валерию Митрофановичу, к шуточкам Ростика, полагая, что все дозволено, если хочешь выжить, не умереть с голоду, не замерзнуть. Но очень многие прислушивались и присматривались к Ларьке...

Эти ребята были далеки от Смольного, от «Авроры»; большинство если и слышало что-то о Ленине, то все равно не понимало и не очень хотело понимать, чего надо этому Ленину и большевикам. О революции они знали

то, что говорилось дома: одни одобряли, но с оговорками; другие поеживались. Таких, как Ларька, как Аркашка, кто рвался в бой за мировую революцию, было явное меньшинство.

Но выходило так, что их дома, их мамы и папы — все, что было дорогого, без чего просто нельзя было жить, осталось там, в красном Питере, у большевиков, с революцией. И поэтому все большее число ребят с надеждой поглядывали на Ларьку, который что-то понимал и в революции и в большевиках, сам брал Зимний...

Раньше его манера вечно скалить зубы, насмешничать, держаться не только на расстоянии, но и на высоте вызывала обиды, негодование и уж никак не привлекала. Теперь ловили его сердитую улыбку. Даже в насмешках Ларьки таилась уверенность, которой всем так не доставало.

К тому же на Ларьку словно не действовал ни голод, ни холод. Он не воровал, как гоп-компания Ростика. Не кланчил на кухне, как любимцы Валерия Митрофановича. На огороды, правда, и он делал набеги, но, в общем, голодал и холодал, как все, а может, и хуже. Только когда другие ныли, он посмеивался.

Не кто-нибудь, а Ларька привел первые подводы с картошкой и рыбой, присланные в приют ушедшим в подполье Советом. Ларька добывал дрова и топил печи, когда даже у Олимпиады Самсоновны опускались руки. И он же, Ларька, громко, уверенно, будто знал, как это сделать, потребовал: «Даешь домой!» В этот день к нему рванулись все сердца.

И вот Ларьку арестовали и увезли, да еще вместе с Аркашкой и Николаем Ивановичем...

Казаки с арестованными еще не успели доехать и до леса, как в приюте начался бунт, взрыв отчаяния... Очень долго терпели, но оказалось, что терпеть дальше нет никакой возможности.

Несколько десятков мальчиков и девочек, самых преданных Ларьке и Аркашке, вылетели из приюта и, не разбирая дороги, мало что соображая, бежали за казаками. Они угрожающе размахивали руками, что-то кричали, сгребали мокрый снег и бросали его вслед казакам, которые не видели и не слышали этих преследователей.

Многие из оставшихся в приюте плакали навзрыд,

и слезы переходили в истерический вой, нежелание никого слушать. Некоторые девочки пытались даже драться с Анечкой, которая их успокаивала.

Хуже всего было в той группе третьих и четвертых классов, где верховодил Миша Дудин. Кто-то крикнул:

— Долой проклятый приют! Долой!

Кто-то первый толкнул и опрокинул стул. Другой поддел ногой ближний тюфячок...

— А-а! Бей! Бей все! — закричали с разных сторон. — Чтоб ничего не осталось! Пускай домой везут...

И начался погром того жалкого имущества, которое еще имелось в приюте.

Олимпиада Самсоновна послала Гусинского и Канатьева вернуть тех, кто побегал за казаками.

Пять учительниц, оставшихся с ней, не бросивших ребят, тщетно пытались уговорить разбушевавшихся...

Олимпиада Самсоновна вошла в класс Миши Дудина, когда там уже начали бить окна. При ее появлении все опустили руки. Стало стыдно... Но Миша, который до этого делал все, чтобы унять ребят, теперь храбро и требовательно смотрел на Олимпиаду Самсоновну:

— Может, их уже поубивали? Аркашку с Ларькой?..

Она решила ехать в город. Скрепя сердце пригласила к себе Валерия Митрофановича, надеясь на его связи. Он сразу заважничал, заговорил медленно, раздельно ставя слова:

— Понадобился, значит, Валерий Митрофанович... Как это вы не побрезговали?

— Ну, что вы...

— Доигрались в красную демократию, Олимпиада Самсоновна... В стране гражданская война, решаются судьбы России, тут не до игрушек, надо всем жертвовать для блага России.

— Да ведь дети, Валерий Митрофанович... И наш учитель, Николай Иванович, честнейший человек, — просила она, краснея от унижения.

— Ну что ж, поедem. Раз вы просите... Ради вас. Только вот вопрос — живы ли они...

Ехать им не пришлось.

Приют испуганно замер, когда к концу дня, отфыркиваясь от грязных брызг мокрого снега, жарко дыша могучей грудью, во двор приюта ворвался и засигналил

большой черный автомобиль, или, как тогда говорили, мотор... Какое еще несчастье сейчас обрушится?..

— Вот это уже за Олимпиадой Самсоновной,— дрожа, шептали девочки.— Ее заберут...

Но из машины один за другим вылетели Аркашка и Ларька. С другой стороны выскочила незнакомая женщина и ухватила Аркашку за руку, не пускала почему-то... Вышел и Николай Иванович! Уже весь приют бросился к ним навстречу...

Как Аркашка ни отбивался, женщина вела его за собой, требуя по дороге показать, где постель Аркашки и где врач. Понять ее можно было, хотя говорила она как-то чудно. Аркашка вертелся и так и сяк. Не мог он показать ей, этой американке, свою постель, потому что там была и не постель вовсе, а черт знает что...

Пока разыгрывалась эта маленькая трагедия, Ларька, отмахиваясь во дворе от бурных проявлений восторга, отойдя в сторону, объяснил шепотом Гусинскому и Канатьеву:

— Видали мотор? Американские буржуи... Из ихнего Красного Креста. Он, конечно, никакой не красный. Помогать хотят. Ясно? — И так как даже Гусинскому и Канатьеву, несколько обалдевшим от такого навала новостей, ничего не было ясно, Ларька сухо объяснил: — Думаете, за красивые глазки? Купить нас хотят по дешевке, за свои консервы. Видите, что делается?

И он, презрительно подняв верхнюю губу, кивнул на высыпавших из приюта ребят. Наскоро выразив радость по поводу возвращения Ларьки, Аркашки и Николая Ивановича, все льнули теперь к удивительной машине и к приезжим, о которых моментально стало известно, что они американцы и приехали выручать... «ура!».

Катя сочувственно потрянула Ларькину руку. Ей тоже было неприятно, что Володя и другие ребята унижаются перед американцами, все им рассказывают о нищете приюта, словно протягивают руку за подаванием...

— Уж очень мерзнут,— попробовала она все-таки оправдать просителей.— Голодают...

— Ну, Гольцов не маленький,— не принял Ларька это объяснение и повел глазами на Володю, который пустил в ход все обаяние, и французский, конечно, чтобы запомниться американцам.— Попрошайка!



По-французски заокеанские гости не понимали ни бельмеса, но были поражены состоянием приюта, положением ребят. Они, правда, не охали, не стонали, не обнимали маленьких, а все записывали что-то в записные книжки. «Вечное перо,— бормотал восхищенный Ростик.— Золотое».

Особенно поражены были американцы тем, что во всех классах продолжались обычные уроки. Строго по расписанию. Без всяких поблажек. Будто в обычной школе и в нормальной обстановке.

— Они же падают от истощения! — пробовала возмутиться миссис Крук, чтобы скрыть слезы.

— Ну, пока не падают,— слабо возражал Николай Иванович, очень довольный, что американцы оценили главное.

Американец спросил Аркашку:

— Кто вас заставляет учиться?

Вокруг заулыбались. Аркашка как раз учился через пень-колоду. Но тут он гордо выпрямился:

— Меня никто не может заставить! Я свободный человек!

— И потому учусь,— вставил, усмехаясь, Ларька.

— И потому — учусь! — еще выше вскинул голову Аркашка.

Тогда американцы стали пожимать руки всем, кто только тут был.

Американца звали мистер Джеральд Крук, его жену — миссис Энн Крук. Ему было, наверно, лет тридцать, миссис выглядела несколько старше. Он был большой, настоящий великан: большая голова, толстые руки и ноги, громкий голос и раскатистый смех. За большими роговыми очками шурились добрые и несколько растерянные глаза.

Энн Крук ребят напугала. Если Джеральд Крук казался добрым великаном, то она — злой волшебницей. Она была длинной и тощей, и светлые волосы ее торчали как пакля. У нее был острый длинный нос, выпуклые, водянистые глаза и бескровные губы...

— Гляди, ведьма,— шепнул Миша Дудин соседу. На что рассудительный сосед возразил, что ведьмы бывают только черные, как цыганки, а это — белая.

— Еще хуже! — упорствовал Миша. — Белые злее...

Американцы уехали часа через три. По приюту рас-

пространился слух, что они обещали помочь. Их провожала густая толпа ребят. На Джеральда Крука и Энн Крук смотрели с обожанием. Казалось, от них идет тепло и густой запах мяса. Одеваясь, мистер Крук на мгновение замешкался, но миссис Крук что-то сказала ему властным, не терпящим возражений голосом, и Джеральд тотчас громко захохотал и пошел за женой к мотору. Он сел за руль, Энн Крук рядом. Автомобиль тотчас послушно тронулся.

Николай Иванович, который понимал по-английски, подозвал Ларьку и сердито сообщил ему, что кто-то умудрился свистнуть у Джеральда Крука перчатки. Джеральд сказал жене, а она ответила, что перчатки забыты, конечно, дома, и нечего поднимать историю.

В это время Ростик в своей компании хвастал великолепными кожаными перчатками на меху.

— Помогут американцы, нет ли, неизвестно, — рассуждал он, — а перчаточки ихние — вот они! Фунтов пять сала потянут

## 17

Ростик похвалялся зря. Не учел, какое настроение охватило всех эшелонских ребят. Признание, что это он стащил у американца перчатки, не вызвало одобрения даже у гоп-компании. Ларьке не стоило большого труда объясниться с Ростиком.

— Украл?

— Кто? Я? — страшно удивился Гмыря. — Ты что! Я это... как его... экспроприировал! У буржуя!

— Отдашь, когда он приедет, — сообщил Ларька, убирая перчатки. — Скажешь, нашел. — Ростик потянулся было за перчатками, но Ларька отвел его руку: — Пока у меня будут...

Гмыря зашумел, что это нечестно и вообще какое Ларькино собачье дело... Он не заметил, что к ним со всех сторон велят сердитые ребята, спрашивают:

— Правда, что у американца сперли перчатки? Опять этот Гмыря! Американцы еще обидятся! Не приедут! Бросят нас! Где Гмыря? Да вот он! Дай я ему врежу! Бей его!

Ларьке еще пришлось спасти Ростика от расправы...

Все надежды теперь связывались с американцами. Ходили невероятные рассказы. Они выдавались за самые последние и достоверные сведения. Например, утверждали, что американцы привезли с собой целые вагоны валенок...

— Да не валенок, а кожаных сапог на меху!

— Мех бизона! Самый теплый в мире!

— Мокасины пришлют! На каждого!

— И еще у них много пальтишек на вате и с воротниками...

— Скажешь тоже!

— Они везут меховые куртки с Аляски! Которые для золотоискателей!

— Расшитые настоящим индейским узором! Бисером!

Это рассказывали, не отходя от единственного уцелевшего в приюте зеркала. Обычно на зеркало и не взглядывали, разве что девчонки. Но сейчас мальчики прохаживались перед ним, как петухи, воображая себя в меховых шапках, мокасилах и расшитых бисером куртках... Хотя еще вчера они мечтали о солдатской шинели, об одеяле, пусть старом и рваном, о каких-нибудь башмаках, хоть латаных-перелатаных.

Те, кто особенно страдал от голода, таинственно рассказывали друг другу, что у американцев на всех станциях стоят эшелоны с мукой, маслом и мясными консервами.

— Завтра поедим супчика из консервов!

— Чего там супчику! Навернем прямо из банки!

— И блинов! С маслом!

— Нет, завтра не успеют...

— Что ты? Американцы? Они все делают в момент! Я их знаю! Так и говорят: время — деньги...

Настроенные более возвышенно глотали втихомолку слюни и признавались друзьям, что всегда любили Америку — не за консервы, конечно...

— Знаешь, «Следопыт»...

— А «Последний из могикан»?

— «Песнь о Гайавате»!

— Ого! А «Всадник без головы»!

— И Том Сойер! И Гек Финн! Там даже вдова ничего, в общем, тетка: кормила Гека досыта...

— Мне больше всего нравится Джек Лондон! Про золотоискателей...

Девочки припомнили еще «Хижину дяди Тома», хотя там почему-то попадались очень скверные американцы. Писала, наверное, какая-то злюка, все наврала.

Аркашка чувствовал, что он совсем выздоровел. Наверно, от всеобщего возбуждения. И возмущался, что его держат в лазарете, в кровати. У Ларьки уже подсыхал разбитый лоб.

— На мне все заживает, как на собаке,— хвалился он перед Катей.

В обещания американцев Ларьке почему-то не верилось. Хотя они и спасли его от смерти. Но слишком уж неосуществимыми казались ребячьи мечты об американских консервах и мокалинах.

А Володя Гольцов, который несколько скис и увял после неудачной поездки в деревню, теперь расцвел. Он на всех, даже на Ларьку, поглядывал свысока и нехотя одаривал ленивой улыбкой. Можно было подумать, что Гольцов знает больше, чем другие, что он у американцев доверенное лицо. К нему снова обращались охотно, с уважением, и он принимал это как должное. Володя жалел лишь о том, что хуже знает английский, чем никому не нужный французский язык... Он тщательно готовился к новой встрече с американцами. Чтобы окончательно их покорить, потихоньку от всех припоминал историю Соединенных Штатов — от «Бостонского чаепития» и «Декларации независимых», от Вашингтона и Джефферсона до Линкольна, Гранта и Вильсона... Засыпая, он повторял хронологическую канву истории Штатов и уже в полусне улыбался мысли, что если сумел приспособиться к Фоме Кузьмичу, то наверняка поладит с американцами. Он еще выживет, не одному Ростiku дышать кислородом...

Уже через сутки после отъезда Круков Ларьке пришлось прикусить язык. В приют пришел темно-зеленый армейский грузовой автомобиль и привез сто чистеньких ящиков. В каждом ящике было пятьдесят банок консервов.

— Пять тысяч банок! — мгновенно подсчитал Миша Дудин. — Это же сколько на каждого?.. Гляди, по семь банок!

Он не поверил, посчитал на бумажке. Все равно выходило почти по семь банок! А в банке было больше, чем по фунту мяса. Миша снова углубился в счастливые расчеты...

На этикетке каждой банки красовалось изображение коровьей морды. Американская корова очень походила на обыкновенную, русскую. Пониже было написано по-английски: «Мясо».

— Тзе мыт! — счастливо перекликались меньшие, как воробы.— Хочу зе миит!

Машину привел новый американец, подтянутый и стройный, как молодой офицер. Почему-то он все время жевал. Неужели ест мясо, которое ему поручили целым доставить в приют?.. Он был в теплом брезентовом комбинезоне, в высоких ботинках на толстой подошве. С его открытого, длинного лица до сих пор не сошел загар. Даже спокойные, широко поставленные глаза словно выгорели, казались белесыми. Его звали — Майкл Смит. Коверкая слова, он объяснил, что по-русски это будет все равно, что Миша Иванов. И просил звать его Майклом.

— Мишей? — переспросил тезка Смита, Дудин, которому этот американец сразу понравился.

— Майкл,— улыбнулся Смит.

А улыбка у него была такая, что все невольно улыбались в ответ, чувствуя, что в груди потеплело...

— Что вы все время жуετε? — осторожно спросил Миша Дудин. Действительно, Смит умудрялся жевать, даже когда разговаривал или улыбался.

— Это такая резинка... Жевательная.

И так как его явно не понимали, он достал пакетик величиной с ириску и отдал его Мише.

Тотчас за Мишей увязались не только младшие классы, но и Ростик, умоляя откусить кусманчик, дать попробовать пожевать...

Поварихи и Олимпиада Самсоновна ахали, не зная, куда лучше спрятать консервы. В здании приюта не было холодильника. Правда, сейчас любая комната годилась под холодильник... Но Смит сказал, что вечером затопят все печи. Складывать же такие ценности в сарае Олимпиада Самсоновна не решалась.

— Почему? — спросил Смит.

— Сарай деревянный, ветхий,— смущенно объясняла Олимпиада Самсоновна.— Не надежно...

— Выставите охрану.

— Что вы! Кого же мы поставим?

— Вот их.

И он кивнул на Володю, Аркашку, Ростика и других ребят, которые стояли тут же.

— Только надо им дать оружие,— добавил Смит.

Ребята невольно приподняли плечи и выпятили грудь. Они смотрели на Смита с полным одобрением. Наконец-то появился человек, который что-то понимает... хоть и американец.

— Ну что вы! — снова заахала Олимпиада Самсоновна, счастливо улыбаясь.— Какое у нас оружие!

— Один-два пистолета, наверно, найдутся? — широко улыбнулся Смит.

Олимпиада Самсоновна даже руками замахала, а ребята несколько понурились. Они-то хорошо знали, что ни одного, хоть самого паршивого пистолетика нет...

— Охотничьи ружья? — продолжал откровенно удивленный Смит.

— Ничего у нас нет!

— Тогда хоть что-нибудь из холодного оружия, финские ножи...

— У нас давно нет даже перочинных,— призналась Олимпиада Самсоновна.— Все продали или поменяли на картошку...

— У ребят нет ножей? — недоверчиво спросил Смит, глядя на Аркашку.

Тот уныло помотал головой; ему стало совестно...

— Это плохо,— обворожительно, как какой-нибудь знаменитый киногоерой, улыбнулся Смит, поверив ребятам и явно им сочувствуя.

— Чего хорошего,— хмуро сказал Аркашка.

— А ты умеешь стрелять? — спросил Смит. Когда он говорил о таких интересных вещах, его легко можно было понять, словно он и не коверкал слов.

— Я стрелял из боевого офицерского нагана! — гордо заявил Аркашка, забыв, естественно, добавить, что стрелял он из отцовского револьвера один-единственный раз, и о том, как ему попало.

Смит запросто вытащил из-за пазухи черный кольт и протянул Аркашке, говоря:

— Целься в трубу.

Несколько минут были затем потрачены совершенно бесполезно на то, чтобы уговорить Олимпиаду Самсоновну

разрешить стрельнуть хоть раз — при твердых гарантиях со стороны Смита, что никто не будет ранен.

— В какую трубу? — пролепетал Аркашка, принимая кольт, как хрустальную вазу, и явно не зная, что с ним делать. — В эту?

Но Смит не стал смеяться и шутить над Аркашкой. Он держался с Аркашкой, как равный. Просто как стрелок со стрелком, так сказать — с собратом по оружию. И совсем незаметно снял предохранитель, когда Аркашка приготовился стрелять, не понимая, что предохранитель надо сначала снять...

Наконец, когда едва ли не весь приют замер и затаил дыхание, Аркашка выстрелил и, к крайнему своему удивлению, услышал, как Смит хладнокровно сказал:

— Молодец. Попал. Будем с тобой сторожить сарай. Подходящий парень...

Весь остаток дня Аркашка был самым знаменитым человеком во всем приюте, если, конечно, не считать Смита. А также двух поварих, которые сначала торжественно варили настоящие мясные щи из мясных консервов, отчего неслыханное за последние месяцы благоухание возносилось от приюта к небесам, а потом священнодействовали, раздавая эту райскую пищу всем с помощью старших девочек...

Мистер Джеральд Крук и миссис Энн Крук не приехали даже к обеду, что вызвало всеобщее удивление. Может, с ними что-нибудь случилось? Уж не заболели ли?..

После обеда Олимпиада Самсоновна сообщила всем удивительные новости. Американский Красный Крест предлагал оставить здесь, в приюте, только младших. А старших — перебросить в Петропавловск, где американцы брались хорошо их устроить.

— Куда? — ахнул Аркашка. — На Камчатку?

— Ну что вы, Колчин, — усмехнулся Николай Иванович. — Есть другой Петропавловск, гораздо ближе. За Тоболом, на реке Ишим.

Загудели почти все старшие. Благодушные от сытного обеда сняло как рукой:

— Ничего себе, в Сибирь!

— Это что, в ссылку?

— Почему мы должны туда ехать?

— Когда это кончится?

— Я хочу спросить,— медленно заговорил Гусинский, неодобрительно глядя по сторонам, потому что не любил бесполезный шум.— Почему Красный Крест Соединенных Штатов Америки не может связаться с советским Красным Крестом и переправить нас домой, к родителям?

Немедленно вскочил Валерий Митрофанович:

— Потому что у большевиков нет Красного Креста!

— А может, есть? — спросил Канатьев.

— Нет и не может быть! Красный Крест основан на христианских началах любви к ближнему, а большевики — бандиты. Я не советую говорить американцам, что вам хочется к бандитам! Это... это безнравственно! Цивилизованные люди бандитов не любят. Надо молиться всевышнему, что он послал нам этих удивительных людей, американцев! Вам выпало неслыханное счастье... И вообще, сколько вам лет, Гусинский?

— Четырнадцать, летом будет пятнадцать,— глядя исподлобья, спокойно отвечал мальчик.

— Будет! Вы все знаете! До лета еще дожить надо! Вам четырнадцать лет, а вы задаете вопросы! Это просто нахальство! Мы только что ели американскую пищу. Бесплатно! Вы понимаете, что это значит? Заплатила Америка! И эта великая страна протягивает нам руку, чтобы вытащить из крови, грязи, из лап смерти! Надо пасть на колени и благодарить этих святых людей, а не задавать вопросы...

— А что, нельзя? — откуда-то от двери раздался всем знакомый голос Ларьки.

— Можно,— сказал Майкл Смит. Он хотел продолжать по-русски, но запутался, улыбнулся и стал говорить по-английски.

— В Петроград и Москву сейчас нельзя,— переводил Николай Иванович.— Идет война, очень жестокая. Вас могут перестрелять.— Смит скорчил рожу и показал — «пиф-паф», как это может быть, очень правдоподобно...— И там, в Москве и Петрограде, ужасный голод. Вам сейчас действительно повезло. Но если вы принимаете нашу помощь, мы несем за вас ответственность, за вашу жизнь и здоровье. Вы получите и тут и в Петропавловске хорошую еду, хорошие классные комнаты и спальни, хорошую одежду... Будет, наконец, то, за чем вы ехали на



Урал. Много развлечений и удовольствий — походы по диким местам, рыбная ловля, походы на лодках под парусом — там много озер...

— А мама? — не выдержав, перебил Смита Миша, думая о своем. — Может, ее уже нет, с голода померла?..

## 18

Хотя по первому впечатлению ребят Джеральд Крук выглядел добрым волшебником, а Энн Крук — ведьмой, та большая дружба, которая потом установилась между ребятами и четой Круков, началась с душевной близости между Энн Крук и Катей Обуховой...

Еще когда они жили в приюте, миссис Крук остановила выпуклые, похожие на стеклянные глаза на Кате и велела ей подойти.

— Вы Катя Обухова? — спросила она.

— Да.

— Я — Энн Крук. Сейчас разгружают зимние вещи. Оденем сначала младшие классы, девочек. Не возражаете?

— Я? Нет...

Энн Крук повернулась, словно по команде «кру-угом!» и твердо зашагала в приютскую кладовую. Катя удивленно шла за ней. В кладовую только что сгрузили груды курток с воротниками, теплого белья, чулок, ботинок. От всего этого пахло кожей, морозом, пряжей... Тут же стояли Олимпиада Самсоновна и Анечка. Казалось, они с удовольствием принимают к забытым запахам...

— Это Катя Обухова, — сказала им миссис Крук. — Она согласна. Пусть начинает?

— Пусть, — послушно кивнула Олимпиада Самсоновна.

— Мы пошли, — рубила миссис Крук, обращаясь к Кате. — Вы отвечаете за то, чтобы все маленькие девочки были довольны. Вот ключи.

Катя молча взяла ключи, а Энн Крук повернулась — «кру-угом марш!» — и увела за собой Олимпиаду Самсоновну и Анечку.

Катя растерянно смотрела им вслед, сжимая ключи...

Когда через двое суток все девочки младших классов были одеты в зимнее и им подогнали, как умели, белье,

суконные сарафаны и пальтишки, Катя хоть и побледнела от усталости, охрипла и еле двигалась, но чувствовала себя счастливой...

За эти двое суток Энн Крук ни разу не заглянула в кладовую. И когда с младшими было покончено, она не похвалила Катю и не упрекнула ни в чем, а велела опять:

— Одевайте старших девочек.

Конечно, и Тося и другие старшие помогали Кате возиться с малышами, копались во всех вещах, между делом облюбовывая себе наряды... Но потребовалось множество дипломатических ходов, выдержка, такт и весь Катин авторитет, чтобы и эта бурная процедура кончилась благополучно...

— Кому поручим одевать мальчиков? — осведомилась Энн Крук, когда Катя доложила ей, что с девочками удалось разобраться.

— Ручкину, Гольцову и Колчину, — посоветовала Катя.

— Давайте, — кивнула миссис Крук. Катя назвала фамилии тех же ребят, которых рекомендовала Олимпиада Самсоновна. — Скажите от моего имени, пусть берутся за дело. Они вас послушают?

— Конечно, — пожала плечами Катя и этим окончательно завоевала доверие решительной американки.

Через день Круки пригласили Катю на вечерний чай. Когда Катя пришла, миссис Крук сообщила:

— Джеральд, это Катя.

— Я знаю, дорогая, — пророкотал мистер Крук, широко улыбаясь.

— Она будет мне помогать.

— Очень хорошо, дорогая.

Едва они уселись за стол, как миссис Крук уставилась на Катю круглыми, голубоватыми глазами и сказала:

— Вы хотите что-то спросить?

— Да, — призналась Катя. — Я хотела спросить, с кем же сейчас ваши дети...

Джеральд выпрямился, и лицо его, казалось, вытянулось. Но Энн Крук не дрогнула. Как обычно сухо, она сообщила Кате:

— Бог не дал нам детей.

— Мы подружались с сотнями детей, которых можем



считать почти своими, и в Европе, и в Центральной Америке, и в Китае,— мягко добавил мистер Крук.

— Джеральд хочет сказать,— пояснила Энн Крук,— что мы с двадцати лет работаем в организациях Красного Креста, и почти все время с детьми...

Они стали рассказывать, и у Кати скоро заблестели глаза. Ей почудилось, что ожил мамин и ее любимец, покровитель всех обездоленных, доктор Гааз, да еще с женой... Круки объездили полмира, спасая белых, красных, черных, желтых детей от верной гибели... Они не хвастались. Напротив, они искренне огорчались, что делали куда меньше, чем было необходимо, и что многие тысячи детей все-таки погибли...

— А почему вы решили помогать нам? — спросила Катя.

Круки переглянулись. Потом Энн взглянула на Катю, и лицо ее смягчилось:

— Нам показалось, что вы не переживете эту зиму.

Катя очень удивилась:

— Что вы! Мы бы как-нибудь перекрутились. Вот в Петербурге был голод, это да, и все-таки жили...— Тут у нее лицо словно осунулось, тени под глазами стали чернее. Но, не поднимая глаз и что-то невидимое перебирая пальчиками на столе, она вежливо объясняла: — Мы все вместе, понимаете? Это очень важно... Очень важно, когда все вместе... Надо спасти тех, кто всеми покинут...

Миссис Крук покачала головой:

— Поздно. Все решено. Будем заниматься вами.

— Почти восемьсот ребят — это немало! — радостно улыбнулся Джеральд.— Восемьсот жизней...

И они вдруг притихли, склонив головы и что-то шепча. Катя смущенно отвернулась, но все же косилась на Круков. Похоже, они молились.

— Надеюсь, Робинсу больше повезет у большевиков,— вздохнув, бодро сказала потом миссис Крук, будто разговор и не прерывался молитвой.

Джеральд оживленно согласился, а Катя с любопытством уставилась на миссис Крук:

— Разве ваш Красный Крест работает и у...— она чуть не сказала «у наших», но запнулась,—...там, на той стороне, у большевиков?

— Дитя мое,— торжественно произнес мистер Крук,— мы стараемся быть везде!

— Значит, вы не за Колчака?

Круки снова переглянулись, и Энн сделала такой жест, будто что-то решительно отбросила:

— Мы всегда за детей. Только! В Китае условия были не лучше. Одни генералы дрались против других, уезд на уезд, а дети гибли. Там погибло очень много детей... Но еще хуже — диктаторы в странах Центральной Америки и Карибского бассейна. Чем меньше страна, тем нена сытней и кровожадней диктатор. Что же вы думаете, мы были за этих генералов, диктаторов? Мы спасали детей...

У Кати блеснули глаза. Она смущенно улыбалась. Эта суровая Энн Крук ей чем-то напоминала маму. Дома у них тоже не принято было «лизаться», как говорила мама, воспитывалась сдержанность чувств.

— Вы хотите что-то спросить? — сухо заговорила миссис Крук.

Катя покачала головой.

— Неправда,— уставилась на нее рыбьими глазами миссис Крук.

— Не спрашиваю, значит, не хочу,— попыталась в тон ей отвечать Катя, но не выдержала и улыбнулась: — Не сейчас...

Она хотела уйти, но они попросили ее еще посидеть. Катя поняла, что чем-то им тоже нравится, и обрадовалась... А вообще-то Крукам тут, конечно, нелегко... Может, они устали от вечных скитаний, тяжелых забот. И им хотелось посидеть у мигающего каганца пусть с чужой, но славной девочкой, которая по возрасту могла быть их дочкой.

Они спрашивали Катю о ее родителях, о том, с кем она дружит, почему Катя назвала фамилии Ручкина, Гольцова, Колчина...

— Ручкин — это тот парень, который нашел мои перчатки? — многозначительно подмигнул мистер Крук.

Энн зашипела на него, но перестала, увидев, как улыбается Катя... Почему-то Ларька решил прикинуться жуликоватым, вроде Ростика. Катя не собиралась его выдавать. И вообще она теперь отвечала сдержанно, скупно, как ни нравились ей Круки. Ларька велел держать с Круками ухо остро. Хотя, наверно, это глупо. Катя

хотела бы жить, как они — путешествовать по всему свету и помогать несчастным...

Вскоре после этого чаепития, накануне отъезда из приюта, Аркашка поделился с Ларькой своими планами:

— Надо пощупать Майкла! Он же свой парень!

— Ну да? — скептически хмыкнул Ларька. Впрочем, Смит нравился и ему.

Аркашка настаивал на своем, и Ларька только пожал плечами:

— Если тебе пришла охота схлопотать по носу, валяй.

— Я расскажу ему о краскоме, — загорелся Аркашка. Ларька нахмурился, молча рассматривая друга.

— Не, о знамени не скажу, — понял Аркашка.

Но когда он сошелся со своим любимцем, Майклом Смитом, и начал было рассказ о краскоме, что-то сразу стало мешать.

Аркашка не мог понять, в чем дело! Почему-то он утратил все красноречие, стал косноязычен, бесконечно повторял «значит», «понимаете», попытался подогнать себя звонкими фразами, вроде «Знаете, это был необыкновенный человек!», но ничего не выходило и становилось совестно. Он не знал, как теперь выпутаться.

Смит глядел на него с интересом. Потом, пожалев Аркашку, вежливо спросил:

— А как его звали?

Аркашка смутился еще больше.

— По-настоящему — не знаю, — признался он.

— У него было прозвище?

— Нет, в отряде его звали — Павел или Командир...

— А вы как его называли?

— Товарищ краском...

— Вы — настоящие ребята, — решил Майкл, сплевывая изжеванную резинку.

— Кто?

— Ну, вы и ваши товарищи, которые бежали на фронт.

— Это я один, — пробормотал Аркашка. Он чувствовал двойное неудобство — и оттого, что врет, и оттого, что одному себе приписывает всю славу...

Решив разом покончить с этими осложнениями, Аркашка брякнул:

— А вы?

Смит поднял на Аркашку твердые, внимательные глаза, и неожиданно в них мелькнуло что-то общее с пронзительным взглядом Валерия Митрофановича — мелькнуло и тотчас исчезло...

— Почему я не убежал на фронт? — спросил Смит спокойно. — А на какой?

Аркашка покраснел, насупился; огневые, черные глаза метнули из-под ресниц искры.

— Выходит, вы за Колчака? — спросил он глухо.

Смит спокойно покачал головой и отрезал:

— Нет.

— Тогда вы за нас! — засуетился, разом оживляясь и добрея, Аркашка. — Ну, я же знал, какой вы человек! Вы человек что надо! Пойдете с нами! Пойдем шагать по планете! Дашь мировую революцию!

Смит был, видимо, удивлен, но так же спокойно покачал головой и твердо сказал:

— Нет.

— Как нет? — растерялся Аркашка. — А за кого же вы?

Тогда Майкл чуть заметно улыбнулся, поднял ладонь с длинными, гибкими пальцами и приложил ее к груди:

— Я за себя.

Всех ребят очень интересовали Круки и Смит. Разобраться в них было не так-то просто, хотя Ростик, например, уверял, что он видит американцев насквозь... Жадины! Почему — жадины, Ростик не объяснял, только энергично и пренебрежительно отмахивался от вопрошавших... Все понимали, что теперь многое в их судьбе зависит от этих американцев. Володя, который явно нравился мистеру Круку, считал, что ему беспокоиться не о чем, и поучал других. Ростик все-таки был уверен, что в любой момент облапошит этих американских провинциалов. Тося по секрету твердила девочкам, что Майкл Смит смотрит на нее как-то особенно. Многие уже в поезде начали зубрить английский и, завидя кого-нибудь из американцев, случайно выпаливали фразу или хоть слово по-английски. Иные, напротив, считали своим долгом всячески делать вид, что чихать они хотели на каких-то американцев. Так что суеты и волнений хватало.

Беседа Кати с Круками за чаепитием и наскок Аркашки на Смита также подверглись обсуждению в узком кругу, с участием Ларьки, Гусинского и Канатьева.

Катя призналась, что ей очень понравились Круки, их удивительная работа и что для себя она не желала бы лучшей судьбы.

— Тью,— печально ухмыльнулся Ларька.

— В последнее время,— сказала Катя, помедлив, чтобы ее фраза прозвучала еще обиднее,— вы, Ручкин, изрекаете только междометия...

— Хотите, скажу без междометий?

— Да, пожалуйста.

— Ненавижу таких Круков.

— И лопаете их еду? Носите их одежду? Это честно?

— Да, честно.— Он сердито смотрел на Катю, заведенный, как пружина.— Это не ихнее — еда, одежда, поезд — все!

— А чье? — Катя посмотрела на него сверху вниз, но так как они были одинакового роста, из этого мало что вышло.— Ваше, что ли?

— Да уж скорее мое. Откуда они взяли свои консервы? Это барахло? — Ларька дернул себя за ватный рукав.

— Купили, надо полагать. Не украли же.

— А я думаю — украли! У своих же, у бедняков. У негров, например. И вообще у рабочих. Они, буржуи, всегда крадут. Вы что, не знали? Только умеючи крадут, втихомолку, научно, не так, как наш Ростик. А потом бросают копеечку. Может, они в бога верят, в рай желают, может, просто хотят похвалиться. А Круки хватают эту вонючую копеечку и на нее покупают таких, как вы! Ах, мы спасаем деточек!.. — передразнил он разом и Катю и Круков.— Спасайте их от буржуев! — заорал Ларька.— Делайте революцию! Тут и спасенье, и все!.. А за это,— Ларька снова дернул себя за ватный рукав,— я ихнему рабочему скажу спасибо или бедному негру!

Катя выслушала его, стиснув зубы, и еле дождалась, чтобы холодно негромко сказать:

— Как ни кричите, а Круки лучше вас.

Ларька задохнулся от возмущения.

— Конечно. Они для нас все делают. А вы болтаете всякий вздор и еще их оскорбляете. Это подло.

Катя встала и быстро ушла.



Мальчики сидели, понутив головы. Даже Ларька молчал, только раз и другой залез пятерней в свои роскошные рыжеватые кудри...

— Зря ты так,— нерешительно заговорил Аркашка.— Все-таки девчонка...

Ларька презрительно хмыкнул, а Гусинский выкатил круглые глаза:

— Что значит — девчонка? Или она понимает, и тогда идет с нами. Или не понимает — тогда на что она нужна!

Даже Ларька засомневался, справедлива ли такая беспощадная постановка вопроса... Может, поэтому информация Аркашки о попытке вовлечь Майкла Смита в борьбу за мировую революцию прошла спокойнее, чем можно было ожидать.

— Все они только за себя,— отмахнулся Гусинский.— Буржуи! Разве они могут за народ?

— Все-таки сказанул, как думал, честный парень,— похвалил Ларька Смита.— Не виляет, как эти Круки...

Потом, когда Ларька был уже один, к нему подошла малоизвестная девочка, очень некрасивая, и молча, осуждающе сунула черную матросскую ленточку и катушку с остатками черных ниток...

— Вот это да,— сказал Ларька, скаля зубы.— Сплошной траур.

И он замахнулся, не зная, куда швырнуть дорогие сувениры.

— Грош вам цена, мальчишкам! — с негодованием отозвалась девочка.

## 19

Они поссорились перед отъездом в Петропавловск... Конечно, пришлось все-таки уезжать. Со взрослыми не поспоришь.

Отъезд ребятам был не по душе. Если американцы могут достать еду, одежду и топливо, так зачем куда-то ехать? Да еще в Сибирь! Опять на восток... Еще дальше от дома.

Собраний больше не было. В колонии наблюдался разброд. Ларька, не утруждая Ростика, вернул американцам перчатки. При этом он так неловко сообщил, будто нашел их, что Джеральд Крук невольно ухмыльнулся

и подмигнул, за что тотчас получил нагоняй от своей Энн. Эта странная женщина, так похожая на тощую ведьму, почему-то верила всему, что говорили ребята. И требовала, чтобы верили другие...

Но Круки оставались далеки, они совещались с Олимпиадой Самсоновной и учителями, с ребятами виделись лишь мельком. Куда ближе к ребятам был Майкл Смит

Аркашка так привязался к Майклу, что даже отдалился несколько от Ларьки, Кати и Миши Дудина. Особенно сблизил та ночь, когда они дежурили около склада с консервами. Майкл почти все время молчал, но зато Аркашка трещал, не умолкая. Потом он удивлялся, даже стыдился — почему так разболтался? Ведь Майкл его не расспрашивал. Просто он умел удивительно слушать... Как будто ему все было интересно. И про Ларьку, и про Катю, и про Володьку Гольцова, даже про Мишу Дудина. И про мечты ребят о доме. Аркашка разболтался о боях под приютскими окнами, о гибели краскома и едва не проговорился насчет спасенного знамени...

Смит, похоже, относился к Аркашке с подчеркнутым вниманием, как к человеку, на которого можно положиться.

Аркашку раздражало только то, что ему почти не удается побыть с Майклом наедине. Только Майкл начнет что-нибудь показывать, как набегает ребята...

Между прочим, Майкл не любил ничего рассказывать о себе. Зато показывал очень интересные вещи. Например, он бросал нож, как настоящий индеец... Аркашка спрашивал:

— А в бочку попадете?

— Вторая клепка,— говорил Майкл, а нож тем временем прорезал уже пространство и точно входил во вторую клепку. Пока Аркашка бегал за ножом, около Майкла начинали вертеться мальчишки. Он брал у Аркашки свой нож, с которого ребята не спускали глаз, и, посмеиваясь, уверял, что никто из них не умеет как следует смотреть.

— А чего тут уметь? — удивлялся Миша Дудин, еще шире раскрывая доверчивые глаза.— Вот — все вижу.

— Нет,— покачал головой Майкл.— Не видишь. Никто не умеет.

Все удивлялись, но вскоре действительно начинали понимать, что многого не умеют вокруг себя замечать.

Например, никто не знал, как снег мешает правильно определять расстояния. Или что лес кажется ближе, если смотреть на него против солнца, и дальше, если солнце сзади тебя... Смит показал, как определять остроту зрения, и весь приют целые сутки был погружен в это занятие — чертили специальные прямоугольники, измеряли расстояние и хвастались:

— У меня правый глаз дает две десятых выше нормы! Во!

И этот же Смит, который знал, кажется, все, что должен знать настоящий мужчина: как двигаться с компасом по заданному азимуту, как без часов определять время, как ориентироваться по звуку, по свету и по следам, этот же Смит, который владел любым оружием, был скор, точен, хладнокровен, знал приемы бокса и джиуджитсу и даже переплыл однажды речку, когда уже начинался ледоход,— этот удивительный и необыкновенный Майкл Смит доверительно говорил ребятам:

— Армии Колчака успешно продвигаются на запад. Скоро они возьмут Москву и подойдут к Петрограду. Большевикам конец. Вы еще этим летом вернетесь домой. А до этого мы с вами чудесно проведем время!

Кажется, ни ему, ни Крукам не приходило в голову, что перед ними хоть и дети, но очень разные... Даже те ребята, которые не задумывались, что же будет, если победит Колчак, невольно оглядывались на своих друзей, на их серьезные лица, прислушивались к их перешептываниям: «Как же мы вернемся, если в Питер придут белые?..»

Если при этих разговорах присутствовал Ларька, все невольно посматривали на него. Ларькины губы складывались в ироническую улыбку. Становилось немного легче... Никогда не дойти белым до Москвы и Питера! Туда их не пустят, ничего Смит не понимает...

Получалось, однако, что он за Колчака, такой геройский человек, настоящий индеец... Как же так? Были, правда, и такие ребята, которые не особенно задумывались над этим. Им было важно, что в приюте стали топить, что появилась еда и одежда. Конечно, никаких мокасин и шуб с бисером американцы почему-то не прислали, пожедали, наверно, но все-таки каждый получил крепкие башмаки, две пары толстых теплых носков и стеганные ватные

куртки с меховыми воротниками. Вот это все имело значение. Это все было реально, не то что Ларькины мечты о мировой революции...

Приближался день отъезда старшекласников. В приюте оставались триста учеников третьих и четвертых классов, среди них, конечно, и Миша Дудин. Но накануне отъезда старших он опять пропал.

На этот раз исчезновение Миши не вызвало переполоха. В предотъездной суете оно прошло незамеченным.

Девочки обнимали Катю, обливали ее слезами, совали какие-то ленточки, вышивки, домашние адреса. Уже без улыбки она вытирала слезы двадцатой или пятидесятой, пока Ларька решительно не вытащил ее за руку из этого писка и гама и не поставил в строящуюся колонну старших.

Меньшие наломали еловых веток с шишками и роздали их своим любимцам. Ростикку тоже сунули ветку, но он галантно уступил ее Тосе, сообщив, что ветка колется...

Олимпиада Самсоновна и Анечка, которые оставались с меньшими, тоже со слезами провожали и ребят, и Николая Ивановича, и Валерия Митрофановича, и Круков...

Круки познакомили Олимпиаду Самсоновну со своими коллегами по Красному Кресту, на попечении которых оставались теперь младшие классы.

С недавних пор Олимпиада Самсоновна носила одно и то же строгое, черное платье и черный платок, как монашка. Она не расставалась с Евангелием и любила приводить на память цитаты из священного писания. Два попики, неизвестно откуда взявшиеся и вертевшиеся в последнее время около нее, в немом восторге покачивали седыми бородами. Лицо у нее стало еще добрее, но это была доброта отвлеченная, нереальная. Становилось грустно оттого, что Олимпиада Самсоновна словно бы утратила интерес к детям, к их занятиям и говорила все больше о том, что она теперь живет блаженством веры и что Христос дал жизнь вечную...

— За всех вас молюсь,— говорила она, кладя руки на головы детей,— чтобы никто не остался вне дверей царства божьего...

Ребята жалели, что на их Олимпиаду Самсоновну нашел «такой стих», как они говорили. Может, она заболела и еще выздоровеет?

Многие принадлежали к верующим семьям и, слушая Олимпиаду Самсоновну, невольно пугались, вспоминая, как давно не были в церкви, не молились и вообще не вспоминали о боге. Конечно, на том свете попадет. Будешь жариться в аду! Может, все их несчастья от неверия... Олимпиада Самсоновна настойчиво внушала эту мысль.

Американцы были тронуты новым обликом Олимпиады Самсоновны. Люди верующие, хоть и на свой образец, они с удвоенным уважением относились к Олимпиаде Самсоновне и, видимо, сожалели, что святой дух не снизошел и на Николая Ивановича. Главной драгоценностью Круков, с которой они никогда не расставались, была семейная Библия — толстенная книга в потрепанном кожаном переплете. Те, кто ее мельком видел, с восторгом и завистью передавали свои впечатления:

— Ого! Ну и книжища!

— Наверно, полпуда весит.

— Такой книжищей ка-ак хряснешь — наповал!

— Они в ней доллары прячут! Между страницами.

— Туда долларов можно напихать будь здоров. Сто тысяч.

Перед самым расставанием миссис Крук и Олимпиада Самсоновна уединились, что-то друг другу шепча, листая Библию и от воодушевления не слушая друг друга... Нелегкая занесла Николая Ивановича в комнату, где они возносились духом, и миссис Крук, со свойственной ей бесцеремонностью, тотчас его атаковала:

— Все хочу спросить вас: верите ли вы в бога?

Вид у нее был настолько воинственный, что Николай Иванович несколько струхнул и забормотал:

— Я допускаю, что он есть...

— Вы что, не христианин?

— Я крещен по православному обряду...

— А дети?

— Что? И они тоже, по-моему, крещены.

— Вас это не очень интересует?

— Как вам сказать...

— Неужели вам безразлично и то, заберут ли их сейчас в Петроград, обрекут на гибель, на моральное растрепывание или нам удастся спасти не только детей, но, быть может, и их родителей!

Я не понимаю...

— Что же тут непонятного? У большинства ваших учеников интеллигентные семьи. Неужели родители не предпочтут жить со своими детьми в условиях подлинной культуры, демократии, уважения к религии? — Миссис Крук оглянулась на Олимпиаду Самсоновну. — Ах, как это было бы чудесно: дети не только спасли свои души, но и души родителей!..

Олимпиада Самсоновна только тяжело вздохнула, взглянула мельком на Николая Ивановича и опустила глаза.

Он не знал, как от них отвертеться, тем более что колонна старших уже строилась и Аркашка заводил полюбившегося «Варяга», который никогда не сдается...

Наконец колонна двинулась. Остающимся в этот момент стало особенно грустно, они побежали следом за колонной... Им страшно стало расставаться. Они провожали уходящих, наверно, с полкилометра и, даже когда Олимпиаде Самсоновне удалось их остановить, еще долго махали руками, выкрикивали прощальные слова, надеясь в глубине души, что вдруг колонна вернется...

И старшие шли невесело. Уже не слышен был шум голосов оставшихся позади малышей. Снова что-то рвалось... Опять потери, расставания. Сначала — дом, потом поезд и казарма; теперь этот приют, малыши... А что ждет их впереди?

Предстояло промаршировать пятнадцать километров до города; еще раз пройти мимо казармы и холерного барака, которые так помнились, снова отшагать по улицам чужого города и к двум часам подойти к станции, где их ждал поезд Красного Креста... Но не на запад, не домой пойдет этот поезд, а опять на восток, еще дальше в Сибирь... Эта мысль не покидала ребят, хотя и Смит и Круки всячески их утешали:

— При первой возможности все вернутся домой, к родителям!

Когда колонна прибыла на вокзал, в нее, стараясь быть незаметным, вклинился Миша Дудин и стал между Ларькой и Аркашкой.

— Откуда ты, прелестное дитя? — громко засмеялся Володя Гольцов и сразу привлек внимание Валерия Митрофановича.

Начались переговоры на самом высоком уровне. Ва-

лерий Митрофанович твердил, что раз Миша сумел добраться самостоятельно от приюта до вокзала, то без труда совершит это путешествие и в обратном направлении. Не может быть и речи о том, чтобы допустить его ехать со старшими.

Николай Иванович был также смущен.

— Вы уже потеряли три месяца,— объяснял он ребятам.— Предстоит налечь на учебу. А что станет делать Миша Дудин? Он должен заниматься со своим четвертым классом, а не с седьмым и восьмым.

Ларька и Аркашка клялись, что под их наблюдением Миша проскочит четвертый класс, как стрела, на одни пятерки. Но и у Круков возникли сомнения... Они, конечно, не допускали и мысли отправить Мишу в приют одного, но, кажется, не прочь были поручить эту операцию Смит.

Тогда Смит предложил оставить Мишу.

— А дисциплина? — кричал Валерий Митрофанович.

— Мужская дружба тоже чего-то стоит,— улыбнулся Майкл Смит, поглядывая на Мишу, Аркашку и Ларьку.— А дисциплина придет.

Так Миша остался со старшими, а Майкл Смит еще раз доказал, что он свой парень и все понимает.

Эшелон Красного Креста охраняли американские солдаты. Их было немного. Они спокойно стояли у вагонов, широко расставив ноги, и, ни на кого не глядя, со скучающим видом жевали свою любимую резинку.

Ребята обрадовались, что вагоны — классные, не теплушки. Кто знал по-английски хоть несколько слов, вежливо приветствовали американских солдат. Те молча улыбались и угощали ребят плитками жевательной резинки.

Но неугомонный Миша Дудин, хотя его право на посадку в такие великолепные вагоны было сомнительным, недоумевал:

— То чехи, то американцы... Кто их сюда звал?

— Пришли, понимаешь, на святую Русь... — зло улыбался Ларька.

— Они что, варяги? Опять? — поддакивал кто-то из ребят.

— Тихо, вы! — нахмурился Аркашка.— Хотите обидеть Майкла, Круков? Они же для нас, дураков, стараются...

— Ну да,— потешался Ларька,— земля у нас велика и обильна, порядка только нет...

А сам искал глазами Катю. Ему казалось, что она только что на него смотрела. Но каждый раз это было ошибкой. Нет, она на него не смотрела...

## 20

А Петропавловск оказался скучным городишкой. Ни лесов, ни гор. Степи, озера, болота. Сейчас все это было еще под снегом. Кончался февраль девятнадцатого года...

Их разместили в большой усадьбе на окраине города. Здесь, кроме главного барского дома, было еще много построек и почти во всех сохранилась мебель, топились печи... Удалось организовать все нужные классы. Одну комнату в полуподвале Смит определил для карцера, хотя Круки уверяли, что карцер, конечно, никогда не потребуются. Жизнь в усадьбе налаживалась теплая, сытная, и нелегко было понять, почему именно здесь, в спокойной обстановке, все чаще стали сниться кошмары и даже днем не покидало гнетущее чувство страха...

Молча рассматривали карту; сначала тайком, потом в открытую.

— Еще на семьсот верст уехали...

— На семьсот сорок, я ниткой вымерил...

Словно какая-то зловещая, необоримая сила отодвигала и отодвигала их от дома неведомо куда. Невольно представлялись бесконечные пространства — до Урала, и от Урала до Волги, и потом еще сотни длинных верст,— и становилось страшно, нехорошо. Тогда и на Круков и на Смита ребята старались не смотреть.

Что думают о них дома? Уже почти девять месяцев не было никаких вестей. И они не могли дать о себе знать. Их, наверно, считают погибшими...

То, что долгое время девочки таили про себя, сдерживались, теперь выплескивалось наружу:

— Не знаю, как мама переживет.

— Не понимаю, как я могла уехать! Как раз получили письмо от брата, что он ранен и его отпустили домой. А я уехала!..



— У отца туберкулез, нужно сало. Я сначала немного наменяла, думала привезти, а потом... потом все съела...

И все время стучалась мысль, что теперь никогда уже не увидать ни маму, ни отца, ни брата, никого из близких...

Даже неунывающая Ларькина компания настроена была грустно, подавленно. Колчак продолжал лезть в глубь России. Местные газеты расписывали его успехи, близкий крах большевиков. Кольцо белых вокруг Москвы и Питера затягивалось все туже.

— Если революция погибнет, я домой не вернусь,— мрачно заявил Аркашка.

— Куда же ты? — спросил Ларька.

— И ты не вернешься...

Ларька промолчал. Гусинский и Канатьев смотрели на него с тревогой. Каждого все чаще навещала мысль: а что делать, если белые и правда победят? Как тогда жить?

— Тогда нам, большевикам, и податься будет некуда,— задумался Миша Дудин.

— Ну, мы не дадимся! — крикнул Аркашка.— Лучше героически погибнем!

— А где этот Колчак?

— Колчак — в Омске,— сказал Аркашка и уставился на Мишу, грызя ногти. Его явно осенила новая идея, но Ларька не дал ее обнародовать.

— Чего расхныкались? — сердито спросил Ларька, сжимая кулаки.— Кому надо ваше нытье? — И еще злее ответил: — Колчаку! На него, что ли, работаете?

Все притихли, не решаясь и тосковать, раз это идет на пользу Колчаку...

Впрочем, скоро стало известно, что Круки пытаются установить через линию фронта контакт с представителями американского Красного Креста в Питере и Москве.

Николай Иванович, которому Круки тоже пришлось по душе, рассказал, как мучаются ребята от того, что много месяцев не имеют никакой связи с родным домом.

— Как! — вскинулась миссис Крук.— Дети не могут переписываться с родителями? Возмутительно!

Николай Иванович наклонил голову... Миссис Крук не могла успокоиться:

— Это бесчеловечно! Вот что делает война, ваша революция... Дети страдают...

Тут ее цепкие глазки стали еще острее и словно оцарапали Николая Ивановича:

— Но ведь в Петербурге творятся ужасы... А если родители детей погибли?

Николай Иванович поежился:

— Все может быть... Только мы народ живучий.

И тут выяснилось, что еще до отъезда в Петропавловск Круки отправили в петроградское представительство Красного Креста сообщение о детской колонии. Одновременно через Владивосток и Японию они направили рапорт в Соединенные Штаты, и в этом документе просили сообщить в Петроград о судьбе детской колонии и о том, как наладить переписку между детьми и родителями.

Уже в Петропавловске Смит намекнул об этом Аркашке, и, хотя ответа ни из Питера, ни из Соединенных Штатов пока не было, вся колония воспрянула духом. После чудес с питанием и обмундированием ребята уверовали во всемогущество Круков.

В Петропавловске возобновилась учеба. За нее все ухватились с жадностью. Это была какая-то отдушина. Ребята почувствовали себя увереннее. Тем более что Николай Иванович упорно внушал:

— Новая Россия с вас спросит. Вы ей понадобится. И чем больше накопите знаний, тем будете ей нужнее.

— Какая это новая Россия? — поинтересовался Ларька, но Николай Иванович только взглянул на него пристально и пожал плечами:

— Не знаю точно, какая она будет, но сердца и умы ваши ей понадобятся.

Наибольшей симпатией стал пользоваться английский язык, который взялся вести Джеральд Крук. Даже Аркашка, довольно прохладно относившийся к учебе, английским неожиданно увлекся и обнаружил недюжинные способности. Ему было неудобно, что он, потешавшийся над всеми, кто учился, схватил пятерку по английскому... Аркашка объяснил:

— Язык скитальцев морей... Пригодится для мировой революции!

Круки знали, что Аркашка сирота, и беседовали с ним чаще, чем с другими. Они осторожно выясняли, помнит ли он своих родителей, кто у него остался из близких...

Аркашка уверял ребят, что Джеральд Крук его боится.

— Он не выдерживает моего взгляда,— твердил Аркашка.— Мой взгляд вообще редко кто выдерживает...

Все с интересом следили за тем, как на уроке Аркашка гипнотизирует мистера Крука, не сводя с него черных, трагических глаз. Действительно, Крук, раз и другой поглядев с беспокойством на Аркашку, вставал, подходил к нему, вздыхал — «бедное дитя...» — и осторожно брал его за плечо. Аркашка независимо и гордо высвобождал плечо, Джеральд Крук, покачивая головой, растерянно возвращался на свое место...

Кончилось это тем, что Круки захотели усыновить Аркашку.

Новость вызвала широчайший интерес. Все приставали к Аркашке Круку, как его немедленно прозвали, требуя подробностей о будущей жизни в Америке.

Смит еще крепче подружился с Аркашкой, рассказывая ему и всем, кто желал слушать, какие перспективы ждут каждого мальчика в богатейшей стране мира.

— Захочешь, станешь великим путешественником, как Пири! Или великим изобретателем, как Эдисон! Или великим артистом, как Чарли Чаплин! — разглагольствовал Майкл. — Но все равно ты будешь миллионером! А это самое главное!

— Я? Миллионером? Вы что! — Смуглые щеки Аркашки потемнели от негодования, из возмущенных глаз посыпались грозные молнии. — А я надеялся, Майкл, что вы мне друг...

— Конечно, я вам друг. Потому и желаю самого лучшего. Знаете, как в Америке спрашивают о незнакомом человеке? Спрашивают: сколько он стоит?

— Как это?

— Какой у него доход. Сколько у него денег. Отсюда — и отношение к человеку. Вот вы сейчас ничего не стоите, а если будете миллионером...

— Я ничего не стою?

— Вам это не обидно, вы еще мальчик. Но если бедняк — взрослый, ему очень стыдно... Значит, он ни на что не годен. Был бы годен, стал бы миллионером.

— А вы — миллионер? — брезгливо справился Аркашка, готовый немедленно расплеваться и с Майклом.

— Пока я стою гораздо меньше,— признался Майкл.

— А Круки — миллионеры?

Смит слегка улыбнулся:

— Я думаю, они никогда не будут стоять столько... Но у меня есть план. И вы можете мне помочь. Тогда мы оба станем миллионерами...

— Надеюсь, вы шутите,— сердито сказал Аркашка.— По-моему, нет ничего подлее, чем быть миллионером.

— Почему? — удивился Смит.— Сначала попробуйте, потом говорите. Разве вам не хочется и то и другое... в общем, делать все, что только придет в голову? Чтобы можно было все. Исполнять все свои желания. Это могут только миллионеры.

— Насчет миллионеров у меня одно желание,— свирепо ответил Аркашка.— Собрать их в кучу и утопить в самом глубоком месте океана, чтобы ни за что не вылезли!

— Вы сердиты, потому что у них есть деньги, а у вас их нет,— помолчав, сухо сказал Смит и отошел.

Ростик, с интересом выслушав эту беседу, пристал к мистеру и миссис Крук, выясняя, почему они решили усыновить Аркашку, а не его. Он уверял, что произошла ужасная ошибка, которую, впрочем, не поздно исправить.

— Он не хочет, а я хочу быть миллионером,— объяснял Ростик Крукам.— Аркашка анархист, большевик, вы что, не знаете? Он вам таких наделает дел в вашей Америке... А я для вас очень подходящий...

— Но ведь у вас есть родители, мама! — удивлялась миссис Крук.

— Да ведь кто их знает, есть ли, нет ли,— рассуждал Ростик, для убедительности прижимая руки к груди и вдумчиво, проникновенно вглядываясь в миссис Крук.— Может, их давно поубивали. Да и какие это родители? Вот, пожалуйста, бросили сыночка. А я должен жить? Должен. Может, я вас и мистера Крука полюбил больше всех?

И Володя чувствовал, что несколько расстроен. Он, собственно, не желал, чтобы его усыновляли, его устраивали родители, хотя он в трудные минуты тоже очень на них обижался. Могли бы все-таки что-то сделать, постараться. Только о себе думают, эгоисты. До единственного сына дела нет... Но менять их на Круков Володя не хотел. И все же ему было досадно, что выбор пал на Аркашку...

Виновник этих событий хотел сначала наотрез отказать

Крукам. Это предложение его оскорбляло. Он уже нахмурился и сверкнул глазами, но потом все-таки иронически-вежливо шаркнул ножкой:

— Благодарю. У меня другие планы.

Однако, узнав, что Круки вовсе не миллионеры и ничего оскорбительного для его чести в их предложении нет, почувствовав повышенный интерес ребят к своей особе, Аркашка, похоже, передумал. Боясь Ларькиных насмешек, он делился с Мишей Дудиным:

— Может, я еще с ними и поеду. В эту Америку.

— Так это же самая буржуйская страна! — пугался Миша. — Там главные ихние акулы...

— Ну и что? Напущу на них святую мать-анархию! Пусть чешутся! А потом — раздуем мировую!

Тем временем настроения ребят менялись. Им что-то разонравилось предложение Круков об усыновлении Аркашки, показалось опасным...

— Это они нас кого усыновят, кого удочерят, и все! — тайком расстраивались девочки. — Тогда домой ни за что не попадем...

Вопрос об усыновлении Аркашки пока остался открытым. Но Круки не теряли надежды... Смит им деятельно помогал. Америка по его рассказам была страной чудес, страной удивительных возможностей для каждого. Даже для девочек. Но особенно для мальчиков...

— Нашу страну построили отцы-пилигримы. Те, кому пришлось бежать из Европы от виселиц королей и костров святош... Самые отчаянные, самые гордые, самые стойкие и сильные люди высаживались на берега Америки, и их встречали стрелы и томагавки индейцев. Те, кто выжил, отвоевал свой кусок земли, построил свой дом, стали нашими предками. А теперь мы самая могучая страна. Немцы колотили в Европе всех, но стоило Америке протянуть через океаны кулак, и немцы упали на колени...

Он был необыкновенно хитрым, этот Майкл Смит. Не клюнули сразу на богатство, он манил ребят романтикой... Непонятно только — зачем?

И в тот вечер, когда Смит неожиданно показал еще одно свое лицо, он рассказывал об Америке. О Ниагарском водопаде, Гранд-Каньоне, Великих Озерах, о Сан-Франциско, родине Джека Лондона, и Миссисипи, по которой плавал Марк Твен, о небоскребах и магазинах,

полных всего, чего душа желает, о великом счастье жить в такой стране...

Он и сам увлекся, поэтому не заметил, как приоткрылась дверь в комнату... Катя, заглянув в щель, решительно поманила Гусинского. Тот, улучив момент, исчез... Потом так же незаметно скрылись за дверью Канатьев и Миша Дудин... Попробовали выскользнуть еще несколько человек, но их Смит уже заметил и осведомился, что это значит.

Тут вернулся Миша Дудин. Кто-то тащил его за штаны в коридор, но Миша, отмахиваясь, шагнул в комнату и спросил Майкла Смита:

— Это правда, что вы посадили Ручкина в карцер на хлеб и на воду?

— Правда,— помедлив, ответил Смит.

В комнате возник тревожный шепот...

— А за что? — неустрашимо спросил Миша.

— За ложь,— твердо сказал Майкл Смит.— Он солгал.

## 21

Смит так это сказал, что все растерялись. Одна Катя, стоя в дверях, затрясла головой:

— Этого не может быть. Ручкин никогда не лжет.

Майкл Смит строго и печально посмотрел на Катю. В самом деле, испуганно думали ребята, что это она сказанула... Выходит, Смит врет?

Наконец он раздельно и многозначительно произнес:

— На этот раз Илларион Ручкин изменил своим правилам.

И медленно вышел, не желая продолжать разговор.

Тут уж все промолчали. Но когда Смит скрылся, поднялся невероятный галдеж, на секунду стихавший, когда кто-нибудь призывал: «Да тише вы!» — и тотчас разгоравшийся снова.

Все говорили разом, пытаясь выяснить, что же такое мог сказать или сделать Ларька. Больше других волновались, конечно, Аркашка, Гусинский и Канатьев, Катя и Миша Дудин... Но и остальным ребятам было не по себе от того, что такого человека, как Ларька, упрятали в карцер какие-то американцы!

Никто даже приблизительно не догадывался, что на-

творил Ларька. Гадали и так и этак, но тут же с презрением отбрасывали свои выдумки.

— Говорят, там вот такие крысы...— сказала Тося с ужасом, показывая руками размер крысы в метр длиной.

Ужин прошел в гнетущей тишине... От Кати, пытавшейся выведать что-нибудь у Круков, от Аркашки (он пробовал расколоть Джеральда Крука, который, как известно, его боялся) узнали, что и Круки молчат, хотя явно чем-то встревожены...

Обиженный и недоступный Смит ни с кем не разговаривал. Никому не пришлось в голову обратиться к Валерию Митрофановичу...

Бросились, конечно, к Николаю Ивановичу.

Между ним и ребятами отношения неуловимо изменились. До появления американцев Николай Иванович был самым любимым и уважаемым учителем. Но с приходом Круков и Смита Николай Иванович стал замечать у одних ребят снисходительность, у других попытки панибратства, а у Ростика и его компании даже что-то похожее на пренебрежение — дескать, а чего ты теперь, друг, стоишь? И это Николая Ивановича расстраивало.

Лучше, чем кто-нибудь, Николай Иванович понимал, что Майкл Смит — всего лишь скаутмайстер, который мог, возможно, научить ребят дисциплине, дать им спортивную и некоторую военную закалку, но не больше. Круки были сделаны, конечно, из другого, более деликатного теста... Их бескорыстие, безграничная преданность детям граничили с подвигом. Но насколько Николай Иванович мог судить, Круки, обладая отличной педагогической профессиональной подготовкой, не отличались глубиной знаний, кругозором...

Он надеялся, что первое увлечение ребят американцами, вызванное чудесами с едой и одеждой, минует, едва они снова привыкнут к сытости и теплу. И то, что увлечение не проходило, что восторги Смита перед богатством Америки, роскошью миллионеров с жадностью впитывались и не приедались, огорчало Николая Ивановича. Он не знал, какой тон ему взять. То, что в Петропавловске, владея всеми материальными благами, командуя колчаковцами, американцы стали чуть не единственными хозяевами детской колонии, было скверно... А что он мог поделать? Хорошо еще, что попались такие порядочные

люди, как Круки, могло быть куда хуже... Каким-то необъяснимым чутьем педагога Николай Иванович улавливал, что правильный тон, который вернет ему доверие ребят, надо искать через Ручкина. Николай Иванович знал, за что Ларька попал в карцер. Можно было, конечно, стать на его защиту. Напрасно, кажется, он этого не сделал...

Когда, по старой памяти, они захотели по-свойски потолковать с Николаем Ивановичем и что-нибудь узнать о судьбе Ларьки, обе стороны не нашли нужных слов.

Аркашка заговорил так, будто делал Николаю Ивановичу одолжение. Как бы давал понять, что они и без Николая Ивановича могут все узнать, но решили, так и быть, дать ему возможность хоть в чем-то быть полезным. Кроме того, что особенно больно задело Николая Ивановича, ребята считали и его виновным в злоключениях Ларьки.

Николай Иванович холодно сказал:

— Это дело мистера Смита и, очевидно, мистера и миссис Крук.

— А вы ни при чем? — довольно нахально спросил Аркашка.

— Я ни при чем.

— Значит, ничего не можете?

— Значит, не могу.

Тайна сгущалась. Уже приближалась ночь, но мало кто готов был так просто лечь и заснуть. Ростик, признанный специалист по особым делам, взялся незамеченным пробраться к карцеру, узнать что-нибудь непосредственно от Ларьки. Но дверь в полуподвал оказалась закрытой. Ростик объяснил, что открыть такую дверь ему просто — ха, тьфу! — но надо дожидаться ночи. Аркашка попытался установить связь с Ларькой через окошко, видневшееся над снегом. Окно оказалось задернутым черной шторкой. Горел свет. Аркашка осторожно стукнул в стекло. Через мгновение, словно он давно ждал этого сигнала, появился, привычно улыбаясь, Ларька. Он что-то показывал на пальцах. Аркашка жестикулировал тоже. Но ничего нельзя было понять, тем более что мороз расписал окно мерцающими узорами.

Только утром колония постепенно узнала, что произошло. Проснувшись, Гусинский и Канатьев обнаружили,



что Ларька похрапывал тут же, на своей кровати. Его тотчас растолкали.

— За знамя,— сказал Ларька.— Только ша!

И он, в нескольких словах, шепотом рассказал, что Смит откуда-то узнал про знамя краскома, потребовал его, Ларька ото всего отрекся и попал в карцер... А на ночь его выпустили Круки, под свою ответственность. Смит бы нипочем не выпустил... При этом казалось, что Ларька одобряет Смита, а над Круками посмеивается...

Ни Гусинский, ни Канатьев не проронили ни единого слова. Сам он отделялся шуточками. Но через час вся колония знала, что Ларьку засадили за какое-то знамя. Возможно, эти сведения просочились от Круков.

И Смит и Валерий Митрофанович тоже были недовольны Круками, освобождением Ларьки, преждевременным раскрытием тайны. Им хотелось выведать, где же спрятано знамя краскома, выяснить, кто еще вместе с Ларькой прячет это знамя.

Смит объяснял ребятам:

— Мы с вами не занимаемся политикой. А Ручкин прячет красное знамя большевистских солдат. Зачем? Это очень опасно.

Все молчали, переглядываясь...

— Вы знали об этом! И молчали!

— Может, всем идти в карцер? — спросил Гусинский.

Но его не расслышали, потому что не только большинство мальчиков и девочек, которые действительно ничего не слышали ни о каком красном знамени, но и Канатьев и даже Катя вместе со всеми возмущенно зашумели. Никто ничего не знал! Видом не выдывали! Слыхом не слыхивали...

Катя объясняла Ларьке:

— Круки замечательные люди, и вы, пожалуйста, молчите. Но и я в чем-то ошиблась, признаюсь. Хотя не понимаю, в чем. А Смит, конечно, свинья.

— Почему — свинья? — Ларька выставил свои веселые зубы, покрутил русый чуб.— Меня братишка учил, что ругать врага — это слабость. Поругаешь — вроде победил... Матросы говорят, врага надо уважать — так его бить сподручнее.

В общем, Ларька и Катя на время снова помирились. Тем более что им, как и всей компании, и многим другим

очень хотелось выяснить, кто сказал Смиту про знамя краскома.

— Кто предатель? — сурово спросил Ларька, когда они остались одни.— Вот такой вопрос... О знамени знали только мы. Выходит, кто-то проболтался!

И он устался на Аркашку.

— Ну, вот что...— Аркашка сдвинул черные брови и посверкал орлиными очами.— Мне это надоело. Ты все время ко мне придираешься!

Но на Ларьку это не произвело впечатления, и он продолжал тем же тяжелым взглядом буравить Аркашку:

— Уж очень ты подружился со Смитом...

— Ну и что? Тебе он тоже нравился. Может, ты ему и наболтал?

— Я?! — Ларька встал и шагнул к Аркашке.

Аркашка тотчас двинулся ему навстречу.

— Вы что? — удивилась Катя. Но звук ее голоса только придал силы и тому и другому.

Гусинский, с беспокойством следивший за новой схваткой между Ларькой и Аркашкой, поспешно произнес:

— Может, кто случайно видел, как вы приняли от краскома знамя? Смотрел в окно и видел...

— Например, Ростик,— подхватил Канатьев.— Или Гольцов.

Ларька взглянул на Катю. Но она покачала головой:

— Нет,— сказала она,— я думаю, это идет вообще не от нас. Мы же знаем, где знамя. А тот, кто выдал Смиту, не знал...

Ребята переглянулись. Ларька смущенно ухмыльнулся Аркашке, оглядывая всех куда приветливее.

— Это, пожалуй, толковое соображение! — Он улыбнулся Кате, и та отвернулась, чувствуя с досадой, что невольно благодарна ему за похвалу.— Но тогда как же дошло до Смита?

Все молчали. Ларька поднял руку и торжественно сказал:

— Клянусь, что ни единого слова никому не говорил.— И предложил Гусинскому: — Ты.

Один за другим все поклялись. Когда дошла очередь до Аркашки, он тоже поклялся, а потом добавил:

— Ну да, можно сказать, что никому не говорил...

— Это как понимать? — снова нахмурился Ларька.



— Друг с другом мы толковали, верно? Это же не считается.

— Ну.

— Так я с Мишкой Дудиным говорил. Он же свой парень, это тоже не считается...

Он еще не договорил, как дверь в комнату распахнулась и вошел Миша Дудин.

Аркашка рассказал Мише о знамени краскома еще в приюте в один из самых скверных вечеров, когда голод, холод, тоска так прижали, что и жить не хотелось... На Мишу рассказ как будто и не произвел впечатления, тем более что, когда он спросил, а где же это знамя, Аркашка ничего не сказал... Мише было, конечно, строго-настрого наказано, чтобы он никому не проговорился о доверенной тайне. И он молчал, хотя это было нелегко. Молчал до тех пор, пока однажды Ростик, пользуясь тем, что поблизости не было ни Аркашки, ни Ларьки и никого из иных Мишиных друзей, довел его почти до слез приставаниями, щелчками, дурацкими словами...

— Все пойдут под знаменем, а тебя не возьмут! — в отчаянии брякнул Миша. — Так и знай!

— Под каким еще знаменем? — лениво осведомился Ростик, отпуская несчастному Мише еще один замысловатый щелчок.

— Под таким! — сжал кулаки Миша. — Под красным!

— Тю... Где ты его возьмешь?

— Возьмем!

Ростик поглядел на него исподлобья и медленно, широко улыбнулся.

— А ты ничего, — одобрил он Мишу. — Годишься. Не плакса... На́ пять, — и он протянул ему ладонь.

Миша дернул плечом, отвернулся.

— На, не бойся, — повторил Ростик и, взяв потную, испуганную Мишину ладонь, ласково ее пожал. — Я и не знал, что ты свой парень... Так где ты видел это знамя?

— Я не видел.

— Не видел? Чего ж тогда врешь?

— Я не вру.

И Миша сослался на Аркашку... Только тут он вспомнил, что ему велено было молчать. Миша покраснел и убежал... Ростик последил за Аркашкой, но ничего не выяснил. Он понимал, что главный в этом деле, конечно,

Ларька. Но за Ларькой Ростик не решился следить, опасное это было дело.

Зато однажды, когда Смит поймал его на очередном воровстве, Ростик сумел вывернуться, рассказав про знамя.

Так Ларька попал в карцер.

Но Смиту надо было непременно забрать знамя, и чем настойчивее он добивался этого, тем упорнее сопротивлялся Ларька. Ростик пристал к Мише, требуя помощи и грозя рассказать, что главный предатель — это Миша Дудин...

И вот он сам пришел и стоял перед ними всеми — перед Ларькой, который из-за него сидел в карцере, перед любимым Аркашкой, которого он так страшно подвел и предал, перед Катей — она чинила его рубашки и штаны и ежедневно пришивала ему пуговицы, перед Гусинским и Канатьевым — они тоже не давали его обижать... Все молчали. Миша, заикаясь, едва выговорил:

— Убейте меня... Или я сам убьюсь... Только никому не говорите, за что, ладно?

Он был уверен, что как отъявленный предатель заслуживает смерти, и не понял, расстроился, а потом даже обиделся, когда все принялись хохотать.

— Я все равно убьюсь, — твердил Миша, и прошло немало времени, прежде чем он согласился еще пожить сколько-нибудь на этом свете.

Круки же объяснялись с Майклом Смитом... Впрочем, как всегда, мистер Крук помалкивал, лишь улыбаясь или хмурясь в соответствующих местах. Наступление вела миссис Крук.

— Вы, кажется, забыли, — клевала она Смита, — что полностью подчинены мистеру Круку. Что опыт работы с детьми у вас ничтожный, а с детьми-иностранцами — никакого. Вам не мешало бы подумать, если вы вообще умеете это делать, прежде чем затевать глупую возню с каким-то знаменем, карцером, слежкой. Мистер Крук в последний раз ограничивается с вами беседой!

Смит стоически вынес этот разгон. Лицо его было почтительным и строгим. Джеральд Крук то грозно хмурился, когда жена на него взглядывала, то осторожно подмигивал Смиту — дескать, не падайте духом, старина...

Откланиваясь, Смит положил руки на кожаную сумку, которая висела у него через плечо...

— У меня к вам ничтожная просьба, миссис Крук,— сказал он негромко.

— Вы хотели сказать — к мистеру Круку?

Смит наклонил голову.

— Ну! В чем еще дело?

Смит вытащил какую-то цветастую книжку.

— Я хотел просить вас перелистать вот это.— Он протянул том Джеральду, и тот с любопытством взял, но тут же хотел вернуть, так как заметил, что жена смотрит с неодобрением...— Это всего лишь «Ким» Киплинга, любимая моя вещь...

— Неужели вы полагаете, что у мистера Крука сейчас есть время перечитывать Киплинга! — нахмурилась миссис Крук.

— Окажите мне эту услугу,— настойчиво просил Смит.— Возможно, если вы припомните «Кима», мы лучше пойдем друг друга и нашу задачу в этой трудной стране, с этими странными детьми...

## 22

Подошел май, тот самый месяц, когда год назад они уезжали из дома... Целый год прошел, прямо не верилось... И не хотелось думать обо всем, что пришлось им пережить за этот год.

Здесьный месяц май не походил на московский и даже на питерский. Зима никак не уходила. И в середине мая еще стояли холода, ветер покалывал щеки, снег весь не сошел и лежал белыми полосами и лес по-прежнему был серый, голый. По Ишиму плыл лед, и даже на берегах едва набухали почки, такие жалкие, что, недоверчиво разглядывая их, Миша Дудин усомнился:

— У них, что ли, тоже бывают листья?

Свежий ветер подергивал воду между льдинами сизой рябью; при одном взгляде на нее становилось еще холодней. Иногда пробовал идти снег, и когда переходил в мелкий, противный дождик, то его капли казались холодней снежинок.

Озера все еще намертво сковывал лед, и невозможно было представить, что он когда-нибудь растает. А пятнадцатого мая выпал снег едва не в полтора вершка!

И ответы на письма Круков о возможности ребятам как-то связаться с семьями задерживались так же, как весна.

Пока все были уверены, что не сегодня-завтра Круки наладят переписку с Питером, робкие призывы американцев поменьше гадать о революции, боях и даже о своем красном Петербурге, а побольше о боге, о мире и учении ребята принимали как своего рода плату за то, что смогут писать домой... Смит продолжал петь серенады чудесной стране Америке, и, несмотря на его конфликт с Ларькой, эти песни слушали с удовольствием. Слишком памятна, неизжита и теперь была унижительная нищета и муки голода, чтобы не вызывала восторгов страна бесконечного изобилия.

Но проходили месяцы... Крукам уже было неловко отвечать на вопросы ребят: ясно стало, что с хлопотами о переписке детей и родителей ничего не получилось. Это вызвало подозрения. Зашептались о том, что Круки нарочно тянут волынку. Захотели бы, так давно добились.

— В конце концов,— рассуждал Володя,— пусть и наши письма отправят через Японию в Америку! И ответы из дома — тоже! Что им стоит!

А тут еще перестали поступать ясные сообщения с фронта. Газеты писали все так же восторженно, однако теперь о Колчаке говорилось как-то неопределенно. Но по тону петропавловских газет можно было думать, что он готовится вступить в Москву... В церкви, неподалеку от усадьбы, где жили ребята, ретивый батюшка чуть не ежедневно служил молебны о ниспослании побед христороливному воинству Колчака...

Круки хоть и продолжали заботиться о ребятах, но как оказалось, не так уж бескорыстно... Они твердили, что никогда не вмешивались и, упаси боже, не вмешиваются теперь в политику, что, конечно же, дело русского народа выбирать между красными и белыми. Им совсем не нравились Колчак: даже до них доходили сведения о невообразимых зверствах, чинимых белыми. Но еще меньше им нравились большевики, уничтожившие частную собственность и религию, моральные основы, на которых стоял, стоит и будет вечно стоять мир... И Крукам хотелось — для блага детей, конечно, не для себя же — очистить ребят от налипшей на них скверны русской революции,

сделать этих мальчиков и девочек воистину счастливыми слугами божьими, внушить им священные чувства любви к ближнему.

— Что в этом плохого? — спрашивали они Николая Ивановича. И торопливо объясняли, что колчаковцы все-таки не вмешиваются в судьбу затерявшихся детей, а большевики непременно сунули бы и сюда своих комиссаров... — Что хорошего?.. — допытывались они снова у Николая Ивановича.

Но тут появился Смит и сообщил, что прошлой ночью в доме священника, так рьяно молившегося о ниспослании колчаковцам побед, неизвестные выбили все стекла, поломали страстно лелеемые батюшкой парниковые рамы и пытались поджечь его скотный двор.

— Утверждают, что это сделали наши воспитанники, — невозмутиво закончил Смит.

— Почему батюшка не пришел жаловаться? — спросил Николай Иванович.

— Он боится.

— Джеральд! — строго воскликнула миссис Крук, выпрямляясь. — Ты понимаешь, что происходит? Этот священнослужитель знает, что дети под нашим покровительством. И он молчит, потому что не хочет ссориться с нами. Это ужасно! Мы помогаем хулиганам обижать несчастного священнослужителя.

— Да, милая, ситуация забавная! — бархатным басом пророкотал мистер Крук и, к своему несчастью, улыбнулся.

— Забавная! — вскинулась миссис Крук. — Тебе смешно?

— Что ты, — поспешил в кусты мистер Крук, — я скорблю вместе с тобой...

С крайним подозрением разглядывая супруга, миссис Крук, постучав костяшками пальцев по столу, предложила Смику:

— Мистер Крук хочет сказать: никаких расследований! Никакой слежки! Нам неинтересно, кто бил эти проклятые стекла... у священнослужителя. Предупредите, что, если что-нибудь подобное повторится и власти явятся сюда, мистер Джеральд никого не станет защищать. И пусть маленькие хулиганы защищаются тогда сами!

Оставшись наедине с мужем, Энн Крук спросила:



— Ты знаешь, кто это сделал?

— Догадываюсь, дорогая...

— Там была даже Катя! Такая воспитанная! Умная! С такой душой!

— Из отличной семьи... Но ты не печалься, дорогая. Дети есть дети. И это замечательно!

— Что замечательно? Что они хулиганят?

— Зачем так резко. Они остаются детьми, вот что важно. Несмотря на все, что вынесли. Разве это не чудесно?

Меж тем происшествия продолжались. Колонисты взялись за Валерия Митрофановича. Они знали, что он трус, и начали его пугать. В его комнате появился как-то лист бумаги с фотографией Валерия Митрофановича в жирной траурной рамке с черной надписью: «Тело покойного сегодня в двенадцать часов ночи вынесут упыри вии и вурдалаки».

...Весна все не начиналась. Писем Круки ниоткуда не получали.

Хотя занятия шли во всех классах и новые преподаватели, местные, петропавловские, требовали от столичных учеников усердного отношения к учебе, все-таки невозможно было жить одними школьными занятиями. Ни с того ни с сего чуть не все ребята переругались. Особенно девочки, у которых то вспыхивали кратковременные, истеричные привязанности, то складывались ужасно сложные отношения. Сегодня Маня обожала Паню и ненавидела Катю. Но стоило Пανε улыбнуться Кате, как Маня и ее начинала ненавидеть, чувствуя совершенно невыносимое одиночество. Среди мальчиков тоже обострялись отношения. Ларька и Аркашка старались как-нибудь отличиться друг перед другом. А Володя еще более ревновал к ним Катю... Ребятам стукнуло уже по пятнадцать лет, им казалось, что детство давно прошло, и невыносимо становилось ощущать, что к ним относятся как к детям. Все тяжелее наваливались беспомощность, оторванность. Шла великая битва, решалась судьба России, может, Колчак был уже в Москве, подбирался к Питеру, может, все их близкие погибли от белой пули или на виселице, а они сидели в никому не известном Петропавловске, да и то на задворках, в брошенных хоробах, и учили математику, физику, английский... Ну, можно ли было придумать что-

нибудь глупей и обидней? И погода ужасная. Все одно к одному. Снег и холода в мае. Казалось, весны не будет. В их замученных головах утвердилась мысль, что только с весной придут какие-то перемены. Тем нетерпеливее ждали весну. Каждый день, просыпаясь, бежали к окнам. А за ними — холодный дождь со снегом. Пять дней подряд. Десять... Было все так же серо, холодно, сыро, когда Аркашка буркнул Ларьке:

— Майкл зовет на охоту.

Ларька пренебрежительно пожал плечами — дескать, а мне-то что? Помедлив, Аркашка нехотя добавил:

— Хочет, чтоб и ты пошел.

— Это еще что за новость? — удивился Ларька.

Конечно, устоять было невозможно, и они отправились втроем. И тотчас за городом почуяли весну. Нет, и здесь деревья стояли голые и снег в оврагах белел, как неживой. Но сколько же над голыми деревьями, над этим снегом летало уток! Они проносились чуть не над головами, вспархивали рядом, плавали не только на речных проталинах, но в каждой луже. А за рекой кричали дикие гуси. Над лесом тянулись вереницы журавлей и лебедей...

Мальчики с восторгом неслись по лесу, каждую секунду предлагали Смиту достойную цель, призывая его стрелять. Но он хоть и держал ружье в руках, до сих пор не выстрелил ни разу.

— Неловко, — растерянно улыбнулся он ребятам. — То будет не охота — бойня... Какой богатый край!

Он прислушивался к каждому звуку и говорил с нежностью:

— Дикие гуси... А это зовут журавли.

— Кого?

— Наверно, отставшего. Или радуются знакомым местам.

Он показывал им следы волка, лисицы, дикого кабана... А на заячьи следы не стоило обращать внимания, потому что зайцы, как утки, то и дело выскакивали где-нибудь рядом и не очень-то пугались, с любопытством рассматривая охотников.

— Говорят, их тут раньше не ели, — усмехнулся Ларька. — Небось теперь едят.

— Хотите зайчатины? — спросил Смит. — А сумеете приготовить?

Ребята переглянулись, но даже Аркашка не решился брякнуть, что справится с таким делом...

Тут было словно другое царство, не человечесьё, а утиное, журавлиное, заячьё, может, и волчьё. И хотя мальчишки совсем не разбирались ни в следах, ни в звуках, им вдруг показалось, что здесь все понятнее, чем у людей. А Майкл негромко пояснил:

— Это лапа лисицы. Смотрите, какой свежий след. Тут она кралась, а тут прыгнула! Рядом — лапа утки. Похоже, лисица позавтракала утятинкой...

Потом он предложил Ларьке попробовать дойти с завязанными глазами до старой сосны, стоявшей отдельно, на пригорке.

— Чего тут идти? — усмехнулся Ларька. — Шагов шестьдесят, ну, семьдесят...

— Если дойдете, — вежливо сказал Смит, — отдаю вам на целый день ружье, будете охотиться, как хотите...

— Давайте лучше я! — огорчился Аркашка.

— Потом — вы.

— Потом не будет, — весело сказал Ларька, и с завязанными глазами зашагал прямо к сосне.

Он шел уверенно, высоко поднимая ноги, и Аркашка сердито думал, что опять повезло Ларьке, а не ему. Но тут начало твориться что-то непонятное. Ни с того ни с сего Ларька стал загребать вправо. Аркашка, недоумевая, взглянул на Смита. Тот жестом велел молчать. А Ларька, посвистывая, уверенно шагал вперед, и все дальше уходил от сосны. Наверно, он считал шаги, потому что, отмерив шагов полтора, стал идти потише... Тогда Майкл сказал:

— Снимите повязку!

Ларька сорвал повязку и обалдел. Он стоял совсем недалеко от Майкла и Аркашки, спиной к сосне. Двигаясь, он описал почти полный круг.

— Дайте я! — немедленно потребовал Аркашка.

Он заранее торжествовал. Наконец-то утрет Ларьке нос. Пошел не спеша, вразвалочку, совсем не чувствуя, что так же, как и Ларька, отклоняется вправо...

Смит объяснил расстроенным мальчикам, что так получается у всех людей, кроме тех, кто научился ориентироваться в темноте.

— А вы умеете? — тотчас спросил Ларька.

Смит молча протянул ему шарф, чтобы завязать глаза. Ребята тщательно, сложив шарф в четыре слоя, завязали, проверили, нет ли щелок, велели опустить руки и не поднимать.

Но все равно, не сбиваясь ни на шаг в сторону, Майкл прямо подошел к сосне и положил ладонь на ее шершавый, мокрый ствол.

Конечно, и Аркашка и Ларька захотели немедленно научиться.

— Это умеют все разведчики,— кивнул Майкл.

Ларька и Аркашка быстро переглянулись.

— Какие разведчики? — спросил Аркашка.

— Скауты,— торжественно произнес Майкл.— Разведчик — по-английски скаут, забыли?

— Ах, скауты...— с откровенным презрением протянул Ларька.

Ему тотчас припомнился тот самый дом, рядом с дворницкой, где чуть не все мальчишки из приличных семейств были скаутами.

Но Смит ничего не заметил. Неожиданно он сказал:

— Через месяц мы все выезжаем на озеро Тургояк. Будем жить дикарями. Потребуется ваша помощь.

Услышав, что опять куда-то ехать, ребята поежились. Ларька, не глядя на Смита, спросил:

— Далеко ехать?

— Километров за семьсот.

Они совсем пригорюнились. Смит улыбнулся:

— Но на запад! Ближе к дому! — и, останавливая все их вопросы, добавил: — Сейчас я все-таки подстрелю зайца. Мы попробуем его зажарить... Тогда и поговорим.

Но разговора не вышло. Они не понимали друг друга. Смит сердился, требовал послушания, хвастал своим опытом, знаниями... А Ларька жалел только об одном: со Смитом ему не справиться...

## 23

В Петропавловске несколько приоделись и учителя. Только Николай Иванович по-старому ходил в солдатской шинели и потрепанном картузе. С этого все и началось.

Шинель и фуражка его пока устраивали, но с обувью надо было что-то предпринимать. Сапоги окончательно сдали, прохудились не только подметки, но и верх. Николай Иванович долго терпел, потому что процедура любой покупки была для него мучением. Тут же следовало идти даже не в магазин, ибо в магазинах было пусто, а на рынок, прицениваться, торговаться, к чему Николай Иванович питал глубочайшее омерзение... Все-таки пришлось идти.

Он выбрал самый отдаленный, привокзальный рынок, надеясь, что здесь его никто не увидит за столь неблагоприятным занятием, как приобретение пары поношенных штиблет.

Рынок встретил Николая Ивановича несуразным галдежом; какие-то фигуры хватали друг друга за руки, за полы, что-то показывали, убеждали; все толкались; почему-то большая часть торговли проходила не в открытую, а из-под полы; ничего нельзя было понять... Но кое-где в этой сутолоке мелькали ботинки и даже сапоги. Николай Иванович начал приглядываться, смущенно про себя усмехаясь: представилось, что и у него взгляд стал хищный...

Если бы он был одет поприличнее и носил форменную учительскую фуражку, его, конечно, разглядели бы издалека. Но Николай Иванович до того слился с серой, замурзанной базарной толпой, что стал прямо-таки невидимкой, и в таком виде неожиданно напоролся на двух мальчиков-колонистов. Николай Иванович знал их мало, они были не то из второго, не то из третьего эшелона, кажется, москвичи. Эти два мальчика торговали американскими сигаретами.

Мальчики должны были быть на занятиях, но угнетало Николая Ивановича не это, а чувство стыда. В колонии началось воровство, сигареты были явно краденые...

Первым движением его было схватить их за руки, но он решил посмотреть, что будет дальше. Такие сигареты стоили сорок копеек пачка. Только их нигде не было. Мальчики торговали поштучно, каждая сигарета — гривенник. В пачке — двадцать штук, чистый доход — рубль шестьдесят. Торговля шла очень бойко...

Николай Иванович подошел и молча протянул двугриженный. Ближний к нему мальчик замешкался, откры-

вая новую пачку, но другой узнал учителя, толкнул напарника, и они привычно юркнули в толпу с такой быстротой, что рука Николая Ивановича с двугривенным не успела даже опуститься...

Ни о какой обуви Николай Иванович не мог теперь думать и побежал на окраину, в усадьбу, где размещалась колония... Но по дороге передумал и свернул еще на один рынок. Там ему удалось увидеть более странную картину.

С десятков незнакомых Николаю Ивановичу беспризорников толклись в грязном проходе между рыночной фотографией и лавкой, где торговали иконками, крестиками и прочей церковной «снастью». Среди беспризорников, на ящике, вроде тех, с какими ходят чистильщики обуви, сидел отлично известный Николаю Ивановичу Ростик Гмыря и принимал от мальчишек деньги. Он был так занят и увлечен пересчетом, что Николаю Ивановичу удалось подойти ближе... Сунув деньги за пазуху, Гмыря присел около ящика и, подзывая одного беспризорника за другим, отсчитывал каждому по пять пачек тех же американских сигарет.

В этот момент Николая Ивановича заметили.

— Шухер! — взвизгнул кто-то из беспризорников.

Гмыря, подхватив ящик, явно хотел смыться, но Николай Иванович его окликнул:

— Гмыря, бессмысленно.

Разговор с ним, впрочем, ничего не дал. Ростик все начисто отрицал. Никаких сигарет он не видел. В доказательство он потряс пустым ящиком. Беспризорники хотели отнять у него этот ящик. Спасибо Николаю Ивановичу, что подошел, выручил. Ящик Гмыря купил за свои кровные, чтобы научиться хоть чистить людям ботинки и зарабатывать на пропитание, не вечно же сидеть у американцев на шее. Врал Ростик вдохновенно, без запинок, давал возможность его пожалеть и почувствовать, какой он патриот... Николай Иванович попробовал внушить Гмыре моральные прописи на тему «не укради», но сразу понял, что от морали Гмыря начинает только дремать... Тогда Николай Иванович сменил пластинку.

— Сигареты американские, — сказал он, сжимая кулаки от беспомощной ярости. — Краденные у американцев. Ты подумал, что будет? Вас всех выгонят! Пойдешь проситься к тем же беспризорникам, а они тебе по шее!

— Я воровал? — занял Ростик. — Докажите. Как что, так Гмыря виноват...

— Не притворяйся, негодяй! — не выдержал Николай Иванович, хватая Ростика за плечо. — Топишь нас в грязи перед американцами.

— Вы чего деретесь? — захныкал Ростик. — Ну, бейте, если ваша сила, Гмырю все бьют, Гмыря все выдержит...

— В колонию не смей возвращаться! — пригрозил Николай Иванович, мучаясь сознанием своего бессилия. — Выгоню...

Ему показалось, что Гмыря заплакал, и Николай Иванович пожалел, что был слишком горяч. Но когда учитель ушел, Ростик плюнул ему вслед с крайним пренебрежением: «Выгнал один такой...» — и свистнул своим рабам. Беспризорники один за другим сползлись, волоча Ростика новую вырубку.

Трое отчитались благополучно, на четвертого Ростик поднял злые глаза:

— Шестьдесят копеек затырил?

— У меня Кривой отнял...

Кривой был грозой рынка, бандит. Но Ростик почему-то и его не испугался.

— Стань в сторону, — сказал он провинившемуся.

Через несколько минут кара настигла еще одного беспризорника. У него недоставало всего пятиалтынного, и мальчишка божился, что быть такого не может, выворачивал шапку, лохмотья, но пятнадцати копеек найти не мог.

— Стань в сторону, — велел и ему Ростик.

— Прости на первый раз, я отработаю, — молил мальчик, но Ростик молча повел глазами, и бедняга ему повиновался, тем более что подталкивали другие, счастливые.

Когда прием денег был закончен, Ростик поднялся, не спеша подошел к своим должникам, ухватил обоих за волосы и с силой ударил лицом о лицо. У обоих потекла кровь.

— Бей, — приказал он.

Ошалев от боли, мальчишки принялись лупить друг друга, все более стервенея. Остальные плясали вокруг, подзадоривая:

— Дай ему, Дрын!

— Чинарик, врежь ему по сопатке!

Они катались по мокрой грязи, норовя ухватить камень, срывая ногти, а Ростик стоял над ними, как бог, и наслаждался.

Потом он устроил общую свалку, бросая беспризорникам пятаки и гривенники. Они пытались их ловить, сталкивались, падали и, перемазавшись соплями, грязью, кровью, становились совсем страшилищами, не похожими на людей. Но Ростику это нравилось, и, прекращая развлечение — жалко было пятаки и гривенники, он хмурился...

Потихоньку от американцев, со стыдом, отвращением, растерянностью, Николай Иванович пытался узнать у Ростика и тех двоих, с привокзального рынка, откуда они берут сигареты.

Мальчишки в один голос утверждали, что сигареты им дал солдат.

— Какой солдат?

— Тоший такой, высокий, в шинели, — наперебой объясняли Ростик и его дружки, не глядя на Николая Ивановича, но нагло описывая его приметы. — С бородкой, усами, бледный, глаза красные, в картузе...

Он переговорил с ключницей, у которой в складе хранились несколько десятков пачек сигарет для курящих учителей, но все пачки были целы.

Между тем эта грязная спекуляция привлекала ребят. Одних — возможностью занять наконец свои деньги. Других — тайной, опасностью. А для некоторых, как узнала Катя, не было никакой спекуляции, а было испытание воли. Кто проводил это испытание? Кто упорно превращал ребят в мелких жуликов, в копеечных бизнесменов?

Судя по многим признакам, даже Миша Дудин попал в эту историю. Он куда-то исчезал и не говорил Аркашке. Иногда он появлялся грязный, заплаканный, но яростно отрицал, что плакал. Иногда вызываясь позвякивал в кармане серебром, но ни Аркашка, ни Ларька, даже Катя не замечали...

Однажды утром, проснувшись, Аркашка нашел на своей кровати широкий солдатский кожаный ремень, о котором давно мечтал. Кто был в комнате, спрыгнули с кроватей рассматривать ремень, один Ларька не подошел.

— Мишка? — спросил Аркадий. Ларька кивнул...



Тогда, отобрав у восхищенных ребят ремень, Аркашка разыскал Мишу.

— Что мне, выдрать тебя этим ремнем? — спросил он вполне серьезно.

Миша молча смотрел на Аркашку. Раз Аркашка говорит — все правильно. И он приготовился к выволочке, хоть и не знал, за что.

— Где ты его взял?

— Купил...

— За сколько?

— За тридцать рублей...

— Чего-о? — ахнул Аркашка. Тридцать рублей были немалые деньги. — Откуда они у тебя?

— Заработал... Выдержал испытание!

— Какое еще испытание?

— На силу воли и верность!

— Ростик вас испытывает?

— Ростик! Ты что! Стал бы я с ним вязаться!

— А кто?

Но Миша только пожал плечами. Он густо покраснел, объясняя, что сказать не может.

— И так наболтал, — проговорил он уныло. — Теперь с меня штраф...

— За что?

— Болтун — находка для шпионов...

Впервые в жизни Миша темнил с Аркашкой. Раздосадованный Аркашка сказал:

— Все! Не нужен мне такой адъютант!

Миша потупился.

— Все! Снимаю тебя!

У Миши задрожали губы и лицо стало совсем жалкое.

— Катись!

У Миши показались на глазах слезы, и он убежал.

— Понял, откуда ветер дует? — спросил Ларька.

— А то! — со злостью кивнул Аркашка.

Тут же решили взять это загадочное дело в свои руки. Установили непрерывное, круглосуточное наблюдение. После ужина стали поступать со всех постов сигналы:

— Вышел из учительской.

— Навестил Круков.

— Зашел в кладовую.

— Направился к прачечной.

- Прошел мимо.
  - В прачечную вошли Ростик и двое новеньких.
  - Шесть человек вошли в прачечную.
  - Еще одиннадцать человек скрылись в прачечной.
  - Внимание! В прачечную прошел Миша Дудин.
- И спустя две минуты дал сигнал Гусинский:
- Он — в прачечной.

Ларька скользнул во двор, Аркашка за ним. Третьей пошла Катя.

Серый, небольшой домик, где помещалась прачечная, стоял на отшибе, у самой ограды.

К домику подошла Катя. Она несла небольшой узелок с бельем. Девочки ходили стирать сами. Катя протянула руку к двери, но тут из-за угла вышел незнакомый мальчишка и посоветовал:

- А ну, мотай отсюда.

Больше он ничего не успел сказать, потому что лежал на земле, а на нем сидели неизвестно откуда появившиеся Ларька и Аркашка.

Аркашка держал стража за горло и на всякий случай выяснял:

- Жить хочешь?

Парень кашлял и тарашил глаза, давая понять, что предпочитает еще пожить хоть немного.

— Говори шепотом, но быстро,— велел Ларька.— Там чего?

- Суд...— прохрипел парень.— Мишку судят...

Ларька поднял руку. Через минуту около прачечной бесшумно возникли пятьдесят ребят, ударная сила красных разведчиков.

Велев всем не двигаться, Аркашка подобрался к единственному окну прачечной.

Прежде всего он увидел того, кого и думал увидеть,— Майкла Смита. Смит держал Мишу за руку и зло допрашивал. Миша мотал головой. Остальные стояли вдоль стены, боком к Аркашке, и напряженно следили. Аркашка не понимал, что там происходит, потому что ничего не слышал.

Между тем Смит шипел на Мишу:

- Ты трус!

При этом он все сильнее сжимал Мишину ладонь, ожидая, когда он вззоет. Смит учил преодолевать боль...



— Я не трус,— возразил Миша.

Он не смотрел на Смита, и лицо у него оставалось безразличным, как будто он ничего не чувствовал.

— Из тебя еще можно сделать человека.— Смит хотя выпустил Мишину ладонь. Миша только пошевелил пальцами...— Стань на колени.

Он сказал это будто между прочим. Но Миша даже пальцами перестал шевелить и ответил очень серьезно:

— Мы теперь на колени не становимся.

— Кто это «мы»?

— Мы, ребята.— И, шумно выдохнув испуг, который где-то застрял, решительно добавил: — Красные разведчики.

— Какой ты красный,— влез Ростик,— ты спекулянт с черного рынка. Тебя Аркашка прогнал.

— А мы тебя берем,— строго сказал Смит.— Подаем руку помощи. Но и ты будь нам верен.— Глаза у него заблестели, стали еще жестче. Миша невольно отвернулся.— Смотри мне в глаза! На колени! Клянись на верность!

Но Миша упрямо покачал головой:

— Красные разведчики на колени не становятся...

Тогда Смит дернул Мишу к себе, размахнувшись, дал ему пощечину и падающего толкнул так, что Миша рухнул на колени. Он попытался вскочить, но Смит не давал...

В ту же секунду Аркашка разбил кулаком окно и затряс в образовавшуюся дыру окровавленным кулаком:

— Бей гадов!

Но Смит, выпустив Мишу, глядел почему-то не на Аркашку, а на дверь. Туда лавиной вваливались ребята. Впереди медленно двигался Ларька. Он шел на Смита, молча скалясь...

— Как вы смеете! — крикнул Смит.— Скауты, ко мне!

Красные разведчики окружали Смита, и никто не двинулся ему на помощь.

— Назад! — закричал Смит, но его окружили еще теснее. Он попробовал пробиться сквозь толпу, но завяз. Глаза у него забегали, как у Валерия Митрофановича.

— Пошли! — приказал ему Ларька.

Они доставили его к Крукам.

По дороге Смит, посмеиваясь, объяснял, что они ничего не понимают, никаких разведчиков, ни красных, ни черных,

из них не получится, потому что они полностью лишены важнейшего качества — беспрекословного повиновения. И спекуляцию сигаретами Смит проводил вроде бы для того, чтобы испытать молодых скаутов — их послушание, силу воли, умение преодолевать страх и боль (если поймают и побьют...).

— А зачем отбирали всю выручку? — поинтересовался кто-то из незадачливых скаутов.

— Разведчику, — поучительно изрек Смит, — не нужно ничего, кроме победы и славы!

— Это он тебя купил на такую дешевку? — сердито спросил Аркашка у Миши.

Никто из ребят никогда не узнал, о чем беседовали Круки со Смитом... Но победа красных разведчиков была Смицу очень неприятна...

## 24

За окном на все еще голой ветке прыгал, подрагивая хвостиком, воробей. Миша грустно смотрел на него. Воробья было жалко. Все-таки Миша жил в доме, в тепле. А у воробья аж перья встают дыбарем на ветру, и клюет он какую-то чепуху. У него нет ни суконных брюк навыпуск, ни начищенных до блеска башмаков. Вон лапы-то голые. Небось замерзли...

Жалея воробья, Миша как-то одновременно жалел и себя. Пока воробей прыгал один, его ничего не стоило приметить. Он быстро поглядывал на Мишу, тут же делая вид, будто ему до этого мальчишки и дела нет. Но как только налетала стая воробьев, невозможно становилось разобрать, где какой. Стая все-таки не семья. У воробьев, наверно, вообще нет семьи. Вон как дерутся! Кто у воробья отец, кто мать? Он и сам не знает. Тут Мише стало как-то очень не по себе. А что, если и он когда-нибудь забудет маму, а она его? Нет, этого не может быть...

Как ни странно, в Петропавловске все стало сложнее. Если раньше командовал желудок и так требовал свое, что ни до чего другого и дела не было, то теперь желудок молчал, но в голове забродили какие-то неотвязные мысли, ныло сердце... Что же все-таки с ними будет?

С перепиской у Круков ничего не вышло. Авторитет их

несколько потускнел, но в то же время они стали словно ближе. Выходило, что и могучие Круки могут быть беспомощными.

Катя, узнав, что писем не будет, повесила голову, как и все. Так надеялась получить хоть несколько строк, узнать, что все там живы. Больше ничего не надо — только что живы...

Прижимаясь к ней, Тося не то жаловалась, не то спрашивала:

— Тут ведь тоже Россия, правда?

— Сибирь...

— Ну и что? Ведь все равно Россия?

— Конечно...

— Ну и не похоже вовсе! Какая же это Россия, когда все чужие! И мы теперь совсем покинутые, бесприютные, обездоленные. Ничего у нас нет... Нищие. Выходит, мы теперь тоже красные! Все эти белые господа нас ненавидят...

— Какая ты красная? Ты просто красивая.

— Фу, как тебе не стыдно, — обиделась Тося, слегка отодвигаясь. — Красивая в этой кофточке? В этой жалкой юбке? В этих чудовищных ботинках? — Она посмотрела на свои ноги, и на глазах у нее навернулись слезы, а хорошенькое личико сморщилось от горькой обиды и почему-то стало смешным. — Разве я раньше так одевалась?..

Катя покачивала ее за плечи, как ребеночка, утешала:

— Что же теперь делать. Может, у наших и того нет.

— Может, их самих нет, — рассердилась Тося. — А мне всю жизнь ходить замарашкой?

Оставив Тосю, обхватив колени, Катя скорчилась, глядя Тосе в глаза и словно не видя ее:

— Если мои умерли, уйду в монастырь.

— Все еще молиться охота? — прищурилась Тося. — Не надоело? А как же твой Ларька? Товарищ Ручкин?

— Почему он мой?

— Мой, что ли? Не дрейфь, он тебя посадит на коня и даст в руки красное знамя...

Они никогда не ругались, потому что Катя отмалчивалась, когда Тося говорила что-нибудь несуразное или обидное. Помолчат и снова стрекочут, дружат вроде. Хотя говорить с Тосей о чем-нибудь серьезном Кате и в голову не приходило.

Да, это Тося первая обратила внимание на то, как они одеты. До чего неизяшно и вульгарно. Как мучительно носить такие отрепья. До Тосиного открытия жили хоть в этом отношении спокойно. («Как дикари!» — возмущалась Тося.) Но теперь все приглядывались, кто как одет, и эта неисчерпаемая тема стала одной из ведущих и очень горьких, по крайней мере для девочек...

Даже день рождения Миши Дудина прошел в минорных тонах. Ему исполнилось двенадцать лет. И хотя в этот день его ждали отличные подарки — и от Круков, и от Смита, и от Николая Ивановича, даже от Валерия Митрофановича (николаевский серебряный рубль с курносым царем!) — и ребята в честь Мишкиного дня рождения устроили живые картины по балладе А. К. Толстого «Василий Шибанов», причем Аркашка играл Ивана Грозного, а Ларька самого Шибанова, — все-таки невольно, само собой, хотя никто этого не хотел, вспоминался родной дом и думалось, как бы там праздновали день рождения...

Уже пахло весной, все чаще голубело молодое небо, задорный ветер прилетал теперь из теплых стран, наверно прямым ходом из тропиков; и однажды мальчишки узнали, что Катя подбила девчонок следить, когда раскроются первые почки. Она уверяла, что этого рождения листьев не удавалось видеть еще никому. Наверно, потому, что листья раскрываются на рассвете, когда все спят.

— А ты почему знаешь? — спорили с ней. — Может, вечером? Или ночью?

— Нет, — уверяла Катя. — Они должны видеть, как получилось... Им самим интересно...

Первые дежурные выбрались после отбоя ко сну и сторожили у берез, пока на них не наткнулись Николай Иванович и Смит и не загнали в спальни. Аркашка и Миша потом еще долго не спали, сговариваясь, что выберутся после полуночи...

— А как ты узнаешь? — спросил Миша.

Часов ни у кого не было, но у Аркашки имелся компас, подаренный ему Смитом. Теперь Аркашка вытащил компас из-под подушки и показал Мише. Тот ахнул, думая, что это часы, но потом разглядел:

— Так это ж компас...

— Вот именно. Сейчас Луна прибывает, — шептал Ар-

кашка.— Ориентируем компас буквой «С» на Луну... Отсчитываем градусы от северного конца магнитной стрелки до этого направления...

Миша слушал, но понимал туго.

— Это и есть интересующее нас время — двадцать четыре часа, то есть двенадцать ночи! — торжественно закончил Аркашка. И тут же, словно не очень уверенный, что все так получится, добавил: — А можно — по соловью. Слыхал, тут у нас под окном соловей? Они просыпаются ровно в час ночи... Примета.

Какое-то время ребята подбадривали друг друга, а потом заснули. Ларька, лежавший по соседству, посмеивался над ними, а там, похоже, и сам заснул. Но когда небо начало светлеть, он осторожно поднял голову, осмотрелся, встал. Покосился иронически на Аркашку. И, бесшумно открыв окно, вылез на волю. Окно аккуратно затворил.

Его прохватила утренняя свежесть, стало зябко. Но он тотчас забыл об этом. В десятке шагов, у молодой березы, наклонившейся над забором, стояла Катя... Когда Ларька неслышно подошел, она, не глядя, словно зная, что он тут, сказала:

— Опоздали...

У него заколотилось сердце. Хорошо, что она не поворачивалась, стояла спиной... От березы шел едва уловимый нежный запах. На зарозовевшем небе она светилась, как зеленый фонарь. Блестящие, влажные, клейкие листочки сотнями зеленых глаз искали солнце...

А Катя кому-то шепотом говорила:

— Она мама, понимаешь? Родила все эти листочки и так им рада.

Только сейчас Ларька разглядел, что тут же рядом, обнимая березу за тонкий ствол, стояла заспанная Тося. Ей было скучно, хотя из вежливости она трогала пальцами нежные листочки. Но, увидев Ларьку, Тося сразу оживилась, захихикала, затормозила Катю. Смеющимися глазами поглядывая на Ларьку, Тося уверяла, что она же ничего не знала, что Кате следовало ее предупредить, что она сейчас уйдет...

Даже береза будто потемнела. Катя и Ларька смотрели друг на друга, им было грустно и чего-то жаль. Как будто листья раскрывались для них и кто-то это отнял. Катя



взглянула на березу и пошла в корпус. Тося, хохоча, бежала за ней и, оглядываясь, дразнила Ларьку:

— Какой же вы кавалер!

А он еще мечтал вернуть Кате черную матросскую ленточку и надеялся, что она ее примет.

Через несколько дней наступила суровая пора экзаменов. Тут было не до листочков. Старшие переходили в седьмой класс, Миша — в пятый.

Аркашка нахватал троек, хотя по английскому языку и по литературе получил твердые пятерки. Тося, Канатьев и еще несколько человек тоже понервничали, выехав в основном на троечках. Только Ростик начисто завалил три предмета. Переэкзаменовки разрешались всего по двум, и Валерий Митрофанович потребовал, чтобы Ростика исключили.

— Куда же мы его исключим? — недоумевал Николай Иванович.

— Инструкции существуют, чтобы их выполнять! — горячился Валерий Митрофанович. — Мы не имеем права нарушать инструкции! Мы педагоги, а не анархисты!

По слезному ходатайству Джеральда Крука Ростика все-таки разрешили переэкзаменовки, чем он был очень опечален.

Круки присутствовали на нескольких экзаменах, а Майкл Смит — на всех. Он не задал ни одного вопроса. Сидел, слушал, что-то отмечал в записной книжке. Сначала на него оглядывались с недоумением, потом перестали замечать.

Едва свалили экзамены, как надо было готовиться к выезду на все лето в лагерь на озеро Тургояк.

Выходило, что Круки опять были правы. Ведь еще когда выезжали из приюта в Петропавловск, они обещали, что этим летом ребята вернутся домой, в Москву и Петроград... И вот теперь, как заявили Круки, Смит и даже Николай Иванович, армии Колчака решительно продвигались к Москве и Петрограду, большевики ничего не могли поделать...

— На летней ферме у озера Тургояк соберется более пятисот детей, — сказала миссис Крук. — Возможно, удастся привезти туда и тех малышей, с которыми вы расстались в приюте. — Общее оживление, робкие апло-

дисменты.— Мы надеемся, что новый учебный год все вы встретите уже дома, в своих школах...

Стоило только произнести громко это слово — «дома», дать хоть крохотную надежду, как чудесный ток подстегивал этих исстрадавшихся ребят. У самых равнодушных вспыхивали глаза, расцветали улыбки.

И все сидение на озере Тургояк, несмотря на индейские и ковбойские штуки Смита, проходило в нетерпеливом ожидании: когда же? когда?

Не приезжали малыши, никто из приюта не показывался, хотя до него не было и ста верст. Это как-то настораживало. Что случилось? Значит, что-то произошло нехорошее? Что? Неужели это задержит возвращение домой?

Валерий Митрофанович втихомолку агитировал за то, чтобы не торопиться. Его вполне устраивала тихая и сытная жизнь за спиной американцев. Это было как раз то, о чем он мечтал когда-то в Питере. Зачем же туда возвращаться, в хаос, когда здесь детям хорошо?

Пробовали его не слушать: смеялись, потом огрызались все резче — ведь он мог спугнуть удачу... Верили в любые приметы. Наконец Валерию Митрофановичу устроили темную.

— Ну, ты, зануда,— важно произнес Ростик, возвышаясь над поверженным Валерием Митрофановичем, с головы до пояса упрятым в мешок из-под картошки.— Будешь еще вякать, чтобы домой не ехать?

— Честное благородное слово, не буду,— поспешно заверил Валерий Митрофанович.

— Клянешься?

— Клянусь всем святым!

— Гляди, скажешь слово — утопим...

На том и договорились. Несколько дней Валерий Митрофанович испуганно помалкивал.

Ларька и его друзья держались в стороне и от восторгов и от тревог. Все они, даже Аркашка, вели себя послушно, незаметно. Майклу Смигу где-то удалось раздобыть форму скаутов — баденпауэлловские шляпы, полувоенные рубашки. Аркашка, Гусинский и Катя отказались было от этих нарядов. Ларька их отругал:

— В его дурацких шляпах и пойдем! Пусть думают, что скауты.

В последних числах июня из лагеря исчезли четырна-

дцать человек — одиннадцать мальчиков и три девочки. Это все были самые верные Ларькины друзья, скрылся и Миша Дудин. Они ничего не знали о том, что в Поволжье и на Урале произошли великие перемены. Но исключительно удачно выбрали момент для бегства. Стремились они, конечно, на запад, домой...

Смит вызвался разыскать и вернуть беглецов.

Долго думали, как быть. Николай Иванович отмалчивался. В глубине души он надеялся, что побег удастся, ребята проберутся к красным... Валерий Митрофанович решительно советовал плюнуть.

— Да, плюнуть! — повторял он. — Неужели вы будете еще их искать, кланяться этим неблагодарным свиньям? Ведь они сбежали к большевикам!

Круки переглянулись, и, повинуясь сигналу своей жены, мистер Крук сказал Смиты:

— Вы знаете обстановку... Ждем вас трое суток. Возьмите лучшую лошадь.

К вечеру на третьи сутки Майкл Смит привел всех беглецов. И тут же стало известно, что наутро лагерь у озера Тургойк спешно сворачивается, все опять едут в Петропавловск. Это вместо возвращения домой!.. В ту ночь никто не спал.

## 25

Утром в лагере появились листовки. Они были написаны большими печатными буквами, не поймешь, кто писал. Но все осторожно посматривали на Ларьку, потому что листовки призывали: «Даешь Питер!», «Даешь домой!», «Ни шагу назад!», «Все на митинг!» Их было не меньше ста штук.

Одновременно стало известно, что колчаковцы бегут, Красная Армия преследует их по пятам.

Еще до митинга произошло несколько коротких, но кровопролитных стычек. Смит доложил Крукам:

— Ручкин, он же Ларька, поколотил Гольцова. Гмыре, иначе Ростуку, досталось от Колчина — Аркашки. Дрались Гусинский, Канатьев и еще несколько человек, даже Миша Дудин. Я называю победителей.

Миссис Крук возмущенно воздела руки:

— Боже мой, что это на них нашло?

— Когда стало известно, что теперь отступают белые, а наступают красные, многие чему-то обрадовались...— Смит пожал плечами.— А Гольцов сказал: «Когда это кончится! Неужели они не могут разобраться, кто сильнее, и выпустить нас отсюда?..» На что Ларька выругался, прокрипел: «Там люди жизнь отдают...» и вlepил Гольцову оплеуху. Началась потасовка, вернее, избиение, потому что Гольцов,— пренебрежительно заметил Смит,— оказался неспособным к хорошей драке.

— А Миша Дудин?

— То же самое. Кто-то из мальчиков заныл, что потом побегут красные, так и будут бегать до бесконечности... Ну, Миша ему и врезал.

— Как — врезал?

— Ну, кулаком... У него неплохой удар. Противник был выше на голову, но в драке решает злость.

— Откуда у такого Миши злость? — спросил мистер Крук.

— Можно подумать, что они за большевиков! — усмехнулась миссис Крук.

— Надеюсь, все проще,— сказал Смит и положил перед Круками несколько листовок ребят.— Все крайне огорчены, что опять не попадут домой...

Пока Круки, расстроенные, изучали листовки, Смит осторожно спросил:

— Вам еще не удалось заглянуть в моего Киплинга?

Миссис Крук в гневе стукнула кулаком:

— Что вы пристаёте с вашим Киплингом!..

Еще взбурдаженные недавним бегством, вынужденным возвращением со Смитом, победными схватками в лагере, Ларька, Гусинский, Аркашка, Катя выступали перед сбежавшими на берег озера сотнями ребят. Они говорили примерно одно и то же:

— Мы были в каких-нибудь тридцати километрах от фронта! Если бы не Смит, может, сейчас ехали бы домой! Мы слышали, как бьют наши пушки! Белые бегут, как зайцы! А нам — куда бежать? Опять в Петропавловск? За семьсот километров? Зачем? Что мы там не видели? Остаемся здесь! Отсюда — ни шагу! Дождемся своих! Всего день ждать! Ну, два, от силы! И мы — со своими. Они пошлют нас домой!.. Неужели опять откатываться

в Сибирь, к бенякам? Куда эти американцы нас тащат?

Мысль, что их отделяет от возможности попасть домой такое расстояние, которое вообще-то можно свободно за день пройти пешком, что даже и идти не надо, а надо только сидеть здесь, никуда не двигаться, и Красная Армия придет за ними,— была так неожиданна и так понятна, убедительна, что за нее ухватились все. Невыносимо было даже подумать о том, чтобы снова грузиться в опостылевшие теплушки, чтобы ехать дальше от дома! Дальше от дома, хотя до него можно было ну прямо дотянуться рукой...

И они исступленно, во весь голос, повторяли то, что кричали им Ларька, Аркашка и другие:

— Ни шагу назад! Мы остаемся!

Перед ними появлялись преподаватели, каждый старался отыскать и как-то уговорить свой класс. Но никому из них не давали и рта раскрыть. Раскачиваясь, глядя мимо, орали одно:

— Мы остаемся! Никуда не поедem!

Вышли Круки, сначала великолепный, снисходительный, несколько удивленный Джеральд. Кто-то свистнул, и мгновенно засвистели все, даже девчонки, за которыми никто и не подозревал таких талантов. Под этот яростный свист Джеральд улыбался до милых ямочек на тяжелых щеках, благодарно прижимал к широкой груди ладони, даже раскланивался... Только потом ребята узнали, что свист у американцев обозначает одобрение, а вовсе не «долой!», как у русских. Впрочем, и Джеральду не дали говорить, и он, обиженный, отступил. Вскочила разгневанная миссис Крук. Хотя из-за дикого гвалта не слышно было, что она там говорит, все равно миссис Крук не отступила и произнесла, наверно, очень грозную речь. Почти все время она не сводила негодующих глаз с Кати. Надеюсь, конечно, на ее поддержку. Но Катя, не опуская потемневших глаз, дирижировала хором, который вопил: «Домой! Ни шагу назад!» — и сама с вызовом кричала...

Даже Николаю Ивановичу не позволили говорить. Ему закричали:

— Николай Иванович, домой! Вы с нами! Ни шагу назад!

И он промолчал.

Но тут раздался выстрел. За ним другой, как щелчок

бича. Стрелял Смит... Надо сказать, что выстрелил он вовремя. Все на мгновение притихли. И услышали гиканье, мат, глухой топот десятков копыт...

Почти весь июнь солнце светило и жгло так, что высушило последние лужи в лесных оврагах, и, словно спасаясь от жары, у сосен вылезли на поверхность змеиные кольца корней. С холма, от этих могучих янтарных сосен, державших на зеленых шапках синее небо, накатывались на дремлющее озеро храпящие, в пене и мыле, лошади, и на них злые, пропотевшие, со стеклянными, невидящими глазами всадники...

Когда они врезались в толпу ребят, Катя и Володя одновременно узнали одного из всадников. Это был Фома Кузьмич, их хозяин, деревенский трактирщик. Он не смотрел на ребят, да, похоже, не узнал бы сейчас даже родной трактир. Глаза у него выкатились, плечи ходили ходуном, будто все время дрожали, а он пытался унять дрожь и не мог. И другие выглядели не лучше.

У них были воспаленные и до предела ожесточенные лица. Они скакали, не разбирая дороги, летели, как палые листья, сбитые бурей, и так же безумно врезались в собравшихся на берегу ребят... Кто-то успел вывернуться, кого-то огрели нагайкой, двух девочек потоптали лошади...

Николай Иванович кинулся было что-то сделать, кого-то спасти. Его без смысла, в истерике, секанули шашкой... Даже американцы смотрели на всадников с испугом, не понимая, воинская это часть или банда. Только Смит не потерял присутствия духа.

Неведомо когда очутившись на лошади, он скакал рядом с офицером и что-то ему объяснял. Постепенно сумасшедший бег отряда замедлился... Потом узнали, что этот отряд, посланный в Златоуст, куда приближались красные, был до паники напуган выстрелами. Смит сказал, что стрелял он, обучая своих скаутов, что здесь колония американского Красного Креста...

Отряд остановился. Ни офицера, ни казаков нисколько не беспокоили зарубленный Николай Иванович, несколько покалеченных детей...

— Как же, слышаны, — сквозь зубы цедил сотник. — Мечтали наши казаки понаведаться сюда... Красных гаденышей выкармливаете, господа американские союзники? Порубать всех под самый корень!

Но мистер Крук, миссис Крук и Смит поговорили с ним, и он, как волк перед медведем, огрызаясь и злобно рыча, отступил... Казаки выкупали лошадей и подняли со дна всю грязь там, где купались ребята; поскакали нарочно по огороду и парникам, разбивая и выворачивая все на пути; еще кого-то резанули нагайками...

Николая Ивановича давно перенесли в дом, и около него хлопотал врач... И хотя старичок врач хотел скрыть правду от ребят, все было ясно... Николай Иванович уже умер.

На его строгом лице осталось, наверно, навсегда выражение недоумения и жалости... Казалось, он пытался доискаться, какой смысл, какая логика в том, что его жизнь так нелепо оборвалась...

Невольно плакали, проходя мимо; ужасно жалко его было, и многие еще не пришли в себя от зверского налета. И как ни торопились Круки в Златоуст и в Петропавловск, боясь, что ребячий лагерь может оказаться в центре боевых действий, решено было торжественно похоронить Николая Ивановича, учителя физики Петроградской седьмой гимназии.

Ларька, Аркашка, Володя и другие старшие ребята выкопали ему могилу на холме, над озером, под высоченной сосной, где на самой верхушке, прорвавшейся в синее небо, пара аистов свила гнездо...

Нашлись доски, и Майкл Смит, который все умел делать, соорудил для Николая Ивановича последнее пристанище.

Был в лагере свой священник, но он еще накануне заблаговременно укатил в Златоуст... Повзрослевшие, суровые ребята молча подняли гроб с телом Николая Ивановича и понесли его от взбаламученного озера вверх, на солнечный, янтарный холм... И когда начали подниматься, Ларька тихо, тонко запел:

Наверх вы, товарищи, все по местам,  
Последний парад наступает!..  
Врагу не сдается наш гордый «Варяг»,  
Пошады никто не желает...

Весь лагерь, все пятьсот человек шагали по сухой, в соновых иглах и шишках последней тропе Николая Ивановича. И пели все громче, торжественней и задушевней...

— Что-нибудь церковное?..— тихо спросила миссис Крук.

— Русская боевая песня,— шепнул ей Смит.

И, соглашаясь, что это хорошо и правильно, Энн Крук стала подпевать вместе со своим мужем...

Когда гроб опускали в могилу и могучие корни старых сосен стали словно смыкаться над ним, Ларька широко взмахнул рукой... И над могилой, прощаясь с Николаем Ивановичем, взлетело кумачовое знамя краскома. Вокруг Ларьки стеной сомкнулись человек пятнадцать, не допуская никого к знамени. Но даже Смит не стал нарушать прощания...

Гибель Николая Ивановича, одиннадцать раненых ребят, трое тяжело — все это так подействовало, что большинство торопились теперь в Златоуст, в Петропавловск, только бы не оставаться здесь. Даже Ларька, столкнувшись лицом к лицу с озверевшими казаками, понял, как это непросто — остаться в зоне боев и уцелеть... С мальчишками еще можно было рискнуть. Вон до чего напуганы казаки: значит, наши рядом... Но девочки, Катя, Тося и другие, куда с ними?

Когда они добрались до вокзала в Златоусте, там царил паника. Толпы хорошо одетых людей, среди них и военные, пытались проникнуть на пути, к поездам... Их не пускали казаки с обнаженными шашками и пулеметчики. Плач, ругань, выстрелы...

Ребят провели через загаженную щель между высокими домами, довольно далеко от вокзала. Они вышли к своему эшелону. На теплушках видны были поблекшие красные кресты. Вдоль поезда протянулась цепь здоровенных американских солдат. Расставив ноги, с карабинами в руках, они равнодушно и сосредоточенно жевали свою резинку... Ребята проходили мимо понурясь, не глядя, до того им все осточертело...

И почти всю длинную дорогу до Петропавловска их на каждой станции встречали обезумевшие от страха толпы приличных и почтенных господ, что-то орущих, размахивающих руками, кого-то проклинающих... Доходили панические слухи о прорвавшихся рядом бронепоездах красных, о партизанах, которые и здесь и везде вырезают подряд всех белых, всех, «у кого чистые руки»...

В Петропавловске было сравнительно тихо. Город слов-



но затаился. Они промаршировали по пустынным улицам в свою усадьбу.

— Видал? — дернул Ларька Аркашку за рукав, когда они шли мимо знакомого дома священника, того самого, у которого они побили окна за его моления о ниспослании Колчаку побед. Теперь эти окна были наглухо заколочены. Семья священника куда-то бежала.

Вечером стало известно, что старшим преподавателем вместо Николая Ивановича теперь будет Валерий Митрофанович. Он сразу загордился этим назначением, старался держаться с достоинством и цедить слова, но его острый кошачий язычок то и дело беспокойно облизывал сухие, тонкие губы, а глазки тревожно бегали.

— Я прошу, господа, по всем вопросам обращаться лично ко мне,— начинал он важно. И тут же сбивался, уговаривая: — Вы не думайте, господа, со мной очень даже можно жить. Я вас отлично понимаю, я ведь, в сущности, хороший товарищ...

Его не слушали. Наплевать сейчас ребятам было на Валерия Митрофановича. Саднила мысль о бегстве с озера, о том, что еще немного, чуть-чуть, и они могли бы прорваться домой...

А наутро о Валерии Митрофановиче вообще забыли. Паника началась и в Петропавловске. Ни с того ни с сего! За сотни километров от фронта! Уже Смит и Валерий Митрофанович хозяйничали, собирая имущество. Ростик смотался на вокзал и клялся, что там опять стоят чертовы теплушки с красными крестами. Куда же теперь?..

Было не до шуток. Ехали молча, ожесточенные. Даже друг с другом почти не разговаривали. Старшим грубили, отказывались дежурить. Наказания не действовали. Расстроенный Валерий Митрофанович бегал шушукаться о чем-то со Смитом. Не обращали внимания на замечания миссис Крук. А дружелюбие мистера Крука, его широкая улыбка и гулкий хохот у одних, самых почтительных, вызывали только кривые улыбки; другие просто отворачивались. Тося чуть не в глаза мистеру Круку говорила, что ей за него стыдно...

Миша Дудин угрюмо допытывался:

— Что нас, на тот свет везут, что ли?

И доспрашивался до того, что Аркашка своей собственной рукой дал ему по затылку.

Миссис Крук распорядилась, чтобы несколько дней готовили особо вкусные обеды, например котлеты с подливкой и компот из сухих вишен. Но и к этому отнеслись с иронией, как к недостойной хитрости. Они во всем видели теперь обман.

Двери вагонов совсем не открывали, хотя пришло наконец настоящее лето. На него не хотели смотреть, на лето. Ни Володе Гольцову, никому другому не приходило в голову выскочить из ползущего поезда собирать цветы, радоваться солнцу, бабочкам...

Они перестали без нужды выглядывать из вагонов и на станциях, где поезд делал остановки. На первой же остановке, когда отодвинули двери, увидели на телеграфных столбах, в нескольких шагах, голые, раздувшиеся трупы повешенных. Пахнуло жутким зловонием. И у каждого повешенного, даже у мальчишки, в распоротый живот была засунута рыбина, торчал рыбий хвост... Это развлекались казаки атамана Калмыкова, лейб-гвардейцы Колчака, люди-звери. Потом несколько ночей все это виделось в кошмарах...

Начались загадочные события. Вдруг пропала Библия Круков, самая драгоценная для них вещь. На ребят это не произвело впечатления. Шумела и возмущалась одна Катя:

— Надо быть последней свиньей, чтобы так обидеть людей!

— Подумаешь,— презрительно вздернула носик Тося.

Когда же Ларька выразил надежду, что Круки как-нибудь не помрут без своей Библии, Катя едва опять с ним не поссорилась, остановило Катю лишь крайнее удивление, что ее не понимают...

В самом деле, кому нужна какая-то задрипанная Библия? Заодно ребята обижались и на бога. От него тоже не было никакого толку. Одно время, еще в приюте, имела хождение теория, что все испытания посланы им господом богом за их грехи. Находилось немало чудачков и чудачек, которые молились, надеясь облегчить свою участь. Но никому это не помогло. Теперь, на втором году своего путешествия, они растеряли даже ту поверхностную веру, которая когда-то теплилась.

День или два Круки крепились. По теории миссис Крук, которой, конечно, придерживался и Джеральд Крук,

никого нельзя было обижать подозрением. Тем более подозрением в воровстве.

На третий день Энн Крук не выдержала и решила потолковать с Ростиком. Несмотря на все свое благочестие, Круки теперь неплохо разбирались в ребятах.

— Я знаю, что мальчики относятся к вам с уважением, вы у них вроде босса,— сказала миссис Крук, невольно краснея за эту невинную ложь.— У меня и у мистера Крука к вам просьба. Помогите, пожалуйста, найти нашу Библию...

— На шо мне ваша Библия? — искренне удивился Ростик.— Кому она нужна?

— Я тоже думаю, что она никому здесь не нужна, кроме меня. За нее никто ничего не даст. Тем более книга на английском языке.— Миссис Крук печально глядела на плоскую, невыразительную, но вроде бы обиженную физиономию Ростика.— А мне моя Библия дороже всего. По ней молилась моя мать. Маме эта книга досталась от бабушки...

На глазах Энн Крук повисли слезы. Ростик мельком взглянул на нее и чуть заметно усмехнулся: ему было приятно, что американка перед ним плачет...

— На шо мне ваша Библия,— повторил он развязно.— Как что, так Гмыря виноват.

— Я вас не виню, что вы! — вытирая пальцами глаза, миссис Крук поспешила успокоить Ростика.— Но вы хорошо знаете всех мальчиков, и они вас знают... Может, вы нам как-то поможете?

— Ларька тоже всех знает! — торжествуя, усмехнулся Ростик.— И Аркашка! Чего ж вы их не позвали? Все Гмыря...

— Может, позову и их. Но сначала хотела посоветоваться с вами. Не объявить ли о награде тому, кто найдет Библию?

— Что ж, объявите,— отвернулся Ростик.

— Мистер Крук хотел подарить свою ручку...

— Ту ручку, которую он носит во внутреннем кармане? — пожелал уточнить Ростик.

— Ту самую. С золотым пером.

— Не знаю,— сказал Ростик, с видом человека, делающего колоссальное одолжение.— Я, конечно, могу поговорить с ребятами...

Он хорошо знал, кто стянул Библию. В изошренном уме Ростика — если подобные ухватки называются умом — тотчас сложился заманчивый ход. Он решил, что получит свое с обеих сторон — с Круков ручку Джеральда, «вечное перо», на которую Ростик давно положил глаз, а с похитителей Библии — тоже что-нибудь стоящее, за обещание их не выдавать...

Впрочем, Ростик у не пришлось трудиться и пожинать лавры. Через несколько минут после того, как он, торжествуя заранее, покинул Энн Крук, к ней вошла Катя, все еще гневно сверкая синими глазами и тяжело дыша. Ясно было, что она только что выдержала очередную схватку за торжество справедливости.

— Вот, — едва выговорила Катя, кладя перед миссис Крук ее Библию.

Миссис Крук ахнула, прижала Библию к груди, потом, не отпуская Библию, прижала к груди и Катю.

— Дорогая моя девочка... — промолвила Энн Крук, целуя Катю.

Но когда она открыла свою Библию, ей пришлось ахнуть еще раз.

Это было старинное издание, с иллюстрациями во всю страницу. Первая же из иллюстраций подверглась существенным изменениям.

На первоначальном, напечатанном в книге рисунке изображался бог, увенчанный лавровым венком. От его неясной фигуры во все стороны шли сияющие лучи. Он только что создал Адама и Еву, причем Адам, у которого, как известно, для сотворения Евы бог вынул ребро, лежал у Евиных ног без чувств... Художник, иллюстрировавший это издание Библии, не отличался фантазией. Иное дело те, кто поработал над усовершенствованием рисунков. Адаму было придано явное сходство с Джеральдом Круком, Еве — с Энн Крук, только бога оставили в покое.

На следующем рисунке ангел с огненным мечом изгонял Адама и Еву из рая. Ангела неизвестные художники превратили в американскую статую Свободы. Она изгоняла уже не мечом, а факелом, похожим на деревенскую лучину, из благословенной Америки Адама, то есть мистера Крука, и Еву, сна же миссис Крук. Были и другие рисунки. Например, там, где художник изобразил всемирный потоп, умелые детские руки переделали безликих

утопающих на чьи-то очень знакомые лица в полной скаутской форме... А ковчег перекрасили в теплушку с полустертым красным крестом...

Увлечения и задора хватило только на переделку пяти-шести рисунков, в книге же их было больше двухсот... Но все равно миссис Крук выглядела убитой.

— Библия осквернена, — прошептала она.

Потом, поразмыслив, Энн Крук несколько ожила и, пробормотав: «Не ведают, что творят...» — заставила себя еще раз улыбнуться Кате.

Катя, хмурясь, бормотала извинения, хотя ни в чем не была виновата.

Тося и ее приятельница Лида Савельева, лучшая художница колонии, толстушка, с кукольным личиком, голубыми фарфоровыми глазами, пухлыми розовыми губками ожидали возвращения Кати с тревогой... Что им будет от Круков за художества в Библии? Кроме того, они начали бояться, что их накажет бог... Они не могли толком объяснить свой поступок. Хотелось им просто развлечься? Или насолить Крукам? Пусть не тащат их неведомо куда...

— Что мы, пешки? — угрюмо повторяли девочки. Всю жизнь они чувствовали себя принцессами!

Пока шли поиски пропавшей Библии, кто-то ночью пришел в тамбуре любимого кота Майкла Смита. Это вызвало больше огорчения и разговоров, чем история с Библией. Кот при жизни был хорош — крупный, пушистый и ласковый.

— Он-то вовсе ни при чем... — сердился Миша Дудин.

Смит почернел не столько от горя, сколько от злости на Круков, этих нелепых и жалких чудаков, которые категорически запретили ему разыскать и строго наказать палачей замечательного кота.

Потом Валерий Митрофанович выследил Аркашку и Канатьева, когда они поворачивали тормозные краны, пробуя остановить поезд. Краны, правда, не действовали, но это не смягчило Валерия Митрофановича.

— Могло быть крушение! — вопил он.

— Ну и пусть крушение, — угрюмо засверкал Аркашка угольными глазами.

— Лучше бы нам в приюте оставаться, — не глядя на Валерия Митрофановича и выворачивая третий кран,

мечтательно произнес Боб Канатьев.— С малышами... Они уже с Красной Армией, дома...

Впервые никто не готовил уроки, не занимался. Аркашка собирался оформить это дело официально, объявить всеобщую забастовку, но никому не хотелось связываться и не занимались просто так.

Все это выглядело как полный развал...

Но Джеральд и Энн Крук привыкли работать с детьми в любых условиях. Круки тоже несколько изменились. Мистер Крук стал сдержаннее, он уже не хохотал и даже улыбался редко. А его жена совсем не походила на ведьму, была трогательно приветливой и все чаще обнаруживала умение сердечно и ненавязчиво отвлечь человека от мрачных дум...

Большинство преподавателей все еще держались того мнения, что ребят не следует знакомить с тем, что происходит за стенами вагонов. Майкл Смит развивал такую теорию:

— Представьте, что вы на необитаемом острове. И занимайтесь, как Робинзон, своими делами. Когда он попал на свой остров, в Англии только что произошла революция. Но он о ней и не думал. Он был не так глуп, понимал, что все равно это пока не его дело. И не ныл — хочу домой. Вокруг него бесновались дикари, пожирали друг друга. Но он остался жив и даже спас Пятницу... Наш поезд тоже остров, и вы на нем робинзоны, если не хотите быть просто глупыми ребятами...

Ларька сурово усмехался:

— Болтает, а поезд увозит все дальше.

Круки обошли вагон за вагоном, доказывая ребятам, что их путешествие на восток единственно правильное решение, что иного пути пока нет...

— Поверьте, мы знаем, как тяжело вам, детям, быть оторванными больше года от своих семейств,— говорил Джеральд, и его широкое доброе лицо покрывалось бисеринками пота от волнения и тревоги...— За стенами наших вагонов бушует невиданная война. Она вызвала крайнее ожесточение. Поверьте, нет никакой возможности договориться о том, чтобы эшелон с детьми мог вернуться домой. Его никто не пропустит, и об этом не может быть и речи. Белые не хотят говорить с красными. Красные не хотят говорить с белыми. И те и другие только стреляют...

— Неправда! — услышал он чей-то ломкий, упрямый голос.

Энн Крук подскочила, как пружина. Она не выносила, когда перечили ее мужу, тем более дети... И хотя мистер Крук пытался ее успокоить, она крикнула:

— Кто это сказал?

Ларька молча выдвинулся вперед, расталкивая неохотно расступавшихся Аркашку, Гусинского и других.

— Прости, дорогая, — поторопился мистер Крук, — мне самому хочется узнать, в чем же я неправ. Пожалуйста, объясните мне это.

— Потому что валите все в одну кучу, — невнятно пробурчал Ларька, насмешливо глядя на Крука. — Красные стреляют, белые стреляют...

— Разве это неправда?

— Неправда! — повторил Ларька твердо. — Может, вам все равно, что красные, что белые, а нам — не все равно!

— Вы, конечно, за красных, Ручкин? — быстро встал Валерий Митрофанович и оглянулся на Смита, радуясь ловкому ходу.

— А то вы не знаете! — презрительно ответил Ларька. И оживился, снова заблестел зубами в насмешливой улыбке. — Вот, мистер Крук, глядите, я говорю за красных. А кто скажет за белых?

Все молчали.

— Видите, молчат! Думаете, они за большевиков? Они сами не знают, за кого. Вот Гольцов, он что, за красных? Но тоже молчит, за белых говорить не хочет...

Валерий Митрофанович тянулся на цыпочках, глазами ел Володю, но тот, потупясь, продолжал молчать... Аркашка нетерпеливо дергался, всем существом показывая, что он с Ларькой, что он еще лучше бы сказал, просто не успел... И Катя не спускала глаз с Ларьки... Гусинский одобрительно кивал большой головой.

Джеральд Крук поднял руки:

— Я сдаюсь! Извиняюсь, если сказал неправильно... Теперь я задам вам вопрос. Вы хотите уцелеть и вернуться домой?

— Уцелеть!.. — фыркнул Ларька. Это слово никому не понравилось, даже Ростик захихикал.

— За этот год тысячи детей погибли,— не выдержала Энн Крук.— А вы живы...

— Конечно, мы хотим жить,— поднял голову Володя.— Но нельзя жить в поезде! Мы понимаем, что сейчас не можем попасть домой. Но когда все это кончится?

— Впереди — океан! — усмехнулся Ларька.— Спихнут в него белых, и все!

— И нам до океана? — испуганно ойкнул Миша. Вот этого никто еще не знал.

## 26

Поздней осенью девятнадцатого года их эшелон, давно миновав Омск, Иркутск, Читу, шел к Хабаровску.

Такой железной дороги — она называлась Амурской — ребята еще не видели... Они смотрели не на тайгу, зеленое море, которому не было ни конца, ни края; не слушали рассказы об Амуре, великой реке, где кишели громадные рыбы, пропускали мимо ушей и байки о золотоискателях и ловцах жемчуга... Не отрываясь, ребята глядели в щели только на дорогу, по которой ехали: заброшенные полустанки, где из прогнивших досок топорщилась высокая, рыжая трава; позабытые ржавые паровозы с проваленными боками; гнилые шпалы... Глядели и час за часом ждали, что их поезд сойдет с рельсов, которые ходуном ходили под колесами и, казалось, вот-вот расползутся по сторонам... Рядом с машинистом сидели Смит и два солдата из американской охраны. Их задачей было не допускать остановки поезда. Останавливаться тут хоть на мгновение никак не рекомендовалось: в окрестных лесах скрывались отряды беляков, в любой момент можно было попасть под обстрел обезумевших тифозных банд недобитых колчаковцев... Машинист и его помощник, лучше других понимая полную невозможность вести эшелон с детьми по такой дороге, то крестились, то бормотали:

— Проскочим...

Особенно страшно становилось ночью. Вагоны вихлялись из стороны в сторону так, что кто-нибудь из ребят то и дело скатывался с нар. Иногда пламя близкого пожара смутными сполохами проникало в теплушку. Несколько раз их будили тяжелые удары артиллерийских ору-



дий, и всегда казалось, что бьют прямой наводкой по эшелону.

До Хабаровска оставалось каких-нибудь сто километров, когда с жутким грохотом поезд остановился...

Это случилось среди бела дня, и сначала все затаились. Молчали, ждали, слыша только стук своих сердец. Потом зашептались:

— Тихо...

— Очень тихо.

— Как ты думаешь, что это?

— Почем я знаю!

— Может, машинист умер?

— Ты скажешь! С чего ему умирать?

— И потом, у него есть помощник...

— Но это не банда, на поезд никто не напал, слышишь, как тихо?

— Вот это и подозрительно...

— Что ж, мы так и будем сидеть и дрожать?

— А что?

— Надо узнать, что произошло.

— Как ты узнаешь?

— Открою двери и сбегаю к паровозу...

— Вы что, с ума сошли? — заверещал Валерий Митрофанович. — Нас всех перебьют, как куропаток! Я категорически запрещаю! Категорически! И не подходите к двери!

Но и Ларька и другие уже прижались ко всем щелям, стараясь разобрать, что происходит.

— Лежать! Лежать! — требовал Валерий Митрофанович, но его никто не слушал.

Между тем на паровозе все были живы. Но и там не могли понять, что происходит.

Паровоз остановился перед наваленными на рельсы огромными стволами сосен... И тут же, на одном из стволов, сидел бородатый мужик в ватной стеганке, в старой солдатской папахе с красной полоской наискосок... Партизан! Он заботливо скручивал сигарку, делая вид, что не обращает внимания ни на паровоз, ни на солдат, которые целились в него, выставив карабины. Свое ружье он небрежно сунул между колен.

Закурив, мужик неторопливо встал, подобрал винтовку и не спеша, вразвалочку пошел к паровозу. Солдаты вскинули было карабины, но Смит прошептал: «Не стрелять...»

— С приездом,— ласково, тенорком, сказал партизан.— Добро пожаловать.

Все молчали.

— Здравствуйте, говорю!

— Здравствуйте,— нерешительно пробормотал машинист.

— Ну, вот,— обрадовался партизан,— русская душа, а я напугался, неужто, думаю, одни мериканцы и поговорить не с кем... Закурить хочешь? — Он протянул машинисту кiset, но так, что тот, помешкав, невольно сошел вниз.

Лицо у партизана было такое домашнее, ничем не встревоженное, будто он вышел покурить у своей избы на завалинку, а не остановил в дикой тайге эшелон американского Красного Креста... Кстати, на американцев он и внимания не обращал, разговаривал только с машинистом и его помощником.

— Вы не опасайтесь, ребята,— сказал он им,— мы вас долго не продержим. Нам только задание из центру выполнить, и отпустим вас...

— Какое задание? — спросил Смит.

Партизан будто и не слышал; в свою очередь спросил машиниста:

— Детишков везете?

— Детей, да... Детский эшелон,— проговорил машинист, раскуривая сигарку и вздыхая.

— Неужто правда, что питерских?

— Точно.

— Скажи на милость! И куда ж их?

— Сейчас в Хабаровск. А там, может, и дальше повезут.

— Неужто в Америку?

Машинист, глядя на бесхитростное лицо партизана, осмелев, отвечал как человек понимающий вовсе беспонятливому:

— В Америку! Кому они там нужны?

— А на кой американцы их волокут?

— Красный Крест. Слыхал? Спасают...

— Будто подхватили детишков еще на Урале...

— Верно.

— И все спасают? Через всю Сибирь?

— Выходит, так.

— А дальше?



— Что дальше?

— Ну, притащут в Хабаровск. Или в самый Владивосток. А там что?

— Будут ждать, пока выйдет полное замирение. Пока обратно на Питер откроется дорога.

— А чего ж раньше не ждали? На Урале бы и ждали. Давно бы и в Питер вернулись.

Машинист, не зная, что сказать, хотел сгрубить партизану, но удержался и только хмуро кивнул на Смита:

— Его спроси! Чего пристал?

Но партизан, мельком взглянув на Смита, покачал головой:

— Вишь, какая честь питерским-то. А наши мрут как мухи...

Машинист махнул рукой:

— В Питере, может, все перемерли. Может, и самого Питера-града давно нет...

— И то сказать — без матерей. Наши хоть при матерях бедуют...

Никто из них не подозревал, что происходило в это время в вагонах.

Ларька все же улучил момент, приоткрыл дверь, ужом юркнул на полотно дороги и сразу же под вагон. За ним успел выскочить Канатьев. Тут же Валерий Митрофанович навалился на двери и задвинул их до упора.

Ларька и Канатьев проползли под вагонами почти до паровоза. Жались к земле чуть не щекой, чтобы рассмотреть того, кто остановил эшелон. Увидели сначала лапти и онучи, потом винтовку, стеганку, бородатое, простодушное лицо и, наконец, трепаную фронтовую папаху с кумачовой полосой.

— Партизаны! — выдохнул Канатьев. Ларька немедленно прижал его носом к сырой земле...

Они услышали, как партизан спросил кого-то:

— А где же ваши пассажиры? Что их не слышать?

— Боятся, — ответил машинист.

— Да ну? Это питерские-то?

— И учителя их не пускают.

— Не пускают, говоришь? — Бородач неожиданно стремительно присел на корточки и цапнул Ларьку за руку. — Шпиен! — выкатил он глаза, таща Ларьку из-под вагона.

Ларька встал, отряхнулся и оскалился на партизана.  
— Гляди, не боится! — обрадовался тот. — Как кличут?

— Илларионом, — ответил Ларька радостно.

— Это точно, был такой великомученик, — согласился бородач. — Выходит, крещеный, хоть и питерский... Каковский будешь?

— Я-то? Свой...

Бородач ощупал его шустрыми, добрыми глазками. Ларька ему, похоже, понравился.

— Ладно. Тогда пошли, — решил он. — А вы, — тут партизан строго глянул не только на машиниста, но и на американцев, — к завалу не суйтесь! Не то худо будет! Мы с Илларионом скоро вернемся. Ваш поезд пропустим и рванем эту дорогу к чертовой матери, чтоб по ней японцы не ползали...

Едва они отошли на несколько шагов в лес, раздосадованный Смит велел солдатам разобрать завал. Солдаты прыгнули с паровоза, но как только двинулись вперед, угрюмо заныли и защелками пули. Солдаты упали на землю, потом поползли вперед, к завалу. Но пули посвистывали как раз между паровозом и завалом. Огонь был такой плотный, что солдаты опять залегли, не зная, что делать. Тотчас огонь прекратился.

Между тем Боб Канатьев стрелой примчался в свой вагон. Он колотил в двери до тех пор, пока его не пустили. Канатьев рассказал, что поезд задержан партизанами, Ларька попал в плен...

— Ты что плетешь? — нахмурился Аркашка. — Партизаны — красные!

— Вроде красные...

— Вроде! Ясно — красные! Как же они могли Ларьку взять в плен?

Но он тут же решил, что надо срочно действовать и самим. В помощь партизанам.

Ничего не стоило объявить Валерию Митрофановичу, что он низложен и власть его кончилась. Он соглашался на все, только бы не выдали его партизанам... Сложнее было с Круками.

— Вот их мы точно возьмем в плен, — решил Аркашка.

— Только ты их не обижай, ладно? — попросил Миша Дудин.

— Там видно будет,— сурово молвил Аркашка.—  
Прежде всего освободим наших!

— От кого? — поднял глаза Гусинский.

— От американского ига,— отрезал Аркашка.— Паровоз повернем и домой!

— Как ты его повернешь?

— Партизаны помогут!

Раздумывать Аркашке было некогда. Он скомандовал:

— Вперед!

И, первым прыгнув на насыпь, побежал к вагону Кати... В вагонах начали отодвигаться двери.

Когда поезд остановился, солдат, посланный Смитом, доложил Крукам о происшествии. Некоторое время они не знали, что предпринять. Мистер Крук хотел «пойти на паровоз» и увидеть все своими глазами. Но миссис Крук объявила, что если идти, то вдвоем, на что Джеральд не соглашался. Они спорили, стоя в открытой двери, и с любопытством оглядывались вокруг. Эта пара была начисто лишена ощущения опасности. Похоже, они были уверены, что им нигде и никогда не может грозить серьезная неприятность.

Когда слышались выстрелы, мистер Крук немедленно прыгнул на насыпь. Он знал, что миссис Крук прыгнет следом, но тут он ничего не мог поделать.

Круки подошли к паровозу в тот момент, когда солдаты и Смит поняли, что завал убрать не удастся.

Подошедшим Крукам объяснили обстановку.

— Что им надо от детей? — заволновалась миссис Крук.— Куда они увели Ручкина? Джеральд,— попросила она,— я женщина, меня они не тронут, я схожу и все узнаю...

И она двинулась в сторону леса. Мистер Крук немедленно пошел за ней.

В первую секунду Смит просто не поверил тому, что увидел. Надо было окончательно спятить, чтобы добровольно идти под пули красных!

— Назад! — гаркнул он.— Там стреляют!

Миссис Крук не сообразовала даже оглянуться на этот вопль. Мистер Крук, впрочем, оглянулся и послал Смигу рукой приветствие, которое должно было его успокоить.

Из тайги не раздалось ни одного выстрела. За прибли-

жением Круков наблюдали трое: тот бородатый партизан, который сидел на завале, Ларька и партизанский командир, молодой, тощий, в солдатской шинели до пят и в пенсне на остром носу; одно стеклышко треснуло, это ему мешало, он то и дело поправлял пенсне. Кроме этих троих, был еще один, в мохнатой, сдвинутой на ухо шапке. Он присматривал за лошадьми и ни на что другое не обращал внимания.

И командир и тот, что был при лошадях, поздоровались с Ларькой за руку. Командир задержал руку Ларьки, спрашивая:

— Значит, полтора года путешествуете?

Ларька нехотя пожал плечами.

— Из Питера?

— Да.

— И никакой связи с домом, ни одного письма?

Ларька снова дернул плечом... Командир зачем-то передвинул вперед холщовую сумку, висевшую у него на боку.

— Твоя как фамилия?

— Ручкин.

— Ручкин...— повторил командир и медленно отодвинул сумку за спину.— А зовут, значит, Илларион,— продолжал он, всматриваясь в Ларьку, и тот только теперь увидел, что лицо у командира хоть и молодое, но очень усталое...— Ну, ничего, Илларион. Самое трудное позади. Остались недели! — Глаза у него снова весело вспыхнули.— Понимаешь, не годы, не месяцы, а недели! Чтобы доколошматить белых! Навсегда! Так, чтоб от Тихого океана до Балтийского моря, от Владивостока до Петрограда — все наше! — Он с маху ударил Ларьку по плечу маленькой, но крепкой рукой.— Революция пошла в Европу! В Венгрию! В Баварию! В Словакию! Там Советские республики...

— Мировая? — прошептал Ларька.

— Поднимается рабочий класс во Франции! В Англии! В Соединенных Штатах! Призрак бродит по Европе — призрак коммунизма! — говорил командир все звонче, и даже тот партизан, который смотрел за лошадьми, оставил их и подошел вплотную, приоткрыв рот от внимания. А бородатый, который привел сюда Ларьку, восторженно улыбался командиру и кивал головой...

Ларька невольно расправил плечи, не спуская глаз с командира, ожидая его команды «По ко-оням!». Но тот молчал, глядя вперед блестящими глазами, а потом, остывая, заговорил будничным тоном.

Партизанский командир не только расспрашивал Ларьку о самых что ни на есть пустяках, но и бесцеремонно разглядывал его, не отводя быстрых, насмешливых глаз.

Он расспрашивал о том, где и как ребята спят; в чем одеты; о питании; есть ли больные; был ли тиф; где они моются в пути; как развлекаются в свободное время; успешно ли занимаются.

К крайнему удивлению Ларьки, командир назвал с десяток ребячьих фамилий и имен, в том числе Колчина Аркадия, Дудина Михаила, Гольцова Владимира, Обуховой Екатерины, Савельевой Лидии, и подробно разужнал, как они себя чувствуют, учатся, сильно ли тоскуют по дому.

— Мы все хотим домой,— скупю отвечал Ларька. Ему не терпелось самому о многом расспросить и еще раз услышать то, что командир сказал ему вначале про мировую, но не получалось...

— Это кто? — спросил командир, заметив Круков.

Ларька объяснил, сказав, что они подходящий элемент, хотя вообще, конечно, ничего не понимают в мировой революции и все хотят сгладить одной добротой...

— Значит, добрые? — неожиданно холодно спросил командир.

— Очень добрые,— пожал плечами Ларька.

Между тем Круки подошли. Впереди, без тени страха, двигалась Энн Крук; ее круглые глаза светились от любопытства. На шаг за ней следовал Джеральд, так, будто шел не по тайге, а по асфальту.

Командир заговорил первым:

— Здравствуйте. Я знаю, что передо мной миссис и мистер Крук. Сожалею, что не могу представиться... Я уполномочен передать, вам, господа, благодарность Советской власти за то, что вы сделали для наших детей.

Круки переглянулись.

— Мистер Крук очень тронут,— пробормотала миссис Крук,— но он не понимает...

— Что именно непонятно мистеру Круку?

— Вы сказали — Советской власти...



— В России волей народа установлена повсеместно Советская власть, господа! Совет Народных Комиссаров — это наше правительство.

— Но оно в Москве! За тысячи верст отсюда...

— Да, Россия велика,— согласился командир.— И она советская, большевистская, господа.

Чувствуя великое облегчение, торжествуя, Ларька улыбался, глядя на Круков. Командир покосился на него с одобрением и продолжал:

— Москва и Петроград очень беспокоятся о детях. Мы надеемся, что ваше длинное путешествие близится к концу. Нам было поручено разыскать ваш эшелон, при возможности повидать хоть кого-нибудь из детей и передать вот эти несколько десятков писем...

Ларька замер, глядя, как он из холщовой пастушьей сумки достает пачку писем. И тут же понял, что ему письма нет, потому что командир ни разу не назвал его фамилию... На какое-то время Ларька перестал слышать, о чем говорят...

— Нам поручено было разузнать о детях и передать эти сведения,— услышал он потом...— Времени у меня нет. Что мог, я сделал. Прощайте, господа. Прощай, Илларион.— Он взял недвижную Ларькину руку и сжал ее в горячей ладони.— Знаешь что? — оживился он, не выпуская Ларькину руку.— Напиши быстро несколько строчек матери. Пошлю со своим донесением, может, дойдет...— Командир протянул Ларьке огрызок карандаша и записную книжку, открыв ее на чистом листе.

— А другие? — с трудом выговорил Ларька, хватая бумагу и карандаш.

— Другим — письма. Собирать ответы — нет времени. И пиши короче!

Ларька, повинуясь, быстро написал прыгающими буквами: «Мама! Я жив, здоров, перешел в седьмой класс. И все другие. Гусинский, Канатьев тоже. Скоро увидимся...»

— Помни, что я тебе говорил.— Командир сунул книжку и карандаш в сумку.— Можешь поделиться со своими товарищами, даже с господами американцами... Впрочем,— он круто повернулся к ним, упорно не замечая руки, которую протягивал на прощание Джеральд Крук,— вы, господа, наверное, знаете, что ваши солдаты и корабли

мотают удочки. Ваше правительство уводит свои войска из России...

— Мы уполномоченные Красного Креста,— напомнила миссис Крук.

— Мадам, я не люблю таких людей, как вы,— сухо заявил командир, давая знак своему товарищу подвести коней.— Сначала приходят ваши солдаты — убивать и помогать убийцам. У американцев удивительный талант выбирать друзей среди самых преступных и кровавых правителей, не замечали? Перемазавшись в крови и грязи, солдаты смывают удочки... Потом являетесь вы. Благотворители. И за десятки тысяч убитых спасаете со всем американским размахом сотню-другую... Нет, я не подам вам руки,— сказал он Джеральду Круку и вскочил на лошадь.

Партизаны тронулись, когда Ларька с криком кинулся за ними. Командир остановил коня:

— В чем дело?

— А знамя? — прошептал Ларька.

— Какое знамя?

Торопясь, сбиваясь, Ларька стал рассказывать про боевое знамя краскома... И командир решил:

— От имени Красной Армии и партизан передаю это знамя вам, детям Питера. Понял? Теперь это знамя ваше! — Он нагнулся к Ларьке и крепко взял его за плечо.— И если вы не сумеете донести его домой, помни, я узнаю об этом! Мы ведь скоро увидимся!

Сначала все внимание, все переживания и мысли были отданы письмам. Те, кто их получил, перечитывали по двадцать раз каждую строку, адрес на конверте, рассматривали закорючки, пометки, пятна, догадывались об их происхождении... Свое письмо никто не выпускал из рук и не давал другому даже подержать.

Письма были отправлены почти полгода назад. Но это поняли не сразу. Ведь с ними дошло тепло дома... Те, кто не получил письма, а таких, к сожалению, было большинство, бессчетное число раз кружились около счастливых, расспрашивая:

— Ну, что там? Как там в Питере? Может, что промоих?

Но на него смотрели, не видя... Видели тех, от кого пришло письмо,— маму, отца. Девочки, понятно, плакали не таясь и по нескольку раз на день. То были счастливые слезы — в письмах избегали сообщать о бедах...

Володя Гольцов получил два письма: одно из Петербурга, а другое — из Парижа, где гастролировала его мать. Она писала, что ехали в Париж через Эстонию, в то время единственную страну, признавшую Советскую Россию...

К Кате одна за другой подсаживались девочки, прижимались к ней, уютно устраивались под одним пальтишком — в вагоне уже становилось холодно — и перечитывали письмо, наконец-то полученное Катей от мамы...

Миша Дудин шумно восторгался своей мамой:

— Дошла до самого Ленина! За меня! Она за меня куда хочешь пойдет! Она Ленину чай носит, знаете... И все плачет, все рыдает, думает, меня потеряла, лежу я в могилке сырой... А Ленин увидел, что плачет женщина, узнал все, и вот — пожалуйста, письма!..

С удивлением рассматривали конверты. Никто не мог объяснить, как эти письма дошли. Ребята невольно вспоминали, как ушедшие в подполье Советы на Урале тайком доставляли им в приют рыбу, не давали умереть с голода... На какое-то время взгрустнулось оттого, что дома про них ничего не знают, нельзя ответить. Ларьке сначала сочувствовали, что не получил письма, потом завидовали, узнав, что ему командир разрешил написать несколько строк домой...

Впрочем, скоро вся эта радостная суета с письмами отступила перед словами партизанского командира, которые изо дня в день повторял Ларька:

— Остались какие-то недели! И мы вернемся домой! А там по всей Европе шагает призрак коммунизма! Идет мировая!..

Сколько раз мелькали перед ними эти обещания — скоро домой... Но словам партизан поверили.

Смит ходил среди веселого щебета, возбужденных лиц, уже каких-то сборов и честно удивлялся:

— Чему вы радуетесь? Что скоро снова будете голодать? Ведь Петроград голодает!

От него просто отмахивались. Что он понимал, этот Смит!..

— У вас большая семья? — спросил он Гусинского.

— Девять человек.

— Вот и скажут: десятый рот приехал, сел на шею!

Гусинский выкатил на него глаза: он знал, как обрадуются ему дома. И хотя не любил Майкла Смита, но глядел на него с жалостью...

В Хабаровске задержались почти на месяц. Круки одни ездили во Владивосток что-то узнавать от своих американских начальников, торопившихся покинуть большевистскую Россию... Американцы уходили с Дальнего Востока, но их место занимали японцы... Это беспокоило и Круков и Смита. Только на Русском острове, к югу от Владивостока, оставался отряд американских моряков для радиосвязи. Здесь, на Русском острове, Круки решили разместить пока и ребят.

Некоторое время детская колония прожила во Владивостоке, пока приводились в порядок помещения на Русском острове. Этот остров отделял от города пролив, верст двенадцать шириной.

Русский остров входил в крепостные сооружения Владивостока. На нем были построены форты с противотанковой артиллерией, батареи шестидюймовых орудий. Форты занимал гарнизон численностью до полка.

Сейчас ничего этого не было. На острове царило запустение. Пушки с фортов сняли, солдаты и офицеры ушли. Ребята разместились в казармах.

Небольшой, всего около ста квадратных верст, округлой формы, Русский остров отличается сильно изрезанными берегами и бухтой Новик делится на две неравные части. Множество ручьев и рек, пересекающих остров, впадают в бухты, из которых, впрочем, только бухты Воевода, Холуй и Рында пригодны для захода и стоянки судов.

Большая часть острова, весь юго-запад, покрыта тайгой.

Дорог на острове не было, кроме военных, связывающих форты, а так — лишь тропы между отдельными фанзами китайцев-огородников, и то лишь на восточном берегу.

Самое неожиданное и неприятное, что встретило ребят на острове, — это густейшие туманы. Они начинались с весны и не уходили ни в июне, ни в июле.

Все, что они видели, ребята сравнивали с Питером. Русский остров, который прикрывал подступы к Владивостоку, представлялся маленьким Кронштадтом.

Никто из ребят до этого необычайного путешествия не был восточнее Урала, а о Дальнем Востоке у всех были самые смутные представления.

Владивосток заранее привлекал их тем, что стоял на море, как Петроград, был тоже портом, куда заходили торговые и военные корабли, где на каждом шагу можно было встретить моряков, скитальцев морей. И еще тем, что стоял он на самом краю русской земли. Дальше подаваться было некуда. Расположенный на холмах, с крутыми, как горные тропы, улицами, Владивосток оказался совсем непохожим на Петербург. И главная улица Владивостока, Светланская, изгибающаяся с холма на холм, ничем не напоминала Невский проспект...

На Светланской расположились торговые фирмы французов, англичан, американская «Интернейшнл харвестер». Ребята упорно отыскивали во Владивостоке черты, схожие с Питером. Им понравилось, что правительство этого края, между прочим признанное Советской властью в Москве, заняло здание морского штаба — ведь морской штаб был и в Питере... И что на город смотрели морские крепости, форты, не Кронштадт, конечно, но все-таки. Правда, местные моряки рассказывали ребятам, что крепости безоружны, их огромные пушки в первые же дни войны с немцами тоже отправлены на фронт. На рейде, в бухте Золотой Рог, толпились незваные гости, военные корабли Японии и западных держав. С разоруженными фортами Владивосток был беззащитен.

Этот город, в котором влияние большевиков непрерывно росло, стал в то же время последним пристанищем для удиравших из России белых. Они молились на флаги военных кораблей англичан, японцев, американцев. Теперь только эти флаги могли их спасти...

Ребятам казалось, что они видят опять тех господ в енотовых шубах, тех офицеров в щегольских шинелях, тех разодетых, с бриллиантами в напудренных волосах, дам, которые с презрением рассматривали ряды нищих мальчишек и девчонок еще в приволжских городах и готовы были своими руками прикончить Аркашку за «Интернационал»...

По Светланской проходили французские, чешские, английские, американские, но чаще всего — японские патрули. Кого-то арестовывали — русских. Кого-то били — русских...

— Какая тут власть? И чья это земля? — недоверчиво допытывался Миша Дудин, хотя старшие ему объясняли, что местную власть, какая она ни на есть, признали большевики, Ленин...

Очень сложный «переплет» складывался к двадцатому году на Дальнем Востоке. Большевикам предстояло решить неразрешимую задачу: ни в коем случае не ввязываясь в войну, выпроводить с русской земли и японцев, и всех прочих незваных гостей.

Все это ребятам представлялось очень смутно. Все их мысли были о возвращении домой. Каждый день радовались твердому обещанию Круков, что в самом скором времени двинутся в Питер по Транссибирской магистрали...

Правда, было известно, что на Уссурийской дороге, между Владивостоком и Хабаровском, которую пытались занять японцы, партизаны за две недели пустили под откос шесть военных поездов и три японских бронепоезда... Что на Амурской железной дороге взорвано сто шестнадцать мостов, сожжены тринадцать станционных казарм, разрушено пять крупных станций, пущено под откос восемь воинских поездов и два японских бронепоезда... Но ведь их эшелон партизаны не пустят под откос, пропустят, протащат по всем дорогам!

Уже в Хабаровске ребята возобновили регулярную учебу. А во Владивостоке, и особенно на Русском острове, занимались с таким увлечением, какого не обнаруживали еще никогда. Даже Ростик и его гоп-компания тужились, хотя у них мало что получалось.

Было известно, что Крукам уже удалось подготовить первый эшелон. Со дня на день они должны были тронуться в путь.

Ларька предложил переселиться всем в эшелон и там ждать отправки. Ребята с восторгом приняли это предложение. Но Круки не согласились. Они словно поникли и замкнулись после того, как партизанский командир не захотел пожать руку Джеральду Круку и даже миссис Крук посмел заявить в лицо, что не любит таких людей, как она

и ее муж. Наверно, это было все-таки несправедливо. Очень многие ребята старались утешить Круков, выразить им свое уважение и любовь. Только Ларька и Гусинский твердили, что командир поступил правильно.

Впрочем, у всех преобладало нетерпение: когда же кончится эта волынка и наш эшелон побежит домой?

Кажется, единственный, кого не радовало возвращение, был Ростик Гмыря. Он все еще не терял надежды, что его усыновят если не Круки, то Смит. И Ростик из кожи лез, стараясь выслужиться перед Смитом. Как-то в марте он с таинственным видом подловил Смита в укромном уголке. Смит был так холоден, что Ростик струхнул и сразу доложил:

— Имею для вас кое-что...

Смит молча смотрел на него. Ростик, которому хотелось и похвалиться и покуражиться, не посмел дальше волынить и протянул два листа бумаги. На одном из них отличным каллиграфическим почерком было начертано:

«Мы, Красные Разведчики, клянемся воспитать в будущих гражданах Советской России любовь к Родине и ненависть к угнетателям всего мира. Да здравствует мировая революция!»

Содержание другой бумаги, исполненной более коряво, было таким, что у Смита глаза полезли на лоб.

«Президенту Соединенных Штатов, императору Японии и другим главным буржуям.

Пишет вам Красный Разведчик Михаил Дудин в открытую, потому что я вас вовсе не боюсь. Чего вы к нам привязались, боитесь, что ли? Все равно мы домой попадем и вас будем бить везде. Чего лезете и мешаете людям жить? Я пишу вам, как запорожцы писали письмо султану. Можете посмотреть на знаменитой картине Репина, только вам тошно станет, как тому султану. И если вам жизнь дорога, не трогайте мистера Крука и миссис Крук, потому что мы их вполне уважаем. За всех Красных Разведчиков — Михаил Дудин».

Смит свернул эти документы и ткнул ими Ростика в лоб. Тот послушно ел Смита глазами.

— Увидишь снова, рви сразу, — мрачно посоветовал Смит.

Он еще раз поглядел на бумаги, нехотя усмехнулся и все-таки сунул их в карман.

— Выходит, все? — вспотел сразу Ростик. — Амба?

— Амба, — кивнул Смит. Он зачем-то осваивал местный жаргон. — Едете домой, товарищ Гмыря.

— Какой я товарищ, — захныкал Ростик. — Еще издеваются над человеком... Я же с вами хочу...

Смит щелкнул его по носу и отвернулся.

— Может, хоть Мишке всыпать? — безнадежно спросил Ростик.

Великий день наступил 30 марта. За три рейса американский катер доставил всех ребят с Русского острова во Владивосток. Отправка эшелона из Владивостока в Питер назначена была на 5 апреля 1920 года.

В эти дни было много счастливых слез, бестолковой суеты, спешки... Ребята разом словно устали, ослабели. Даже Ларька ходил задумчивый, тихий, не ухмылялся...

Хотя по городу бродили какие-то тревожные слухи о свержении местного правительства и аресте Дальбюро большевиков, о новых провокациях еще уцелевших колчаковских частей и кое-где, на окраинах, слышна была иногда перестрелка, хотя Круки строжайше запретили покидать огромное здание школы, где до отъезда разместили ребят, — не только Ларька с Аркашкой, но и многие другие не утерпели, пробрались на вокзал и отыскивали-таки свой эшелон. Знакомые теплушки, но со свежими, даже не просохшими еще красными крестами...

Они осторожно подходили к вагонам, пока наглухо закрытым. При малейшей тревоге ребята прятались под вагоны. Трогали руками все, до чего могли дотянуться. А Миша Дудин всерьез попытался сдвинуть эшелон с места, подталкивая его в сторону Питера.

## 27

Как известно, в ночь с четвертого на пятое апреля 1920 года японские войска произвели вероломное нападение на Владивосток.

Первого апреля из города ушли последние войска и корабли американцев. Хозяевами положения остались японцы. Их войска занимали ключевые пункты города. Но японскому командованию не нравилось, что в правительственных учреждениях Владивостока большую роль



играют большевики, что их поддерживают широкие массы населения, что сильны большевистские партизанские отряды...

С одиннадцати часов вечера 4 апреля японцы начали захват правительственных учреждений Владивостока. С Тигровой сопки и военных кораблей японцы открыли по городу артиллерийский огонь, улицы простреливались из пулеметов...

Накануне, третьего апреля, утром Катя по просьбе миссис Крук бегала в ближайшую аптеку на углу Светланской и Алеутской улиц и случайно заметила, как японцы втаскивали на чердак аптеки пулемет. Она рассказала об этом Ларьке. Установили наблюдение и обнаружили, что японцы втащили туда же второй пулемет и еще один спрятали на чердаке здания на углу Алеутской и Фонтанной... Теперь из этих пулеметов велся беспорядочный огонь.

Когда начался обстрел, в школе, где временно жили ребята, еще никто не спал. Энн и Джеральд Круки только что попрощались на ночь со своими мальчиками и девочками, еще раз полюбовались их счастьем... В эти последние дни между Круками и ребятами полностью восстановились доверие и тесная близость. Круков уговаривали насовсем ехать в Питер.

— Вместе с нами! — приставала Тося.— Ну что вам Америка? У вас там никого нет. А мы теперь ваши дети...

Но Круки решили ехать домой, в свои Соединенные Штаты, а ребят передать уполномоченным местной власти, которые будут сопровождать эшелон до границы с Советской Россией... Уже приходил один уполномоченный. Он назвался Джеромом Лифшицем и объяснил, что родился в России, но долго жил в Америке. Теперь он работал одним из редакторов владивостокской большевистской газеты «Крестьянин и рабочий». Он был маленького роста, худенький, очень веселый человек, и для него не существовало препятствий.

— Поедете со мной! — обнимал он Ларьку, Аркашку и других ребят.— Не пропадем! Все будет олл райт!

А теперь в ночном городе стреляли...

— Пушки,— нахмурился Миша Дудин.

Ребята толпились, таясь у темных окон, сияясь хоть что-то рассмотреть. Ничего не было видно. Прибежали

Круки, заглянул Смит, потом Валерий Митрофанович и другие учителя. Никто ничего не понимал.

— Нас это не касается,— решила наконец миссис Крук.— Нам завтра уезжать. Сейчас двенадцать, подъем в восемь, чтобы вы как следует выспались перед дальней дорогой.

— Назначьте дежурных, пусть первым дежурит Ручкин,— добавил мистер Крук.— А сейчас — всем спать.

Мало кто заснул в эту ночь. Ростик потом хвастал, что спал, но Миша Дудин утверждал иное:

— Ничего ты не спал, а дрожал от страха!

Артиллерийские залпы затихли; пулеметный обстрел, то прекращаясь, то разгораясь с новой силой, продолжался до утра. Били вдоль улиц и те три японских пулемета, которые накануне засекли Катя и Ларька...

Ребята успокаивали друг друга тем, что сказала миссис Крук. Все равно завтра они уедут. Ведь эшелон ждет их на вокзале!

— Почему завтра? — рассудительно заметил Гусинский.— Уже сегодня!

Его едва не бросились качать. Сегодня! Шел второй час нового дня, пятого апреля...

— Давайте всегда праздновать этот день,— предложил Боб Канатьев и стал мучительно краснеть.— Пятое апреля...

Не часто Боб придумывал что-нибудь стоящее! Как это его озарило? Но мысль была великолепная. Единогласно решили, что пятое апреля, день отъезда домой, отныне и навеки будет их собственным праздником...

Провокация японцев была широко организована. В Никольске-Уссурийском в эту ночь заканчивал свою работу съезд трудящихся Приморья. Японцы внезапно открыли по зданию съезда артиллерийский огонь. Они пытались истребить всех большевиков.

В Хабаровске войска, спавшие в казармах, среди ночи были окружены японцами и разоружены. Все военные здания были разрушены японской артиллерией. Погибло много солдат и мирного населения. Только партизанские части оставили город и ушли в сопки без потерь. Во всех городах Приморья японцы коварно нападали на войска и мирное население.

Выступление японцев оживило надежды белых. В Чите



обосновались последние части колчаковской армии, отряды каппелевцев. В Верхнеудинске засел атаман Семенов.

Железнодорожные пути и линии связи с Советской Россией оказались перерезаны.

Утром, когда стрельба прекратилась, Круки побежали выяснять обстановку. Они твердили, что эшелон все равно уйдет сегодня. Ребята тоже выбрались на улицу. Ни Сми-ту, ни Валерию Митрофановичу не было до них дела.

Как странно изменился Владивосток за одну ночь... Еще вчера это был все-таки рабочий город, где буржуям прижали хвост. Несмотря на засилье патрулей интервен-тов, порядок в городе поддерживала рабочая милиция. Теперь ее не стало: японцы разоружили милицию, руково-дителей бросили в тюрьму. На улицы Владивостока изо всех щелей хлынула эмигрантская накипь, холеные господа и дамы. Светланская зловеще клокотала... Мелькали нарядные туалеты; смеялись офицеры в парадной, шитой золотом форме; проходили чехословаки в поношенном хаки, с бело-зеленым флагом; назойливо улыбались япон-цы в синих куртках и белых гамашах.

— Во дают,— Миша осторожно подтолкнул Аркашку, показывая, как пытаются обняться два толстяка в тяже-лых, пронафталиненных шубах. Они тянулись друг к другу руками, губами, вжимались необъятными животами, но ничего не выходило, мешали животы.

— Мы им еще покажем! — пытел один.

— Они любят красный цвет,— хихикал другой.— Вы-пустим большевикам кишки, пусть глядят на красное!

Нехорошо становилось идти по Светланской... К тому же ребята были одеты бедно; их толкали, на них косились, негодуя, куда лезет эта голытьба.

Все-таки они добрались до вокзала. Эшелон Красного Креста стоял на месте, ждал их. На душе у ребят отлегло...

Весь день ходили сами не свои. Вещи были собраны, все готово. Круков не было. Смит куда-то исчез; Валерий Митрофанович задумчиво и многозначительно утверждал, что японцы — самая великая нация Азии, и пробовал подобострастно расшаркиваться перед белыми гамашами японских солдат, проходивших мимо.

Озабоченные Круки вернулись только к вечеру. Едва взглянув на них, ребята поняли, что пятого апреля отъезд не состоится, праздника не будет...

Наступило такое тяжелое время, какого еще не было за все их путешествие. Круки метались по военным и гражданским властям, пытаясь найти выход. Дни шли за днями. Никто с Круками не желал разговаривать, было не до какого-то детского эшелона и не до Красного Креста. Смит и Валерий Митрофанович, очень подружившиеся, наперебой твердили, что отсюда не выбраться.

— У Круков нет больше долларов,— посмеивался Смит,— у них остались только бумажные царские рубли и керенки. Кому нужны бумажки? Не сегодня-завтра вас выставят на улицу и перестанут кормить... Видали, сколько детей здесь просят подаяние? Вот что вас ждет...

Валерий Митрофанович зашел к девочкам, облизывая тонкие губы острым, кошачьим язычком от предвкушаемого удовольствия.

— Ну что, собрали вещички? — спросил он так многозначительно, что все, невольно затрепетав, с надеждой на него уставились.

Он выдержал большую паузу, хихикнул:

— Вижу, вижу, готовы. Сидите, так сказать, на чемоданах. Чемоданов, правда, ни у кого давно нет, но это так, к слову, к слову... Да-а! — продолжал он иным, проникновенным, душевным голосом, полным такого ехидного сочувствия, что девочки застыли.— Завезли вас, птичек, на край земли, в Азию, ваши благодетели Круки. Были Круки! Были. Пока за ними стояла сила. Видели, как уходил американский флагман «Бруклин»? Всё. Сила теперь у японцев. Вот разве они вас вывезут в Японию...

— Вы что? — не выдержала Тося.— Чего мы там не видели?

Валерий Митрофанович осмотрел Тосю с ног до головы, даже зачем-то обошел ее вокруг, поглядел и на других девочек, облизнулся, посмеиваясь. Только на Катю не стал смотреть.

— Японцы — народ древней культуры,— заговорил он вкрадчиво.— Из глубины веков сохраняется у них любопытнейший институт гейш. Правда, вы уже, хе-хе, староваты... В гейши берут девочек лет пяти, семи. Они проходят специальное воспитание, пока научатся всем тонкостям своего дела...

Катя встала:

— Вы о чем, Валерий Митрофанович?

— Я не вам, не с вами, Обухова,— отмахнулся он с досадой.— Я Тосеньке рассказываю...

— А что вы рассказываете Тосеньке? — не отставала Катя.— И зачем?

У нее была неприятная Валерию Митрофановичу манера смотреть прямо в глаза.

— Вам это неинтересно, Обухова...

— О проститутках, вот о чем идет речь! — зло фыркнула Тося.

— Гейша — вовсе не то, что вы думаете! — замахал руками Валерий Митрофанович, и его тонкий язычок быстро, с удовольствием прошелся по бескровным губам.— Вовсе не то! — Но Катя пристально рассматривала его, и он, увядая, добавил специально для Кати с непонятным озлоблением: — От суммы да от тюрьмы не отказывайся!

И у девочек и особенно у мальчиков к нему накапливалась тяжелая ненависть. Вспоминали, как он вызвал в приют казаков и они забрали тогда Ларьку, Аркашку и Николая Ивановича. Как пытался что-то выгадать у белых за сведения о матери Миши Дудина... Как он выслеживал, шпионил и обо всем доносил Смиту. И не хотел домой, в Питер. А этот его разговор о гейшах окончательно всех возмутил.

Но тут встала, как загипнотизированная, Лида Савельева, толстушка с лицом куколки, которая так здорово изображала Круков в виде Адама и Евы...

— Пойдите...— прошептала она.— Пойдите...

И прошлась нерешительно по комнате. Все недоверчиво следили за ней.

— Вчера я случайно проходила около порта... Видела мистера Крука,— нерешительно продолжала Савельева.— Он разговаривал с капитаном японского судна. Говорили по-английски, я кое-что поняла. Судно называется «Асакадзе-мару». Мистер Крук и капитан торговались. Мистер Крук нанимал судно...

Все молчали в полном отчаянии. Но Катя насмешливо спросила:

— Ну и как, нанял?

— По-моему, нет. Не сошлись в цене.

Катя с грустной улыбкой посмотрела на своих подруг:

— Верите?

Все молчали.

— Верите, что мистер Крук нанимал судно, чтобы забросить нас в Японию? Верите, что Джеральд Крук и Энн Крук хотят из нас сделать гейш, а из мальчиков бандитов, что ли?

Все оглянулись на Лиду, которая уверяла, что рассказала правду, она видела своими глазами...

— Ну и что? Это же Круки! — Катя холодно уставилась на Савельеву. — Целый год они делали для нас все, что могли, они жили для нас! Их можно упрекнуть разве в том, что они слишком добры... Но в подлости? Боже мой, как не стыдно! Каждая из нас обижается, если о ней даже подумают плохо, а о Круках, которые в десять раз лучше всех нас...

— Но я же ничего не сказала! — завопила Савельева.

Однако подозрение осталось. За Круками следили во все глаза. Вскоре просочилась еще одна новость: мистер Крук и Майкл Смит уезжают в Харбин! Почему в Харбин, к китайцам?.. Объяснению миссис Крук, что они выехали в надежде обменять там бумажки царя и Керенского на полновесные доллары, поверили только Ларька и его компания, которые вели себя как-то странно.

Это было уже в мае двадцатого года. К этому времени те несколько сот ребят, которые два года назад уезжали в хлебные места на лето, мечтали об Ильменском заповеднике или о том, как они привезут домой мешок муки и кусок сала, и вообще-то были просто беззаботными школьниками, все чаще оглядывались на Ларьку и его единомышленников, число которых постоянно росло.

Удивляло и раздражало, что они учились. Готовились к окончанию реального училища или гимназии. Даже Володя Гольцов не мог учиться, а они могли... Только и всего. И посмеивались над паникерами.

Аркашка хмуро признался Мише Дудину, что он не понимает Ларьку, что Ларька стал не тот...

— Он скатывается к оппортунизму, — с глубоким сожалением произнес Аркашка. — И даже к соглашательству...

Миша глядел с испугом. Он не решился спросить, что это такое.

— Его надо предостеречь. Спасти, — еще мрачнее заявил Аркашка. — Пока не поздно. Пока он не докатился до предательства!

— Ты что! — ахнул Миша.

— Ты знаешь, где знамя краскома? — шепотом спросил Аркашка.

— Нет.

— Никто не знает. Может, его уже нет?

— Как это нет?

— Очень просто. Ларьке нет дела до знамени краскома! До мировой революции! Он решает задачки по тригонометрии.

Миша потупился. Он тоже решал задачки, зубрил древнюю историю и английские глаголы. Но хоть обожал Аркашку, не хотел сдаваться:

— Для мировой революции лучше, что ли, если будем безграмотные?

— Это тебе Ларька напел? — подозрительно покосился Аркашка.

— Он говорит: революции требуются инженеры...

— Инженеры! Зачем?

— Строить.

— Строить! — с отвращением повторил Аркашка, и тут же глаза его вспыхнули черным огнем, а руки сжались в кулаки. — Разрушать — вот что надо! Рушить! Все! До основания!

— А затем, — поднял голову Миша, — мы наш, мы новый мир построим.

— Это когда будет, — отмахнулся Аркашка. Ему явно не хотелось что-то там строить... Охота была разрушать.

Аркашка попытался напрямую объясниться с Ларькой, но из этого мало что вышло. Ларька, который весело улыбался ребятам, беззаботно занимался, твердил, что беспокоиться не о чем, дальше их не вывезут, потому что некуда, а большевики все равно придут и сюда, к Великому океану, — с Аркашкой был грубоват.

— Революции нужна не трескотня, а дело, — оборвал он Аркашку.

— Ты что, не слышишь? — Аркашка простер руку к окну, за которым стреляли. — Там убивают революцию! А ты долбишь свой плюсквамперфектум...

Ларька оскалился на него, как на врага:

— Да! Долблю! А ты что делаешь?

— Я? — Аркашка быстро оглянулся и заторопился,



заранее торжествуя: — Я установил связь с партизанами! И еще всех вас, зануд, первых учеников, спасу!

Но Ларька не выразил никакого восторга. Он впился в черные глазищи Аркашки:

— А партизаны тебе — спасибо! В ножки поклонились, благодетелю!

— Почему? Какое спасибо?

— Ну как же! Помог революции! Подбросил партизанам работенку. Им делать нечего, только с нами возиться. Ты что, боишься?

— Я? Боюсь?

Ларька снова показал острые зубы:

— Боишься, что пропадешь. А ты не бойся, скиталец морей. Зубри физику. Математику. Ты не маленький, соображай. Дело делай, а не трещи о мировой...

В этот вечер, в начале июня, вернулись из Харбина мистер Крук и Майкл Смит довольные, победителями.

За время поездки возникло только одно обстоятельство, о котором стоит упомянуть.

В первый же вечер, еще по дороге в Харбин, Смит снова заговорил о том, что пора бы мистеру и миссис Крук перечесть наконец роман Киплинга «Ким»...

Джеральд Крук откинулся назад, вытаращил глаза. Он явно заподозрил Смита в каком-то помешательстве на этом романе.

— Дался вам Киплинг...— Он неестественно засмеялся.

— В «Киме» говорится о злосчастях индийского мальчишки. О его скитаниях,— заговорил Смит.— И о том, что мальчишка наверняка бы погиб, не подбери его английский офицер... Этот офицер понял, что такой мальчишка, прошедший невероятные испытания, коренной индус, который сможет проникнуть туда, куда англичанину не будет доступа, такой парень, если им заняться как следует, настоящий клад для Англии...

— Для Англии? — недоумевая, пророкотал басом мистер Крук.

— Неужели не поняли? — Смит сдвинул брови.— Я знаю, вы хотите везти ребят в Соединенные Штаты. Зачем?

— Но ведь только таким путем они смогут вернуться домой, в свой Питер...

— Вы уже потратили на них десятки тысяч долларов. Во что обойдется переезд? И кто вам позволит, если дети попадут в Штаты, вернуть их большевикам?

— Родителям!

— Большевикам, мистер Крук. Америка не позволит вам тратить доллары на большевиков. За свои доллары мы должны что-то иметь...

— Майкл! — загремел мистер Крук. — Я десятки раз твердил вам, что мы Красный Крест, а не какие-то торгаши! Мы вне политики, наше дело — человеческие жизни...

Но этот гром не произвел на Смита ни малейшего впечатления. Он переждал тираду мистера Крука и холодно спросил:

— Вы знаете, сколько стоит один разведчик?

— Разведчик? — опешил мистер Крук.

— Сотни тысяч долларов! А хороший — миллион!

— Миллион? — уставился на него мистер Крук.

— Около этих детей и мы с вами станем миллионерами!

Для этого я и подсовывал вам Киплинга. Чтобы вы с миссис Крук хоть раз в жизни поступили серьезно! Ведь у нас в руках сотни потенциальных разведчиков... Классных разведчиков!

Мистер Крук хоть и продолжал сидеть, но так подобрался и выпрямился, что казалось — он встал. Тараща глаза и шевеля губами, он рассматривал Смита. По-видимому, ошеломленный открывающейся перспективой...

— Хорошо, Майкл, — пробормотал он невнятно. — Удивительная мысль, Майкл... Мне надо время, чтобы все обдумать...

Им удалось обменять в Харбине керенки и царские рубли — около трехсот тысяч — на полновесные доллары и благополучно вернуться во Владивосток, к ребятам...

Через какой-нибудь час странные слухи поползли по классным комнатам. Будто всех ребят Круки увозят в Америку...

В школе нашлась большая карта мира. Ее повесили в актовом зале, где собрался митинг.

Сотни глаз смотрели на Джеральда Крука, когда он,

водя указкой по карте, объяснял, что самый короткий путь в Питер лежит через Соединенные Штаты. Он пытался говорить как обычно — добродушно, громко, уверенно, но что-то не получалось. Все острее ощущал он неловкость. Будто обманывал их. Хотя знал, что говорит правду.

— Вы совершите кругосветное путешествие! — гремел мистер Крук. — До Сан-Франциско меньше трех недель! Не пройдет и трех месяцев, как вы попадете в Петроград!

Тут многие, самые деликатные, потупились, как по команде, а у тех, кто продолжал всматриваться в мистера Крука, зазмеились кривые, насмешливые улыбки...

Но никто не произнес ни слова. Все упорно молчали, избегая встречаться взглядом с Круками или Смитом.

— Кругосветное путешествие! — взмахивал руками Джеральд Крук. — Слава господу нашему, земной шар все-таки круглый... От Петрограда до Владивостока вы уже проделали десять тысяч верст... Это был трудный путь. Но когда-нибудь вы станете гордиться тем, что его выдержали! То, что осталось, — пустяки. Пусть не страшат вас расстояния. Вы будете преодолевать их в условиях мира и благоденствия! Немногим больше восьми тысяч верст до Сан-Франциско. Пароход, который мы зафрахтуем, будет делать не меньше десяти узлов в час! Подскажите мне, сколько это будет в километрах или в верстах?

Он с надеждой уставился на Аркашку, потом на Ларьку, наконец — на Володю и даже на Катю. Но никто не разжал губы.

— Из Сан-Франциско всего шесть тысяч верст до Панамского канала, — поторопился мистер Крук, отирая широкий белый лоб. — Вы увидите Южную Америку! Тропики! Южные моря! Созвездие Южного Креста, которое никто никогда из вас не видел! Мы пройдем путями великих мореплавателей! От Панама до Нью-Йорка нет и четырех тысяч верст. А там и Петроград, всего около восьми тысяч верст. Пересечем два океана! И вы — дома...

А они молчали.

— Сейчас многим кажется, что они несчастны, — сухо молвила Энн Крук, вглядываясь в зал. — Но подумайте как следует. Из миллионов русских детей только вам выпало такое необыкновенное счастье.

И тут никто не откликнулся. Только легкий шумок про-

шелестел по залу. Незаметно вздохнув, мистер Крук добавил:

— Мы отвечаем за вашу жизнь и благополучное возвращение домой. Во Владивостоке любого из вас могут подстрелить. Тем более что вы упорно шатаетесь по улицам... Надежды отправить вас кратчайшим путем, через Сибирь, рухнули. Вот почему принято решение, о котором я сообщил. Я надеюсь,— стараясь бодриться, закончил мистер Крук,— что вы тут выступите, как полагается на митинге, и скажете нам все, что хотите...

У Аркашки разгорелись глаза. Пересечь на корабле Великий, или Тихий, океан! Пройти Панамским каналом! Побывать в южных широтах! Между прочим, в самых флибустьерских местах... Пересечь еще один океан, Атлантический. Мечта скитальца морей!..

Вчера, на подпольном сборе, красные разведчики постановили: в Америку не ехать. Любой ценой оставаться здесь, дома. И Аркашка теперь мучился, его одолевали сомнения...

Выступающие все еще не находились, и тишина становилась зловещей, вызывающей. Выскочил, правда, Валерий Митрофанович, лепетал что-то о величии Америки, о неблагодарности русских, воздевая руки, твердил, как он будет счастлив, когда ступит на палубу корабля, частицу американской обетованной земли...

После выступления Валерия Митрофановича тишина сделалась еще гуще. Смит, посмеиваясь, начал вызывать на выступления. Назвал фамилии Ручкина, Колчина, Гусинского, Обуховой. Никто из них не вышел. Но когда Смит упомянул Гольцова, Володя встал. Он хотел сказать несколько слов с места; обрадованные Круки уговорили его выйти на сцену.

— Миссис Крук призвала нас радоваться,— сказал Володя.— Нам предстоит кругосветное путешествие! Очень заманчиво, правда?

В зале кое-кто несмело улыбнулся.

— И все-таки я объясню, почему не радуюсь. Мы уже пропутешествовали десять тысяч верст, как сказал мистер Крук. На это ушло два года... Я подсчитал: теперь нам предстоит пропутешествовать еще двадцать шесть тысяч верст...— В зале стало еще тише.— Кто поручится, что на двадцать шесть тысяч верст не уйдет пять лет? Кто по-

ручится, что мы вообще вернемся домой? — Он смотрел в зал, и на него смотрели, но без улыбок. — Вот почему мы не можем радоваться, миссис Крук, извините...

— Это называется гнилая интеллигенция! — заявил Ростик, внезапно появляясь на сцене. — То он цветочки собирает, как та стрекоза, пока муравьи, понимаешь, соображают, как жить... — Ростик подмигнул в зал, и в задних рядах его дружки ответили довольным гоготом. — То он ноет, на жизнь жалуется, все его обижают, Америка ему не нравится, охота опять в приют, голодать и помирать, потому что он ничего не умеет... Правильно я говорю? — Его опять поддержали, и Ростик воодушевился еще больше. — Интеллигенция, без мамы не может, без папы не проживет! А я скажу по-простому, по-рабочему, по-пролетарскому — даешь Америку! Чего мы тут не видали, в этой нищете? Там хоть есть на что поглядеть...

Это выступление никто не принял всерьез. Как ни старались Круки и Смит, желающих больше не было. Пришлось мистеру Круку в заключение заявить, что он немедленно начинает переговоры с капитаном японского судна...

Все стали расходиться. На заключительные слова мистера Крука никак не реагировали. Вечером в спальнях, как доносил Смит Валерий Митрофанович, было тихо.

— Мне это не нравится, — уронил Смит.

— Затевают что-то, — поддакнул Валерий Митрофанович.

— Ничего себе, информация.

— Ростик и его ребята ничего не знают...

— Ростик! Вам давно следовало прибраться к рукам Ручкина и других красных заводил.

Валерий Митрофанович только жалобно вздохнул. К Ларьке ему никак не удавалось подобраться.

Смит пошел к Крукам. У двери он услышал голос миссис Крук. Она вслух, негромко, читала Библию.

— «Блаженны скорбящие о всех бедствиях твоих, — услышал Смит, — ибо они возрадуются о тебе, когда увидят всю славу твою, и будут веселиться вечно...»

Смит пожал плечами и открыл дверь.

— Прошу прощения, — проговорил он. — Дело не терпит отлагательства... Вы обещали подумать, мистер Крук, о том первоклассном предложении, которое я сделал по дороге в Харбин.

— Мистер Крук подумал,— сурово произнесла Энн Крук.

— Я подумал, Майкл,— нахмурился Джеральд, не глядя на Смита.

Майклу Смиту стало не по себе. Ему до сих пор просто не приходило в голову, что от его предложения можно отказаться. Ведь это противоречило здравому смыслу! А сейчас он ощутил растерянность.

— Эти дети опасны,— заторопился Смит, теряя обычную сдержанность.— Помните, миссис Крук, первую встречу с ними? Они пели «Интернационал». Если б не вы, Ларьку и Аркашку засекли бы казаки... До сих пор они где-то прячут знамя красноармейцев. Они откровенно признаются, что считают себя красными! А ведь им уже шестнадцать лет. Зачем такие дети Америке? Плодить красную заразу? Вас не поблагодарят, мистер Крук.

Они сидели выпрямившись, высоко подняв головы и смотрели куда-то вдаль, может, вглядывались в далекую Америку, и, казалось, не видели Смита... Но он уловил, что попал в точку. Круки думали как раз об этом: как отнесутся в Штатах к приезду красных детей? Их мучила эта мысль, сомнения... Именно поэтому они молились и искали утешения в Библии...

— Если мы сумеем организовать их выступления в Америке,— внушительно заговорил Смит,— организовать, как надо, дело пойдет! Пусть расскажут о вшивой Совдепии так, чтобы рабочих, интеллигенцию, даже негров стошнило от русской революции. Я это организую. Кстати, надо бы неделю-другую подержать их на хлебе и воде, чтобы к Сан-Франциско они приняли более мученический вид. Дадим рекламу! Добьемся серьезного успеха! А когда о них все позабудут, возьмемся за главное, за сотворение первоклассных разведчиков... Выбирайте, мистер Крук: или благодарность Соединенных Штатов и богатство, или проклятие Америки и нищета...

— Мистер Крук не хочет слушать этот вздор,— твердо сказала Энн Крук.— Никакие они не мученики, а дети революции.

— Смит, вам не удастся сделать из этих ребят шпионов,— вставая, сказал Джеральд Крук.

— Думаю, это зависит не от вас, сэр,— помолчав, промолвил Смит.— Мне вас жаль.

Когда он выходил, ему показало́сь, что в дальнем конце коридора кто-то поспешно завернул за угол... Смит по́мчался туда. За углом никого не было. Он кинулся в спальню. Все спали.

Между тем в комнате, которой особенно интересовался Майкл Смит, не спал никто. Прошел, наверно, целый час после того, как он сюда заглядывал. Аркашка пошевелился и поднял голову. Тотчас привстал Ларька.

В этой комнате временно размещались шестнадцать старших мальчиков. Четырнадцать из них входили в число красных разведчиков. Но были еще двое — Ростик Гмыря и Володя Гольцов.

Аркашка и Ларька бесшумно подошли к кровати Ростика. Он делал вид, что храпит.

— Открой глазки, Ростислав,— предложил Ларька.— Дело серьезное.

Храп прекратился. Потом, пустив на всякий случай еще руладу, изобразив сладкий зевок, Ростик приоткрыл невинные глаза.

— Вам чего, ребята?

— Сейчас мы сведем тебя в подвал и там запрем. Только тихо... Будет тихо — будешь жить. Нет — удавим!

Ростик недоверчиво посмотрел на Ларьку, потом глянул на Аркашку и сразу поверил: такое свирепое было у Аркашки лицо.

— Не доверяете? — скривился Ростик, обижаясь.

— Не тяни резину,— посоветовал Ларька.

Они проводили Ростика в подвал. По дороге Ларька обещал, что, если Ростик выдержит испытание, может, ему и поверят... Сказал, что сидеть придется до обеда.

— А поесть? — затосковал Ростик.

Запирая дверь, ему сурово ответили:

— Не помрешь.

Когда они вернулись, Боб Канатьев сидел в комнате, у двери, сторожил. А Гусинский объяснял Володе:

— Вы же сами сказали, что это кругосветное путешествие не вызывает восторга. Здесь вы видите людей, которые решили не ехать. Если вы с нами, дайте слово, и мы вам поверим...

— Несерьезно.— Володя, потупясь, протирал очки.— Вас никто не поддержит. Увидите, все захотят в Америку, в южные моря.

— Теперь не захотят,— сказал Ларька.  
— Вы думаете? — иронически усмехнулся Володя.  
— После того, что мы узнали, разве такое барахло, как Ростик, согласится ползти на ихний корабль.  
— Что же вы такое необыкновенное могли узнать?  
Тогда Аркашка, выкатив огромные, как два черных облака, глаза, громким шепотом спросил Володю:  
— Скажите, Гольцов, вам улыбается стать американским шпионом?..

## 29

Круки были крайне огорчены тем, что ребятам так не повезло, что война еще раз отсекла их от дома.

Операция в Харбине, когда мистер Крук сумел обменять обесцененные царские рубли и пустопорожние керенки на полновесные доллары, была тоже не простой. Но капитан японского сухогруза «Асакадзе-мару» соглашался предоставить свое судно для перевоза детей в Штаты только за доллары.

Нелегко достался Крукам и тот митинг, где на них смотрели полторы тысячи детских глаз, и многие не только с недоверием, с ожесточением, но и с презрением, с вызовом...

Слава богу, все это осталось позади. Дети поняли, что иного выхода нет. И хотя время от времени на мистера Крука набегали гнетущие мысли о том, как встретят в Штатах их необычную одиссею с красными детьми, но сейчас и с этим было поздно считаться. Он подписал с капитаном Торигаи договор. Капитану Торигаи был вручен аванс, в долларах конечно. Капитан Торигаи был приземистый, крепкий, широкий, как ворота. С таким капитаном не пропадешь. Приятно смотреть, как он улыбается, приятно слушать, как он хвалит свой корабль. И все, о чем раньше было договорено, капитан Торигаи выполнил.

Твиндеки, где обычно размещался груз, Торигаи переоборудовал под жилье для ребят; здесь без труда могут разместиться несколько сотен человек.

Пассажирских кают на сухогрузе имелось только двенадцать. Их займут миссис и мистер Крук, Смит, шесть учителей, врач, завхоз и шеф-повар.



Судно было грузовое, но содержалось в исключительном порядке и чистоте. Даже миссис Крук ни к чему не могла придаться. Капитан Торигаи предоставил ей возможность облазить корабль сверху донизу, хотя это было и не так просто. Водоизмещение, что ни говори, десять тысяч тонн! Это не какая-нибудь каботажная шхуна... И ход соответствующий — десять узлов.

Миссис Крук честно призналась, осмотрев судно, что хотела бы видеть и американские сухогрузы в таком идеальном состоянии. Капитан Торигаи еще шире расплылся в довольной улыбке. Он гордился своим «Асакадзе-мару» и имел для этого все основания.

Капитан проводил чету Крук на причал, где с подошедших военных транспортов продолжалась разгрузка зеленых японских танков. Несколько танков, лязгая и громокая, уползали от причала, заволакивая все удушливым черным дымом.

— Еще раз напоминаю, капитан,— строго твердила миссис Крук, несколько раздосадованная тем, что не обнаружила на «Асакадзе-мару» никаких недостатков,— мы будем неукоснительно соблюдать режим дня. Подъем. Зарядка. Занятия. В том числе занятия детского хора и оркестра. Дежурства детей. Все строго в установленные часы.

Капитан Торигаи улыбался еще ослепительнее, решительно во всем почтительно соглашаясь со строгой миссис Крук.

— Сегодня и завтра — баня,— сообщила ему миссис Крук.— Это не так просто, вымыть перед плаванием всех детей... Послезавтра в десять ноль-ноль начинаем посадку.

Капитан позволил себе заметить, что «Асакадзе-мару» готов хоть сейчас принять драгоценный груз.

— Я думаю, дорогая,— несколько оживился мистер Крук,— что мы за час до посадки пришлем наш оркестр! Пусть приготовится и играет во время посадки...

Энн Крук проницательно взглянула на мужа.

— Не волнуйся, Джеральд,— твердо сказала она.— Все в порядке...

Они распрощались с любезным капитаном и двинулись к выходу в город. Тяжело и страшно было смотреть, как вопящие, теряющие человеческий облик толпы русских

господ требуют, чтобы их забрало из родной страны любое иностранное судно, лучше военное... Потом Круки подождали, пока маленький японец в очках проверит их пропуск, миновали цепочку японских солдат со штыками наперевес... День был солнечный, тихий; только нестерпимо громыхали и воняли позади танки... У Круков росло приятное ощущение, что все скверное позади, теперь все ясно. Они невольно вздохнули полной грудью, когда вышли из порта. Взглянув друг на друга, улыбнулись...

И тут к ним кинулся не похожий на себя Смит, вспотевший, в пыли, с перекошенным лицом:

— Я третий час пытаюсь вас найти! — сорвался он на крик. — Вы знаете, что происходит?

Круки смотрели на него с немой укоризной. Им только что было так хорошо...

— Бунт!

— Бунт? — повторил мистер Крук, оглядываясь.

— Да не в городе! У нас! Взбунтовались эти так называемые дети...

Около Смита вертелся Ростик. Он был в форме скаута, которая никогда ему не шла, а сейчас особенно выглядела нелепо.

— Психи! — пожаловался Ростик. — Не хотят в Америку...

— Красный бунт! — оборвал его Смит. — Командует, конечно, Ларька Ручкин. Его давно надо было убрать, но меня же не слушали! Они воспользовались тем, что все учителя ушли в город купить кое-что в дорогу. В здании остались одни дети. Я вышел на несколько минут, в аптеку. Когда вернулся, двери оказались на запоре. Я потребовал, чтобы открыли. Тогда на балкон вышел этот Аркашка... Колчин. Вы посмотрели бы, в каком виде! Впрочем, вы еще им насладитесь. В каких-то отрепьях, полуголый! И заявил, что никаких переговоров с американцами вести не будут... Они выбросили всю одежду, всю еду, которую вы им подарили. Пока я пытался ему что-то внушить, дверь на секунду приоткрыли и выкинули вот этого... — он кивнул на Ростика. — Когда я кинулся к двери, она снова была заперта. И там смеялись!

Мистер Крук снял шляпу, вынул платок и медленно вытер лицо и голову. У него были глаза обиженного ребенка.



— Я не понимаю, что произошло?

Ростик потупился. Смит, еще не остыв от гнева, уставился было на миссис Крук, но потом предпочел смотреть на Джеральда Крука. Отвечать он, кажется, не собирался.

— Вы слышите, Смит? — ледяным голосом произнесла Энн Крук. — Мистер Крук желает знать, что произошло.

— То, что я давно ожидал, — прошипел Майкл Смит, неожиданно резко поворачиваясь к ней. — То, о чем я долбил вам несчетное число раз! Это красные, ясно? Красные! Большевики! Им по шестнадцать лет! Они в армию годятся! А что я слышал в ответ?

— Что это дети, старина, — мягко сказал мистер Крук.

Кажется, Смит выругался, но этого никто не слышал.

Пока они бежали к школе, где забаррикадировались взбунтовавшиеся ребята, Энн Крук расспрашивала Ростика:

— Вы находились со всеми?..

— Да, миссис Крук.

— С чего началось?

— А я знаю? У них было договорено. Сняли с себя все, что вы им дали, форму, все. Надели свое, питерское дранье. Башмаков нет, так они босиком. Я их уговаривал: «Что вы, говорю, братцы, как можно, миссис Крук и мистер Крук очень обидятся». Тогда они заметили меня и выбросили.

— Почему?

— Так я разве из ихней компании!

— А из какой?

— Я сам по себе. — Ростик с гордостью выпятил грудь, оглядываясь на Смита. — Я хочу в Америку, с вами, буду все делать, что скажете...

Круки бежали, уже не слушая Ростика. Еще издалека увидели у школы японский патруль и Валерия Митрофановича. Сняв поношенную учительскую фуражку, прижимая к груди цепкие ладони, он умоляюще глядел на солдат и что-то им растолковывал.

— Просит взломать дверь, — процедил Смит. — Пустой номер. Я тоже просил...

Японцы покачали головами, показали Валерию Митрофановичу на флаг американского Красного Креста над школой и ушли, не оглядываясь.

Валерий Митрофанович в запале шмякнул даже

фуражкой о тротуар, но тут же подобрал ее и сердито принялся чистить.

На балконе второго этажа время от времени появлялся кто-нибудь из ребят. Сейчас выскочил Миша Дудин. Он и правда был босиком, в латаной-перелатаной Катей рубашке и старых, мятых штанах, у которых одна штанина была выше другой.

— Боже мой! — ахнула миссис Крук. — Ужасно! Ты похож на Гекльберри Финна!

— На кого? А!.. — Мишина рожица расплылась от удовольствия, когда он понял. Впрочем, он тут же спохватился и стал важным, как заправский дипломат. — А мы с вами не разговариваем.

— Почему?

— Никаких переговоров. Ларька сказал.

И он исчез, хотя Круки умоляли его остаться.

Они довольно долго стояли перед притихшим зданием, чувствуя себя в глупейшем положении... Смит не выдержал, что-то пробормотал и ушел. Но тут же на минуту вернулся и заявил, что не намерен унижаться, а, напротив, намерен засесть в ближайшем кафе и выпить так, как никогда в жизни не напивался. Когда Круки будут готовы взломать двери, он, Смит, будет к их услугам, не раньше. Валерий Митрофанович метался перед дверью, объясняя, что там внутри все его имущество...

— Неужели они его реквизируют? — спрашивал он миссис Крук.

Тут на балконе появился Аркашка и скомандовал:

— Отойти от двери!

Круки и Валерий Митрофанович послушно отскочили в сторону, а Ростик, на всякий случай, спрятался под балконом.

Тогда двери на секунду открылись, и вышла Катя. Она была тоже не в скаутской форме, а в том стареньком питерском черном платье с кружевным воротничком, которое так когда-то любила. На ногах у нее, как с некоторым облегчением отметила миссис Крук, были все-таки хоть шлепанцы. Катя торопливо сказала:

— Я только на минутку. Меня не хотели выпустить, и может, правильно. Все-таки я надеюсь... Это так ужасно, миссис Крук! Все знают, что вы хотите сделать из нас американских шпионов. Не пустите нас домой...

Впервые в жизни миссис Крук не нашлась, что сказать. Она сердито оглянулась на мужа.

— Это неправда! — громко запротестовал он.

— Извините, мистер Крук, — тихо сказала Катя. — Вам больше не верят.

Круки переглянулись.

— Как! — вспыхнула миссис Крук. — И вы против нас?

С тоскливой жалостью Катя всматривалась в их лица.

— Я не знаю. Вы очень добры, всем верите, я люблю вас за это... А если вас обманывают?

— Да, мы были слишком добры! — гневно сказала миссис Крук. — Слишком! С вами так нельзя. Что ж, мы прикажем выломать дверь. И отведем вас на корабль силой. Если вы дошли до такой низости, что не цените всего, что для вас делается...

— Не надо так, миссис Крук, — выпрямилась Катя, опуская глаза. — Мы не хотим в Америку. Мы ничего от вас не хотим. Не только вашей одежды, но и вашей еды... Мы объявили голодовку до тех пор, пока нас не отправят домой...

— Вы не хотите нашей любви, Катя? — задыхаясь, проговорил мистер Крук. — Разве мы не любим вас всех, даже... — Он невольно взглянул на Ростика. — И мы хотим отвезти вас домой...

Катя взглянула на него, молча покачала головой и пошла ко входу в забаррикадированную школу все быстрее... Дверь на мгновение приоткрылась и снова захлопнулась.

## 30

Учителей ребята предупредили, что не пустят в здание, чтобы не пало подозрение, будто в бунте участвуют взрослые. Ночь ученики провели в школе, а Круки и учителя в гостинице.

Наутро на здании школы появился лозунг: «Даешь домой! И никаких гвоздей!» В школе было сколько угодно чернил, но написанный кровью призыв выглядел куда сильнее.

Процедуру эту предложил Аркашка, и, хотя Ларька насмешливо скалил зубы, Аркашку горячо поддержали. Решили сначала осторожно, карандашом, нанести контуры

букв на простыню, а потом наполнять своей кровью каждую букву. От желающих не было отбоя. Пришлось по несколько раз наполнять буквы кровью...

Ребята были уверены, что Круки потрясены. Но Круки считали, что лозунг написан обыкновенными красными чернилами, и миссис Крук возмущалась, что испорчена хорошая простыня.

Иногда в открытом окне школы показывался шланг, который держали несколько рук. Вверх взлетала и падала серебристая струя, отчего пыль на тротуаре темнела и взбухала, как тесто. Этот шланг в мирные дни использовали, чтобы поливать школьный сад. Ларька велел втащить его в здание и буркнул:

— На случай обороны...

Энтузиасты осваивали шланг, стараясь все же не слишком щедро поливать прохожих.

Капитану «Асакадзе-мару» было сообщено о непредвиденных обстоятельствах. Он потребовал выплаты компенсации: выход судна в море задерживался не по его вине. Мистер Крук, и без того осунувшийся за сутки, побледнел, понимая, что, если «Асакадзе-мару» не уйдет в течение двух-трех дней, он останется без гроша. Все попытки как-то договориться с ребятами, хотя бы вступить с ними в переговоры, оканчивались ничем. К тому же они продолжали голодовку и, наверно, от этого становились все сердитее.

Мистер Крук строго-настрого предупредил Смита и Валерия Митрофановича, чтобы они не втянули в конфликт японцев или белых; запрещено было давать какие-нибудь сведения местным газетчикам.

Самое неприятное объяснение пришлось выдержать со Смитом. Он не принимал упреков, что все неприятности возникли из-за его нелепой затеи; нелепостью он, наоборот, считал поведение Круков.

— Вот ваша книга,— сунула ему миссис Крук томик Киплинга.— Она отвратительна. И чем талантливее, тем отвратительней. Воспевать мальчишку за то, что он предает свою родину, свой народ,— это же гнусно!

— А если народ сбился с дороги? — пожал плечами Смит.— Вы же видите, что происходит в России! Народ, как стадо, шарахнулся с пути. Истина в том, чтобы помочь ему вернуться в семью цивилизованных наций.

Джеральд Крук поморщился:

— Майкл, вам не нравится русская революция. А русским она нравится.

— Не уверен.

— Не уверены? — Крук вытаращил добрые глаза. — Тогда объясните, пожалуйста, почему эти несчастные ребята так рвутся домой? Почему не хотят отправиться в путешествие? Почему не доверяют нам? — И, не слушая сбивчивых возражений Смита, пророкотал, как труба: — Все вышло из-за вас, Смит. Извольте это исправить.

Смит ничего не собирался исправлять, но знал, что у Ростика остались в школе дружки... Попытались установить с ними связь. Из этого тоже ничего не вышло. Ларька не спускал глаз с дружков Ростика...

Школа выглядела все суровее. Никто не выходил на балкон. Окна были закрыты. Голоса ребят не слышались. Может, они ослабели от голода? Лишь к вечеру второго дня Круки, дежурившие у здания почти бессменно, услышали знакомую им песню про «Варяга», который не сдается, даже погибая... Им показалось, что они различают голоса.

— Слышишь? Катя! — встрепелась миссис Крук.

— И Аркашка! — подхватил мистер Крук.

— Очень мрачно поют...

— Еще бы! Вторые сутки не ели...

Им так хотелось увидеть ребят, что они подошли к двери и осторожно не то постучались, не то поскреблись... За дверью шевелились, но не отвечали.

— Пустите нас, пожалуйста, — попросил мистер Крук, прижимая ладонь к толстой груди. — Мы вам ничего не сделаем. Мы только хотим на вас посмотреть...

— И кончайте эти фокусы с голодовкой! — потребовала миссис Крук. — Если кто-нибудь заболит, я не стану лечить, так и знайте!

— Позвольте нам войти, — умолял глухим басом мистер Крук. — Мы только взглянем на вас и сейчас же уйдем...

— Нельзя, — строго прозвучал из-за двери голос Гусинского. — Теперь не о чем говорить...

— Но ведь вы ошибаетесь, честное слово! — заторопился мистер Крук.

— Это глупо! И невежливо! — подхватила миссис



Крук.— Шпионы! Возмутительно! Как вы смеете думать такие гадости обо мне и мистере Круке!

Гусинский не отвечал.

— Неужели вы нас не пустите? — продолжал уговаривать мистер Крук воркующим, как у голубя, голосом.— Хотя бы на минутку...

— Перестань, Джеральд, так просить,— сухо сказала миссис Крук.— Они унижают себя неблагодарностью и бессердечностью...

И тут в них ударили струи холодной воды. Послышались гогот и крики:

— Долой Круков!

Мистер Крук невольно шарахнулся, но сейчас же заслонил жену. Их поливали, как клумбу. В них попали не случайно, а целились...

Послышался грозный окрик Ларьки: «Перестать!», чей-то вопль; шланг из окна, извиваясь, исчез...

— Что это, Джеральд? — Голос у Энн Крук дрогнул.— Благодарность?..

Она не успела договорить, он не успел ее утешить... Из переулка у аптеки выскочил худенький человечек в холщовой блузе. Он пробежал мимо Круков. Это был Джером Лифшиц, тот самый Джером Лифшиц, который должен был сопровождать детский эшелон из Владивостока до границы Дальневосточной республики и сдать ребят представителям Советской власти...

Он исчез немедленно после того, как город захватили японцы. Его разыскивали. Он был объявлен вне закона. Белые поклялись пристрелить его, как собаку... Но крепко уважали большевика Лифшица в рабочих кварталах Владивостока, и до сих пор ему удавалось скрываться... А теперь он бежал.

Из переулка со стороны аптеки доносились беспорядочные крики, и Лифшиц бегло улыбнулся Крукам, пожал плечами и подскочил к двери в школу. Она тотчас открылась. Он исчез. И тут же из переулка высыпал японский патруль с карабинами наперевес. Вытянув длинные руки с револьверами, рядом с японцами бежали белые офицеры.

— Твоя барсука? — крикнул, будто завизжал, первый японец, подскакивая вплотную к Круку. Это значило: «Ты большевик?» Японец, как ни тянулся, приходился Джеральду едва по плечо. Какую-то секунду мистер Крук

помедлил и затем жестом, полным достоинства, молча указал на флаг американского Красного Креста над зданием.

Это произвело отрезвляющее впечатление. Однако японцы и белые настаивали, что разыскивают опаснейшего преступника, что, по сведениям контрразведки, он мог скрыться в этом здании, где бывал и раньше... При этом они рассматривали мистера и миссис Крук хоть и вежливо, но с явным недоверием.

— Здесь никого не было,— твердо заявил мистер Крук.— Сюда никто не входил.

— Мы должны произвести обыск!

— Я протестую! — гулко, на всю улицу объявил мистер Крук.— Это неслыханное нарушение суверенных прав Соединенных Штатов!

Однако японцы и белые уже барабанили в двери прикладами и рукоятками револьверов. Некоторое время дверь не открывалась. Наконец открылась; на пороге стоял Ларька и скалил зубы...

Это нахальное поведение задержало японцев и белых еще на какую-то долю минуты. Впрочем, Ларьку тут же отбросили в сторону, и обыск начался. Вслед за японцами в здание вошли, конечно, и Круки со Смитом и Валерием Митрофановичем. Ростика Ларька все-таки не пустил.

Белые и японцы пытались выведать у ребят, куда скрылся Лифшиц. Но все только удивлялись и пожимали плечами, явно не понимая, о ком идет речь. Смита и Валерия Митрофановича Круки затащили в свою комнату и не отпускали ни на шаг. На всякий случай миссис Крук придерживала Смита за рукав.

Обыск длился долго. Японцы по нескольку раз возвращались в классные комнаты, заглядывали даже в парты и за учебные доски, а сами косились на ребят: может, они не выдержат, сорвутся, как-нибудь выдадут себя? Но лица у ребят были каменные...

Белые офицеры, распотрошив все в спальнях детей, полезли в подвал, на чердак, в школьный буфет, в сарай, но, кроме того, что разукрасились паутиной и пылью, никаких результатов не добились. Джером Лифшиц, которого они так жаждали пристрелить на месте, исчез без следа.

Между тем Круки начали проявлять нетерпение. Когда

же миссис Крук решительно двинулась к выходу, чтобы немедленно связаться с американским представительством, японцы и белые неохотно заявили, что уходят.

Поручив миссис Крук присматривать за Смитом и Валерием Митрофановичем, мистер Крук пошел провожать непрошенных гостей.

В актовом зале, где висел огромный, чуть не до пола, портрет во весь рост царя Николая II, белые офицеры и японцы еще раз прошли строевым шагом, отдавая честь и скосив на хмурое царское личико выпученные глаза...

Когда все услышали наконец, как внизу тяжело хлопнули двери, Миша Дудин первый сорвался было с места.

— Ша,— велел Ларька.

Миша сел, вцепившись в ноги, которые сами хотели куда-то бежать.

Подошли Круки. За ними шагал Смит, плелся Валерий Митрофанович. Теперь, когда белые и японцы исчезли, и Круки и ребята чувствовали неловкость. Ведь Круков не пускали в школу, и все-таки они здесь... Крукам хотелось воспользоваться неожиданной возможностью и обстоятельно поговорить с ребятами. А Ларька, Гусинский, Аркашка, даже Катя и Миша Дудин нетерпеливо ждали, когда же Круки догадаются и уйдут. Сами. Не выгонять же их, в самом деле! При них небезопасно открывать убежище Джерома Лифшица. Между тем в его убежище невозможно просидеть долго...

— Видите, как получилось,— начал Джеральд Крук, широко улыбаясь.— Давайте воспользуемся случаем и потолкуем...

— Не о чем! — громко перебил его Аркашка.

— Как не стыдно, Аркадий! — нахмурилась миссис Крук.— Мы вас почти усыновили! И вообще...

— Буза все это! — напирал Аркашка, пытаясь выставить Круков.— Покомандовали, хватит!

— Разве мы плохо командовали? — еще шире улыбнулся мистер Крук.

— Докомандовались! Чтобы нас в шпионы!..

— Это бред! — стукнула кулаком миссис Крук.

Аркашка хотел ляпнуть тоже что-нибудь покруче, но не успел. Портрет царя вздрогнул, задергался. У царя перекосилось личико, будто он надумал заплакать. Ларька и Гусинский кинулись к портрету, помогая сдвинуть его в

сторону. И наконец появился улыбающийся Лифшиц.

— Он сидел в камине! — с жаром объяснял Миша Дудин оторопевшей миссис. — Это Ларька придумал! А камин мы прикрыли портретом царя! Будто так и было... Они царю честь отдавали! А там Джером сидел!

Джером Лифшиц сказал:

— Есть предложение. Высоким договаривающимся сторонам немедленно сесть за стол и выкурить трубку мира...

Он торопился и даже несколько подталкивал к столу на сцене сначала Джеральда Крука, а потом Ларьку.

Они уселись. Вокруг, в набитом битком зале, в коридорах, толпились сотни ребят.

Крук не то улыбнулся, не то смахнул неожиданную слезу; может, и то и другое вместе. Он встал, протянул Ларьке руку. Ларька помедлил, но потом руки их встретились.

— Отличное начало,— прокомментировал в темпе Лифшиц.— Будем считать официальную часть законченной. Приступим к деловым переговорам.— Он сделал паузу, посмотрел на Ларьку, на Аркашку, на Гусинского, потом — в зал. И сообщил уже без улыбки: — Придется ехать в Америку, товарищи. Никуда не денешься.

Он понимал, что за секундой гневной тишины поднимется невообразимый крик и быстро подошел к краю сцены, протягивая руку:

— Ша!.. О вас знают не только товарищ Луначарский, но и товарищ Ленин! Так что ведите себя прилично... Хотя Соединенные Штаты нас не признают, в Нью-Йорке у Советского правительства есть свой представитель, товарищ Мартенс. Все будет олл райт! Никаких шпионов... А если кто-нибудь посмеет задержать вас, питерских и московских ребят, мы поднимем на весь мир такой хай, что господам империалистам станет тошно!..

Майкл Смит осторожно нагнулся над миссис Крук.

— Это поразительно! — сказал он тихо.— Ему верят!.. — И добавил, словно капнул ядом: — А вам — нет...

Все же на этом переговоры между мистером Круком и Ларькой не кончились. Ларька заявил:

— Ребята не хотят больше иметь дела ни с Майклом Смитом, ни с Валерием Митрофановичем.

Несколько опешив, Джеральд Крук попытался объяс-

нить, что на такую деликатную тему как-то неловко вести переговоры в присутствии сотен ребят и тех же Смита с Валерием Митрофановичем. Ларька не понимал, что тут неудобного, ему казалось, что напротив — пусть все слушают!

Лифшиц предложил:

— Давайте отменим голодовку. Поедим как следует. И мистер Крук и наш товарищ Илларион пусть посоветуются, извините, на голодное брюхо. Я думаю, они быстро договорятся...

## 31

Утром шестнадцатого июля 1920 года японский сухогруз «Асакадзе-мару», приняв на борт несколько сотен ребят и сопровождающих их лиц, готовился к выходу из Владивостокского порта. Позади осталось самое сложное — погрузка на судно.

Порт осаждали тысячи беженцев со всей России. Они спасались от разгневанного народа, от бурь революции. Разъяренная толпа, которая никак не могла добиться посадки хоть на какое-нибудь судно, поносила японцев, американцев и пуше всего детей, которые, понурясь, сбившимися рядами проходили на «Асакадзе-мару». Мгновенно разнесся слух, что это последнее судно в обетованную Америку, что больше кораблей не будет, что этот сухогруз — единственный шанс удрать от большевиков... На секунду Мише Дудину показалось, что он видит тех толстопуzych, которые пытались целоваться после ночи, когда японцы расстреливали рабочие кварталы Владивостока. Но еще ближе, приплюснутый к железным перилам воющей, извергающей потоки ругани толпой, стоял взъерошенный, с сумасшедшими глазами Валерий Митрофанович и визжал, потрясая кулаками:

— Почему американцы не выбросят за борт этих красных щенков? Кто нужнее Америке — они или я?..

От Валерия Митрофановича ребята отделались, Круки пошли им навстречу. Но Майкл Смит был на борту «Асакадзе-мару», ехал с ними в Америку...

Там, где шла разгрузка прибывших в порт грузовых судов, сохранялся рабочий порядок. Казалось, что там

никому нет дела до уходящего японского сухогруза с ребятами... Но когда «Асакадзе-мару» дал прощальный гудок, грузчики на минуту оставили работу. Маленький человек в брезентовой робе, в котором Ларька, а потом и другие ребята, не веря своим глазам, узнали Джерома Лифшица, ухмыляясь, поднял вверх кулак. Грузчики последовали его примеру. И тогда, завопив от восторга, изо всех сил вытягивая вверх руки с судорожно сжатыми кулаками, все, даже девчонки, едва не плача от радости, ринулись к борту, прощаясь со своим другом...

Через два часа «Асакадзе-мару» вышел в открытое море. До последней минуты ребята толпились у бортов, следили за тающим берегом. И долго еще пытались уверить, что видят землю, даже когда ее нельзя было рассмотреть в бинокль...

Никто из них никогда не плавал дальше питерских пригородов, разбросанных по Финскому заливу. Никто даже не поднимался на палубу такого большого корабля, как «Асакадзе-мару».

В первый день ребята двигались мало, больше смотрели... На сизо-зеленую пустыню воды, непривычную, странную... У нее не было ни начала, ни конца; пенистые бугры вскипали за бортом, доплескивались холодными брызгами, будто невидимые руки хотели достать ребят... Катя негромко, чтобы не подслушало море, говорила Тосе и Ларьке:

— Вот и никого на свете нет, только наш корабль... Как на другой планете.

Рассматривали море вглубь... Туман разошелся, поднялся легкий ветер, море заворочалось тяжелее, но в его таинственной глубине было тихо, грациозно проскакивали тонкие, как лезвие, рыбки, десятки их сворачивали туда и сюда по неслышной чьей-то команде. Дальше вглубь было еще темнее, настороженней, будто там таилось главное морское чудовище. Командовало рыбками. Присматривалось, прицеливалось к кораблю...

— Тут самые бездонные впадины,— холодно объяснял Володя, заставляя себя глядеть вниз, в шевелящуюся, манящую бездну.— Курильская, Японская, Рюкю... До десяти километров глубиной, даже еще глубже...

Миша Дудин и другие, переглядываясь, ежились: вот это глубина!



— Весь «Асакадзе-мару», со всеми нами, провалится в такую впадину, никто и не заметит...

— Тысяча «Асакадзе-мару» провалятся, и то не заметят...

Аркашка, который не слушал этих сухопутных паникеров, вдруг радостно крикнул:

— Акула! Честное слово!

В стороне, на небольшой, казалось, глубине, они увидели темное, сильное тело. Акула повернулась как будто лениво, но тут же исчезла. Начались рассказы про акул, их прожорство, как они сразу перегрызают пополам человека...

— Это тигровые акулы! — протестовал Миша Дудин.

— Таких и нет вовсе! — успокаивал Боб Канатьев. — Самая страшная — голубая акула...

— Скажешь тоже, голубая! — размахивал руками Миша, отстаивая преимущество тигровой акулы, словно она была его близким другом, а может, радуясь, что ее вообще не существует...

— Хуже нет акулы-великана, — сурово оглянулся на них Володя. — За ней охотятся ради печени, в которой бывает до шестидесяти пудов...

— В одной печенке? Шестидесят пудов? (Володя не удостоил никого ответом.) Это надо же, — продолжали ужасаться и восторгаться мальчики.

С акул перешли на спрутов. Рассказы оказались еще страшнее. Все как-то даже устали от этих ужасов и обрадовались, когда ударил гонг, зовущий к обеду. К первому обеду в море! Можно сказать, в океане!

Трижды в день кормить голодных ребят на неприспособленном сухогрузе — задача не из простых. Но Круки и капитан «Асакадзе-мару» беспокоились напрасно...

Уже скоро после выхода в открытое море и задолго до обеда обнаружили первые страдальцы... Сначала они недоверчиво прислушивались к тому, что с ними происходит. Пробовали даже коситься на соседей: что это, мол, за глупые шутки. Они же не подвержены морской болезни! Но через несколько минут, позабыв обо всем, мчались к борту... Девочки крепились дольше. Счастливыцы уединялись в галюн. Это был один из первых морских терминов, который все запомнили. Но галюнов, то есть уборных, на всех не хватало. Это было ужасно неприлично, и все же



приходилось, позеленев, извиваясь, как гусеница, стараясь быть незаметной, лететь к спасательному борту. К общему удивлению и некоторому утешению скорбящих, морская болезнь не пощадила даже такого известного скитальца морей, как Аркашка Колчин.

К обеду собралось меньше половины пассажиров. Но как они были довольны! Как хвастались! Даже Ларька не удержался и шумел:

— Хворым по сухарику снесите! И не забудьте Аркашку! Альбатроса! А его борщ и котлеты я в крайнем случае могу съесть, так и быть!

Он несколько утих, только когда встретил укоризненный взгляд Кати. Но на других и ее взгляды не действовали. Миша Дудин, захлебываясь от восторга, объяснял, что ему море нипочем.

— Ну и пусть качает! Как на качелях! Меня на качелях никогда не укачивало! Я еще, может, в моряки пойду! Аркашка погибал все, он не моряк, раз свалился, а я...

Тут Миша остановился на полуслове, как-то вытянулся, сейчас же скорчился и побледнел... Он стал медленно вылазить из-за стола, будто так, поразмяться просто, но в следующую секунду рванул со всей резвостью, на какую был способен. Морская болезнь оказалась коварной.

Ночью за стеной ходил и гудел океан. Мерные движения, словно вдохи-выдохи корабля или океана, слегка покачивали подвесные койки, где спали ребята. Спали как убитые...

Наутро некоторым полегчало и они пытались уверить, что никакой морской болезнью не страдали. Сияло солнце, гулял легкий ветер, воздух был необыкновенным, на суше, как объяснил Аркашка, такого не бывает... Океан не казался таким страшным, редких акул встречали воплями любопытства и некоторого презрения — дескать, попробуй достань! Все начали активно осваивать морской жаргон. Где бак и корма, разобрались быстро. Никто не говорил: «восемь утра», а гордо оповещали друг друга:

— Восемь склянок!

Некоторое недоумение вызывало, что они идут под японским флагом.

— Что мы, японцы, что ли? — протестовал Миша Дудин.

— Так ведь корабль японский.

— Японский! Он наш сейчас.

Круки начали наводить порядок. Регулярных занятий по всем предметам решено было, правда, не проводить, но три часа в день отводились совершенствованию в английском, особенно — в разговорной речи. Кроме того, начались усиленные репетиции оркестра, хора и солистов.

— На обратную дорогу домой, — объясняли Круки, — потребуются деньги. Вы сможете их заработать. Если не все, то хоть часть.

— Как? — загорелись ребята.

— Выступите в Сан-Франциско и в Нью-Йорке со своими концертами.

— Вы что! — удивился Володя. — Кто нас станет слушать?

— Станут, — заверила миссис Крук. — Еще как!

Среди путешественников были не только русские, но и украинцы, и белорусы, евреи, поляки, латыши, эстонцы... Решили разучивать любимые народные песни. Обнаружилось такое количество талантов, что пришлось организовать два хора — смешанный и женский. Среди солистов блистала Тося. Ее подруга, когда-то разукрасившая Библию Круков, теперь, не разгибаясь, готовила декорации для самодеятельного театра.

Были, конечно, и такие, кто не находил себе никакого занятия. Ростика поймали, когда он перочинным ножом на деревянном поручне «Асакадзе-мару» старательно увековечивал свою фамилию, имя и отчество.

В первые дни японские моряки словно не замечали ребят, особенно пока не миновали родных островов. Наверно, моряки огорчались, что не смогут побывать на родине, что путь их корабля лежит из Владивостока прямо в Сан-Франциско.

Между островами Хонсю и Хоккайдо, составляющими почти всю Японию, «Асакадзе-мару» вышел в пролив Цугару, или Сангарский.

Пока шли этим проливом, моряки с глубоко скрытой, ревнивой нежностью скупно объясняли Крукам и учителям, что остров Хоккайдо богат лесами, обладает замечательным климатом. На нем много больших городов, как Хакодаде или Саппоро, великолепные железные и шоссейные дороги. Здесь из каждых трех взрослых — двое рыбаки...

Еще нежнее заговорили об острове Хонсю, Старой

Японии, колыбели Страны восходящего солнца. Здесь климат был еще лучше, города — больше, среди них — Токио, но это далеко на юг. Моряки шептали: «Тохоку, Оу, Исиномаки, Китаками» — это были места, мимо которых проходил корабль...

На третий день плавания «Асакадзе-мару» вышел из Сангарского пролива в Тихий океан. Это произошло очень рано; все ребята спали и только после завтрака узнали, что плывут уже по Тихому океану... Переживаний по этому поводу хватило ненадолго, у каждого находилось дело, тем более что вода за бортом не изменилась, а то, что теперь они входят в самую обширную водную пустыню земного шара и много дней не будут видеть никакой земли, дошло далеко не сразу...

Свободного времени оставалось вообще-то немного, и все же мальчишки пытались играть в футбол, а девочки затевали на палубе игру в «классы»... Несколько не по возрасту для пятнадцатилетних девиц, но так как палуба то кренилась, то уходила из-под ног, получалось весело. Оправившись от болезни, Аркашка шнырял по кораблю, не слушая запретов, забрался даже на пост управления, ухватил без спроса секстант, о котором имел некоторое представление. Потом Аркашка с гордостью рассказывал, как помощник капитана позволил ему определить положение «Асакадзе-мару», причем выяснилось, что корабль находится в Тихом океане на сорок шестом градусе широты и сто шестьдесят третьем долготы... Там были еще минуты и секунды, но их Аркашка не запомнил.

В дождь уходили «домой» — так назывался теперь твиндек, где висели их койки; толпились в каютах у Круков и учителей; репетировали на нижней палубе. Иногда вспоминали, что с ними едет Смит. Поглядывали на него с опаской, интересом и некоторым вызовом: примерно как на встречных акул. Он держался так, будто ничего не случилось — посмеивался, пошучивал. Ларька и его компания со Смитом вовсе не общались, а другие скоро отходили... Даже Ростик уже не лез к Смиту, остерегался ребят.

Скоро выяснилось, что многие завели дневники. Начало этому увлекательному занятию положила Катя. Узнав, что она ведет дневник, Ларька поднял брови.

— Зачем?

Она сразу насторожилась, потому что не терпела его насмешек.

— Для мамы.

Но Ларька спокойно кивнул: Катя теперь не казалась ему чужой.

— Вашей матери будет интересно.

— Конечно,— оживилась Катя.— Заведите и вы.

— Моя неграмотная. Да и о чем писать?

— Вы ей прочтете! — Катя чуть покраснела при мысли, что по ее вине Ларька упомянул о неграмотности матери.— Ей будет интереснее! И приятней... А писать можно обо всем — как называется наш корабль, какой он, как мы уходили из Владивостока, как увидели открытое море, первую акулу — ну, обо всем!

Как-то утром Катя не нашла свой дневник. Она торопилась завтракать, но исчезновение дневника ее смутило... Катя расправилась с завтраком побыстрее и вернулась в отведенную для девочек часть твиндека... К ее удивлению, из женской половины выскользнул Ростик... Катя подошла к своей койке и через минуту обнаружила дневник на месте. Она отлично знала, что только что, до завтрака, его там не было...

Впрочем, Смит напрасно изучал Катин дневник. Там ни слова не было о деятельности красных разведчиков. Даже Катю Ларька все же обучил простейшей конспирации. Между тем влияние красных разведчиков на ребят ощущалось все сильнее. И чувствовалось, что они готовят какой-то новый номер.

С особым возмущением Смит наблюдал за тем интересом, с каким японские матросы осторожно присматриваются к своим юным пассажирам. Моряки решили, что самый главный среди ребят — Аркашка, и уже через несколько дней плавания его неожиданно окликнул вахтенный:

— Твоя барсука?

Это было сказано с надеждой. Аркашка всюду лез, всем интересовался, и вахтенный решил, что заговорить с ним — безопасно. Аркашке очень хотелось сказать, что никакой он не большевик, а настоящий анархист, но он почувствовал, что это не прозвучит... И кивнул, не смущаясь:

— Большевик.

Вахтенный хотя и обрадовался, но посмотрел на Аркашку с недоверием, объясняя на ломаном языке, что если Аркашка большевик, почему не носит красную ленточку, как все партизаны-большевики?..

После этой дружеской встречи Аркашка заверил всех красных разведчиков, что ему удалось установить тайные контакты с командой «Асакадзе-мару», что это надо использовать...

— Как? — удивился Ларька.

— Ну, как... — Аркашка томился, боясь открыть свой необыкновенный план.

При следующей встрече Аркашка подарил вахтенному красную ленточку. Тот, смеясь от удовольствия, радостно принял ее и приколот под блузу, так, чтобы не видно было снаружи.

— Моя не може, — объяснил он. — Капитана сердита!

Аркашке стало ясно, что дело сделано. Он потребовал внеочередного сбора штаба красных разведчиков. И когда ребята собрались, заявил о том, что матросы «Асакадзе-мару» за большевиков, что терять время нечего, надо ковать железо, пока горячо, и захватить корабль.

— Ты что? — ахнул Ларька.

— Я говорю серьезно! И если хочешь знать, твои вечные оглядки, недоверие просто смешны! Революцию не делают, повторяя тригонометрию! Долбя о дисциплине! Чтобы все тебя слушались! Революция — это порыв! Тем более — мировая! Мы захватим «Асакадзе-мару», поднимем пиратский флаг...

Ларька переглянулся с Гусинским и захохотал. Катя не выдержала и тоже засмеялась.

— Красный пиратский флаг! Мы красные пираты, — поправился Аркашка. Остановить его было невозможно...

Пришлось даже кое в чем пойти ему навстречу.

Несколько позднее, в тот же день, Аркашка встретился с другим японским моряком, боцманом.

Конечно, матросы знали, что за пассажиры на их судне. Знали, что это ребята из Петрограда и Москвы, оттуда, где Ленин. Поэтому вахтенный так смело спрашивал Аркашку, не большевик ли он. Ребята к тому же выросли. Большинству шел семнадцатый год...

Матросы сочувствовали подросткам, понимая, как трудно даже взрослым на долгие месяцы отрываться от

родины. А тут такие молодые, почти дети, и третий год в пути. Только боцман, широкоплечий, пышущий здоровьем, держался особняком. Он охотно отвечал на вопросы Круков, Смита, учителей, но к ребятам относился высокомерно. Сам задавал вопросы.

— С утра до вечера слышу — домой, домой, — сказал он Аркашке. Боцман хорошо говорил по-английски. — Понимаю, девочки... Но вы, мальчишки! На что это похоже? Стыдитесь! Дом, родина, государство — чепуха!

— Как — чепуха? — нахмурился Аркашка.

— А так! Моряку везде родина! Каждый корабль — его дом. И только слабые, никчемные присасываются к одному месту, как слизняки. Чего вы не видели дома? Что там?

— Революция! — весело сказал Аркашка. — У нас — революция.

— Революция? — презрительно сплюнул боцман. — Это для всех! А я хочу — для себя! Человек — ветер, человек — птица... На что мне революция?

— Простите, — уловив что-то знакомое, спросил Аркашка. — Вы анархист?

— Я — никто для всех. И я все — для себя!

— Вы, наверно, пират? — с надеждой осведомился Миша Дудин, как всегда околавивавшийся поблизости от Аркашки.

— Пиратов теперь нет, — с некоторым сожалением отмахнулся боцман от Миши.

— Очень жаль, — посочувствовал Миша. — Они бы вас приняли.

По ночам, когда все спали, дежурство несли только вахтенные. Они следили за бесперебойной работой машин и правильным курсом корабля. А за чем им было еще следить? Ведь это был обычный рейс для «Асакадзе-мару», он не раз ходил этой дорогой.

И когда утром на корме, там, где висел японский флаг, обнаружили над ним другой, кумачовый, сильно потрепанный, японцы не сразу поняли, что это настоящее боевое красное знамя... На нем все еще можно было разобрать серп и молот и даже буквы, которые Торигаи-сан, капитан «Асакадзе-мару», хоть и с трудом, но прочел: «Мир — хижинам, — написано было на флаге, — война — дворцам! Через труп капитализма — к царству труда!» А на обрат-

ной стороне флага и того хуже: «Да здравствует всемирный коммунизм!»

Торигаи-сан был не то что возмущен, а взбешен. Откуда взялся этот флаг? Кто осмелился его поднять над «Асакадзе-мару»? Да еще повесить выше законного судового флага! Капитан приказал немедленно сорвать красное знамя. Повинуясь ему, матросы побежали на корму. Но Торигаи-сан остановил их и велел попросить на палубу американцев, мистера и миссис Крук. Пусть полюбуются, на что способны их воспитанники!

Нет нужды говорить, что за всем этим переполохом украдкой наблюдал не только Аркашка (это, конечно, он поднял над «Асакадзе-мару» боевое знамя краскома), но и Ларька, Гусинский, Катя, другие члены штаба красных разведчиков и с ними Миша Дудин.

Аркашка твердил, что красное знамя над кораблем будет сигналом для всех матросов — большевиков... Когда капитан распорядился сорвать знамя, Аркашка да и другие ребята впились глазами в матросов. Сейчас начнется восстание! И они к нему присоединятся, все, как один человек!.. Почему-то ничего не началось. Матросы послушно помчались срывать флаг... Аркашка расстроился, все приуныли. Но когда Торигаи-сан отменил свой приказ, ребята воспрянули духом.

— Бойтся! — прошептал Аркашка. И ему поверили.

Но дальше все пошло не так, совершенно несерьезно. Приглашенные на палубу Круки присоединились к негодованию капитана, хоть и пытаясь как-то смягчить происшествие.

Красный флаг был тут же снят. Никаких волнений на «Асакадзе-мару» это не вызвало.

Более того, Круки принесли капитану свои извинения за недопустимую шалость ребят... Аркашка был потрясен. Вот это повернули! Такое дело — в шалость! Ларька, глядя на него, скривился от презрения.

Потом они разобрали, что мистер Крук осторожно пытается взять у капитана красное знамя, но тот не дает.

В этот момент ребят обнаружил Смит. Он предложил им покинуть укрытие и подойти к капитану.

— Это те, — сказал Смит, глядя в глаза капитану и упорно игнорируя мистера и миссис Крук, — кто пытался обесчестить ваш флаг, Торигаи-сан.

Капитан носил небольшие усики. От гнева они у него едва не стали дыбом.

— Кто повесил эту красную тряпку? — как-то просвистел он, задыхаясь.

— Я! — немедленно шагнул вперед Аркашка.

— А я помогал,— гордо признался, вставая рядом, Миша Дудин.

Капитан уже хотел дать какую-то страшную команду, может, заковать в кандалы, но его опередила миссис Крук:

— Под арест! — решительно произнесла она и потащила Аркашку с Мишей в свою комнату.

Между тем боцман и Смит делали что-то непонятное со знаменитым красным знаменем краскома... Ухмыляясь и посвистывая, они завернули его вместе с кусками ржавого железа в старые мешки. Потом связали все это хорошей, крепкой веревкой. Оглянулись на Тorigaи-сан. Тот нетерпеливо дернул рукой...

— Вот и вся ваша революция! — заржал боцман и, размахнувшись, сильной рукой швырнул тяжелый пакет с кормы в море.

— Ларька!..— только и успела жалобно крикнуть Катя.

Но крикнула уже вслед ему. Ларька прыгнул с высокого борта в море, следом за знаменем...

Это случилось на тринадцатый день плавания, за неделю до того, как «Асакадзе-мару» должен был прибыть на рейд Сан-Франциско.

Погода менялась, усилился ветер, барометр предвещал шторм. Между волнами шныряли качурки; от их печальных, жалобных криков, доносившихся до сухогруза, темнели лица тех матросов, кто был суеверней: по всем матросским преданиям, эти птицы предвещали беду...

На палубе «Асакадзе-мару» молчали. Начавшееся волнение ухудшило видимость. Волны словно передрались и в запале плевались пеной. Все же Ларьку увидели раньше с палубы. Он вынырнул и снова ушел под воду... Тонул, а шлюпка была еще далеко! Но когда шлюпка, медленно и тяжело переваливаясь с волны на волну, приблизилась вплотную, Ларька снова показался на воде. Он отфыркнулся, высморкался и ухмыльнулся навстречу матросам. Вода вокруг него была красной, но это видели только со шлюпки. К счастью, покраснела она не от крови, а от





мельчайших веслоногих рачков, которых тут оказалось засилье.

Ларьку благополучно доставили на борт. К общей радости, Тorigан-сан не сердился, больше того, он похлопал Ларьку по плечу и сообщил, что такая преданность своему флагу достойна уважения. Жаль, что флаг погиб. Смит предложил было на всякий случай обыскать Ларьку, но встретил молчаливое осуждение. Миссис Крук увела Ларьку в ту же каюту, где томились Аркашка и Миша Дудин. Велев Ларьке немедленно переодеться во все сухое, она оставила их одних. Ни Аркашка, ни Миша о Ларькинском приключении ничего не знали.

— Тю! — весело удивился Миша, дотрагиваясь до Ларькиных штанов, с которых текла вода.— Из какой кишки тебя поливали?

Рядом с Аркашкой и он чувствовал себя героем. Ведь они подняли на корабле красный флаг. Их посадили в тюрьму! Аркашка — вот настоящий парень!

Ларька не пожелал ничего рассказывать. Почему-то он был не только молчалив, но и застенчив. Штаны, правда, стащил быстро и с облегчением надел сухие, но с рубашкой, тоже мокрой насквозь, возился куда дольше, хоронясь за дверцей шкафа...

Аркашка, яростно жестикулируя, удивлялся темноте японских матросов, которые не воспользовались такой возможностью пойти за красным флагом и захватить корабль.

— Ты представляешь? — лез он к Ларьке.— Корабль наш! Первый красный корабль в Великом, или Тихом, океане...

Но Ларька тщательно складывал свое мокрое белье, не позволяя к нему притронуться. Аркашка запнулся: он начал что-то понимать...

— А где теперь наше знамя? — выговорил он тихо.

— Они швырнули его в океан,— нехотя усмехнулся Ларька.— В этот... Великий, или Тихий...

— Ты нырнул за ним?

— Нырнул.

— Ну и что?

Ларька неопределенно пожал плечами. Миша пододвинулся к нему ближе и недоверчиво заглянул в глаза:

— Постой, постой... Как же ты прыгнул?

- Так и прыгнул.
- С самого борта?
- С самого...
- Ух ты! Как же ты смог?

Ларька собрал бельишко и пошел его сушить... Миша смотрел ему вслед, и на лице его все ярче проступала улыбка ошеломления, восторга...

— Вот это да! — шептал он, не глядя на Аркашку. — Жаль, меня там не было. Я бы за ним тоже прыгнул, за Ларькой...

Аркашка не выдержал и дал ему затрещину. Миша отодвинулся подальше и сказал укоризненно:

— А Ларька меня нипочем не бьет.

В редкие иллюминаторы все тяжелее стучались волны. Взлетали вихри пены, как седые волосы. Между ними мелькали черные провалы, словно заглядывали в иллюминатор чьи-то глаза. Надвигался шторм, палубу велено было покинуть всем, кроме матросов. Спустившись вниз, ребята храбрились, делали вид, что не думают о шторме, рассказывали, что видели альбатроса.

— Чего? — не поверил Аркашка.

— Альбатроса! Настоящего! — похвалился Боб Канатьев. — Взмахнет белыми крыльями, так метра в три!

— Больше, — кивнул Володя.

Аркашка совсем поник: мечтал увидеть альбатроса, так нет, и тут нет удачи...

— А знаешь, почему он радуется буре? — иронически поднял бровь Гусинский.

Аркашка хмуро и пристально глядел на него, ожидая нового удара по красивой мечте. И удар безжалостно последовал.

— Только потому, что шторм выбрасывает на поверхность рыбу мелочь, рачков, всякие отбросы с кораблей, и альбатрос радуется этой падали. Есть что пожрать! Он, мятежный, ищет бури от ненасытного аппетита...

Какая пошлость! Аркашка постарался сначала уединиться, а ночью, когда никто не спал, сумел пробраться на палубу... Все, что он слышал раньше, — страшный рев толпы на владивостокской пристани, артиллерийские залпы и трескотню пулеметов, грохот поезда по мосту — было всего лишь шепотом перед тем ужасным, космическим грохотом, который он услышал теперь. Удары ветра

походили на взрывы. Нечего было и думать идти или даже ползти по палубе... Ветер тотчас сдул бы Аркашку в океан, как перышко, и никто бы этого не заметил.

Ночь стояла лунная, все, что видел Аркашка на палубе, блесело от черной воды. Десятиметровые волны свирепо лезли со всех сторон на сухогруз, прорываясь в него, как в крепость. Зловещие желто-зеленые тучи пытались закрыть луну... Аркашка лежал плашмя, держась за какие-то металлические опоры, вделанные в палубу. Палуба кренилась, он судорожно хватался за мокрые стойки, но сквозь пришибленность, беспомощность все острее накатывался восторг... Вот она, буря! Морской ураган! И он, Аркашка, тут, один на один! Все жмутся вниз, и Ларька там, слабо схватиться со штормом... А он — не боится. Пусть ревет ураган, пусть грохочет на все голоса, ничего он не сделает ни этим металлическим стойкам, ни твердой, хоть и мокрой палубе, ни тем более ему, Аркашке! У него вырвался смешок, но он его не услышал. Аркашка что-то крикнул, и снова голос потерялся в грохоте бури. Тогда он заорал что было сил:

— Эй, ты, буря! Слабо!

На этот раз голос все-таки прорвался, шторм не смог его заглушить. И Аркашка снова и снова пытался перекричать бурю.

Только охрипнув, промокнув до костей и посинев от холода, он неохотно полез вниз, где было тепло, светло, обыкновенно... Луна провожала его, похожая на корабль. Около нее шныряли тучи, но ее спокойный свет их побеждал.

Внизу Володя рассказывал о предположении ученых, будто в незапамятные времена, когда Земля была еще раскаленной и полужидкой, от нее оторвался и улетел в космос большой кусок, который теперь мы называем Луной. На Земле же от этого образовалась впадина. Она стала ложем Тихого океана... С ним заспорили; это предположение другие ученые давно отвергли... Но Аркашка не слушал, в нем упоительно и тревожно бродили звуки бури. Только одна Катя, хоть и болтала о чем-то с Ларькой, заметила высокомерного и мокрого Аркашку.

— Неужели ты поднимался на палубу? — спросила она, вздрагивая. — Ведь там — ураган!

— Еще какой! — радостно кивнул Аркашка.

И он присел около них, как был, мокрый, холодный, и не слушал, сколько ему ни говорили, чтобы шел переодеваться, пока Ларька с Мишей Дудиным чуть не насильно увели его в мальчишник, как прозвали их часть твиндека. Аркашка рассказывал о буре так, что даже Ларьке стало завидно, а Миша, приоткрыв от восторга рот, позабыл его закрыть.

Между Японией и побережьем Северной Америки на тысячи километров океана нет никакой земли, даже небольших островов или рифов. Но «Асакадзе-мару», лишь незначительно сбавив ход во время бури, уверенно уходил от беснующихся гор воды, воющего в бессильной злобе ветра...

На четвертый день океан начал успокаиваться. Ключья облаков стремительно неслись с востока на запад, там тоже началось отступление. Холодно и хмуро выглядывало и пряталось солнце, словно сердилось на беспорядок.

На палубе мирно пошучивали матросы. Рассказывали о ките, которого видели на рассвете. Это был горбач почти пятнадцатиметровой длины. Очень неуклюжий, с коротким и толстым туловищем, огромным жирным горбом на спине, он точно качался на волнах, и когда вода наполняла ему легкие, выбрасывал ее столбом на пятиметровую высоту по десять и пятнадцать раз подряд...

Помощник капитана вспомнил, что раньше, во времена парусников, киты таранили и опрокидывали шхуны китоловов, а радист утверждал, что киты могут охотиться на глубине больше километра.

— Они не раз обрывали подводный телеграфный кабель на глубине в девятьсот и даже тысячу сто метров!

— Как они могут опускаться так глубоко? — удивился Ларька. — Ведь там давление больше ста атмосфер. Почему их не расплющит в лепешку?

Помощник начал объяснять, что киты на девяносто процентов состоят из жира и других жидкостей, но тут мистер Крук оглянулся по сторонам, увидел, что миссис Крук нет, и тотчас припомнил удивительную историю Джека Бартли...

— Джек Бартли служил матросом на шхуне «Звезда Востока», — тараща добрые глаза, рассказывал мистер Крук. — Это было лет тридцать назад. Шхуна охотилась на китов, и однажды во время охоты разъяренный кит

опрокинул шлюпку, где среди охотников был Джек Бартли. Кит проглотил его со всеми потрохами... Спустя несколько дней кита все-таки убили и, когда стали разделывать, нашли в его желудке несчастного матроса...

— Он был жив! — вскричал Миша Дудин.

— А ты почему знаешь? Правда, Джек Бартли чудом выжил. Кожа только стала у него бледная, как неживая. А так все осталось по-прежнему, он даже не бросил пить и остаток жизни, чтобы заработать на выпивку, ездил по ярмаркам и показывался за деньги, как человек, несколько дней проведенный во чреве кита...

Ребята все время помнили, что плыть им от Владивостока до Америки двадцать дней. Сначала казалось — ох как долго!.. Потом пугались, что мало осталось, дни летят слишком быстро. А под конец дни снова показались ужасно длинными. Когда наконец к вечеру Круки, Смит, учителя с некоторым торжеством и даже строгостью объявили, что завтра «Асакадзе-мару» прибывает к американским берегам, в славный город Сан-Франциско, все хоть и знали об этом, но прокричали «ура!». Во снах, которые они видели в эту ночь, перемешалось все: небоскребы и всадник без головы; несчастный негр дядя Том, плантаторы с хлыстами и статуя Свободы; индейцы и Чарли Чаплин; злодеи-империалисты и Том Сойер с Гekom Финном... Они побаивались и нетерпеливо ждали свидания с Америкой.

Едва рассвело, как ребята, нарушая порядок, стали появляться на верхней палубе. День вставал солнечный, тихий; океан совсем присмирел, волны ласково и лениво касались бортов; зеленоватые, прозрачные, теплые, они подкатывались, украшенные гребешками пены, и вежливо отходили, что-то журча. Но, кроме воды, ничего не было. Никакой земли...

— Чайка! — увидела первая Катя.

— Где, где? — закричали девочки, но, едва взглянув на птиц, покатались вниз, собираться, хотя все давно было собрано. Начинались суэта и волнения...

— Какие у них, наверно, магазины! — ныла Тося. — И ничего нельзя купить! Мы ведь нищие...

— Тосенька, детка, — приплясывал около нее Ростик, — не горюй, держись за меня, не пропадем...

Его оттеснили, и Ларька лично посоветовал Ростика:

— Забудь.

— Чего-о?

Ларька обнял его за плечи, близко заглянул в лицо:

— Может, от ихних фараонов ты уйдешь, но от нас — ни в жизнь.

— Ты чего? — до глубины души оскорбился Ростик. — Предаешь революцию? Жалеешь проклятых буржуев-кровопийц? Долой собственность! Все общее! Слыхал?

— Как! — удивилась Катя. — Вы снова анархист?

— Тихо, ты! — оглянулся Ростик на американцев. — Я всегда был идейный анархист, а ты кто такая?

И он с надеждой посмотрел на Аркашку. Тогда Аркашка решительно отодвинул Ларьку и, с угрозой глядя на Ростика, внятно сказал:

— Если ты стыришь в Америке хоть кусок туалетной бумаги, если ты посмеешь запятнать революцию...

— Кто стырит? — захныкал Ростик, с ходу переходя на жалобный тон. — Как что, так Гмыря... Чего там тырить! Подумаешь, не видал я Америку...

— Земля! — закричала во весь голос Катя.

— Ого! — пробормотал Ларька, усмехаясь. — Ты прямо как Колумб...

Но и у него екнуло сердце. Над синим морем, словно в дымке, проступали неясные очертания незнакомого города. Чем ближе, тем чаще начали встречаться парусные и моторные яхты; белые пароходы, с которых махали платками, приветствуя их корабль «Асакадзе-мару».

Сухогруз тихо шел среди других кораблей. Город плыл навстречу. Сан-Францисскую бухту от океана отделяли два полуострова: они словно протягивали огромные руки навстречу «Асакадзе-мару». Еще нельзя было как следует рассмотреть далекие причалы, пристань, дома... Сухогруз входил между полуостровами; северный, скалистый, поросший лесом, обрывался круто в океан; на южном, лицом к бухте, разворачивался Сан-Франциско, белый, зеленый, солнечный красавец, чем-то на мгновение напомнивший Владивосток...

— Золотые ворота, — негромко уронил мистер Крук, и около него тотчас оказалась толпа...

— Где, где?

— Да вот они! Этот вход в бухту и называется Золотые ворота.

Сверкающий на солнце залив пересекали белые паромы. Стояли белоснежные, с красными трубами громады океанских пароходов, рядом с которыми даже «Асакадзе-мару» казался едва не лодкой. Из-за города в сияющее небо поднялись, серебристо блеснув в солнечных лучах, один за другим четыре аэроплана... Звучала музыка, и люди, которых они мельком видели на паромах, пароходах, все выглядели рослыми, веселыми и красивыми...

— Во живут,— со вздохом облизнулся Ростик.

Мистер Крук, продолжая рассказывать, сообщил, что на острове Алькатра, посреди бухты, находится тюрьма для особо важных преступников.

— Для красных,— холодно уточнил Смит.

Все проводили глазами приземистое, мрачное здание тюрьмы.

— Вас сюда не посадят! — весело захохотал мистер Крук.— И вообще в Америке вам будет хорошо!

Ребята переглянулись; Ларька тотчас им подмигнул:

— В России нам будет еще лучше...

Тут неожиданно выяснилось, что «Асакадзе-мару» до утра не пустят в Сан-Франциско, он останется на внешнем рейде... Наступал вечер; город постепенно расплывался в сизой дымке. Предстояло и эту ночь провести на корабле...

## 32

В первый вечер на берег съехали только мистер Крук, Смит и капитан Торигаи.

Они заночевали в городе. Утром, к завтраку, вернулись капитан и мистер Крук. Смита ребята больше не видели, хотя им еще пришлось столкнуться с его затеями...

Ребята заметили, что миссис Крук, провожая мужа на берег, что-то внушала ему до последней минуты, пока он не сел в шлюпку. И потом была задумчива и погружена весь вечер в какие-то невеселые мысли. Но Джеральд Крук вернулся добрый, шумный и привез кучу новостей.

Во-первых, «Асакадзе-мару» простоит в Сан-Франциско всего трое суток, а потом тронется дальше, через Панамский канал в Нью-Йорк. Там и домой!..

Во-вторых — тут мистер Крук вытащил многоцветную,



бьющую в глаза афишу — сегодня, в Концертном зале, выступят с хоровыми и сольными песнями, а также с мелодекламацией прибывшие в Сан-Франциско проездом дети революционной России...

— Как — сегодня? — ахнули чуть не все хором.

— Сегодня и завтра, — уточнил мистер Крук, давая прочесть афишу.

«Только два концерта! — было написано там. — Спешите приобрести билеты! Стоимость — от одного до пяти долларов! Весь сбор в пользу детей. Торопитесь! Число билетов ограничено».

— А ты думал? — сказал соседу Миша Дудин. — Америка! Время — деньги...

И наконец, капитан, по секрету от мистера Крука, желая сделать ребятам сюрприз, привез кипу местных газет, в каждой из которых сообщалось о прибытии «Асакадзе-мару» и о том, что на этом корабле пожаловали необычайные гости — дети из Совдепии...

— Откуда? — не поняли ребята.

— О новой России здесь знают только, что теперь там правят Советы депутатов, — сбивчиво пояснил мистер Крук, не поднимая глаз. — Ну вот, газеты и пишут сокращенно: Совдепия...

Ребятам это не очень понравилось. Когда же стали читать газеты, которые мистер Крук и миссис Крук настойчиво пытались от них спрятать, то узнали, что они чудом спаслись от озверевших большевистских банд, что они мученики злосчастной русской революции, несчастные жертвы...

— Как же мы после этого станем выступать? — подняла Катя сердитые глаза на миссис Крук.

— Чтобы все это раз и навсегда перечеркнуть, — стукнула Энн Крук кулаком по газетам, — вы и должны выступить!

— Верно! — неожиданно согласился с ней Ларька. — Петь, плясать, рассказывать так, чтобы зал ходуном ходил! Покажем, какие мы жертвы!

— Перед кем? — сверкнул глазами Аркашка. — Перед буржуями?

— Нет, не перед буржуями, — затрясла головой миссис Крук, которая незаметно освоила обороты ребят. — В Сан-Франциско много эмигрантов. Здесь живут китайцы,

итальянцы, негры... Рабочие. Они придут. Район города, где живут русские, так и называется — Русская горка. Это люди, которые бежали от царя. Сейчас они работают грузчиками в порту. И они придут на концерт!

Ребята переглянулись: это им явно понравилось.

— Конечно, будут и обеспеченные люди...

— Ага! — выпрямился, как струна, Аркашка. — Тогда начну концерт Маяковским!

— Кто это? — переглянулись миссис и мистер Крук.

— Это поэт! Настоящий! — твердо объявил Аркашка. Было заранее решено, что он открывает и ведет первый концерт. — Для начала прочту вот это:

Вам, проживающим за оргией оргию,  
имеющим ванную и теплый клозет!  
Как вам не стыдно о представленных к Георгию  
вычитывать из столбцов газет?..

Мистер и миссис Крук обомлели.

— Что это? — спросил Джеральд Крук слабым голосом.

Они пытались убедить ребят, что это вообще не стихи, что к подобным строчкам невозможно подобрать и музыку... Но тут даже Ларька с Аркашкой оказались заодно. К возмущению миссис Крук, стихи нравились и Кате... Но Круки ничего не хотели слушать, отмахивались руками, зажимали уши.

— Ладно, — тряхнул смоляными кудрями Аркашка. — Прочту из Маяковского только две строчки. Другие.

— Две? — с надеждой спросил Джеральд Крук.

— Две.

Круки переглянулись, видимо готовые дать согласие. Звонящим от восторга голосом, яростно сверкая глазами, Аркашка честно преподнес две строчки:

Ешь ананасы, рябчиков жуй,  
день твой последний приходит, буржуй!

У Круков был такой вид, как будто они сейчас рядышком свалятся в обморок.

Договорились на том, что, открывая концерт, Аркашка прочтет одну или две — не больше! — строфы из стихотворения Маяковского «Наш марш».

До половины дня все участники концерта репетировали на верхней палубе «Асакадзе-мару». Для тех, кто не участвовал в концерте, экскурсии в город начались сразу после завтрака.

К сожалению, почти все ведущие силы колонии — и Ларька, и Катя, и Гусинский с Бобом Канатьевым, и Миша Дудин, и Володя Гольцов — были заняты в концерте.

Правда, Ларька и Катя особыми талантами не обладали и только пели в хоре. Но и хор репетировал. Гусинский же оказался настоящим скрипачом. Он рассказывал, как ненавидел скрипку, когда был маленьким.

Потом он полюбил скрипку.

— А теперь,— хмуро спрашивал он Ларьку,— зачем скрипач революции? И тот сочувственно пожимал плечами.

Самая трудная доля досталась Мише Дудину, Канатьеву и Володе Гольцову. Им предстояло разыграть на английском языке маленький скетч по мотивам рассказа «Вождь краснокожих» известного американского писателя О'Генри.

О Сан-Франциско у ребят остались самые теплые воспоминания. Им понравились горбатые улицы города, идущие с холма на холм; его бесконечные веселые пляжи, свежая зелень садов и парков, огромные, нарядные здания; приветливая, шумная толпа; запахи океана, которые проникали всюду... Как моряки всего мира любовно и дружески называли этот город просто Фриско, так и наши путешественники именовали его потом в своих воспоминаниях...

Пока же предстояло провести концерт. Он начался с недоразумения. По какому-то поводу перед концертом местный оркестр исполнил американский гимн. При первых звуках все встали, кроме ребят. Они отлично помнили, что в гимназии точно так же вставали при исполнении царского гимна «Боже, царя храни». Как им ни объясняли, что это совсем не то, что это американский гимн, они на всякий случай не шевелились. Между тем музыка доиграла, и публика с удвоенным интересом и улыбками принялась рассматривать русских детей. Уже стало известно, что они приняли американский гимн за царский и поэтому не встали...

И тут Аркашка вышел на авансцену и, надменно за-

кинув голову, уставясь в первые ряды, где сидела разоде-  
тая публика, закричал во весь голос:

Бейте, в площади бунтов топот!  
Выше, гордых голов гряда!  
Мы разливом второго потопа  
Перемоем миров города!..

Никто ничего не понял, даже те, кто знал русский язык. Но волнение артиста, его искренность, стремительный темп стихотворения невольно вызвали в зале отклик... Еще большее сочувствие вызвало второе разрешенное Аркашке четверостишие:

Радости пей! Пой!  
В жилах весна разлита.  
Сердце, бей бой!  
Грудь наша — медь литавр...

Аркашка объявил первый номер — русский перепляс — и озабоченно побежал со сцены к Ларьке.

— Видал? Смеются... Я нарочно смотрел, в первом ряду самые жирные, — и не хлопают...

— А ты думал, они тебя испугаются? — буркнул Ларька.

Шквал аплодисментов нарастал от номера к номеру. Миссис Крук знала своих соотечественников. Успех концерта был исключительный, потрясающий. Настоящий триумф был у русских переплясов, украинских песен; с восторгом приняли скетч, в котором, кроме Миши Дудина, Канатьева и Володи, роль фермера, отца Миши, исполнил Джеральд Крук.

Многие зрители приходили за сцену выразить свое удовольствие, а главное, пригласить русских ребят в гости. Особенно настойчивы были те русские люди, которых занесло в Сан-Франциско много лет назад. Они пытались на ходу, жадно, выспрашивать, что же происходит в России, и взяли слово с учителей и ребят посетить Русскую горку...

Сразу же после концерта состоялась пресс-конференция с местными журналистами.

— Держитесь! — широко раскрывая глаза, предупредил мистер Крук. — Это пиявки!

Газетчиков мало интересовали мистер и миссис Крук; отмахнулись они и от учителей. Зато впились в ребят.

Таких бесцеремонных, даже нахальных людей ребята еще не встречали. Репортерам русские дети, может, и нравились, но не нравились их рассказы...

— Что вам запомнилось на улицах Петрограда? — бросились они на Мишу Дудина.

Миша едва не брякнул простодушно — «мама», потому что тотчас вспомнил ее, заплаканную, на перроне... Но, подтянувшись, он твердо ответил, словно глядя на памятные питерские улицы:

— Флаги!

— Какие флаги?

— Ясно, красные! Идут с красными флагами! На машинах красные флаги! А скоро мы приедем домой, в Петроград? — в свою очередь спросил Миша.

Другие репортеры насели на Катю и Тосю:

— Как вам понравился наш город? Америка?

— Замечательно... Очень понравилось, — отвечали девочки.

— Вы, конечно, захотите остаться жить здесь, не правда ли?

Даже оживление Тоси потускнело... Катя, в упор глядя на репортеров, заметила:

— По-моему, это невежливо... — Газетчики и ухом не повели. — Почему вы решили, что наш Петроград хуже?

Лишь один из репортеров, как выяснилось, был лет пять назад в Петрограде и стал было нахваливать его, но тут же спохватился:

— Но теперь там ужасно! Грабят и раздевают прямо на улице! Убивают детей и женщин! Нет ничего, никакого продовольствия, и жители поголовно впали в людоедство!

— Врете, — с ненавистью пробормотала Тося.

Словно объясняя эту невольную грубость, Катя негромко сказала:

— Там — наши мамы, отцы, братья и сестры... — И нерешительно добавила: — Вы знаете, кто умер в Петрограде в последнее время?

Репортеры не знали.

— Как же мы можем остаться здесь?

Газетчики загалдели еще громче, Тося смирила их взглядом, и девочки отошли.

Хотя газеты по-разному отзывались теперь о ребятах, хотя появились первые сердитые заметки о неблагодар-

ности красных детей, которых непонятно зачем притащили в Соединенные Штаты,— второй концерт прошел также с триумфом... Перед отъездом из Сан-Франциско ребята навестили Русскую горку.

Далеко не все из этих питерских и московских мальчишек и девчонок видели русскую деревню или заштатные, провинциальные городишки России... Но от деревянных домиков в три окошка, с крыльцом, с резными наличниками, из которых состояли кривые улочки Русской горки; от здоровенных, с огромными ручищами, синеглазых, скуластых мужчин в костюмах, купленных в Америке, но под которыми виднелись косоворотки, сшитые женами; от краснощеких, статных женщин, каким-то чудом ходивших до сих пор, в Сан-Франциско, в старинных кофтах с буфами и в платочках горошком, от гераней на окнах,— так неожиданно и остро пахнуло бабушкиной сказкой, Русью, домом, родной землей, что ребята притихли. На секунду им показалось, что они наконец приехали...

### 33

«Асакадзе-мару» подходил к Панамскому каналу.

Они миновали чудесные страны: Калифорнию, где первые золотоискатели находили куски драгоценного металла чуть ли не с человеческую голову и где теперь рождались самые пиратские, самые ковбойские и самые смешные фильмы; древнюю Мексику, где когда-то жили Монтесума и его дочь и другие инки, тайны которых до сих пор не разгаданы; за горами, где-то там вдалеке, высился храм чародея, сокровищница древних майя — Чичен-Ица, пирамиды Солнца и Луны в Теотиуакане, горы Попокатепетль...

— Не выговоришь,— с невольным уважением покачивал головой Миша Дудин.

А дальше, на берегах очень бедной республики Гватемала, из которой американские буржуи выкачивали миллионы долларов, пошли города с еще более чудными названиями — Уэуэтенанго, Чичикаетенанго, Кетсальтенанго и другие.

Миссис Крук, которой приходилось здесь бывать, чтобы спасти хоть немного индейских детей, пока взрослых

индейцев грабили ее соотечественники, объяснила, что «тенанго» на древнем языке индейцев обозначает «место», а кетсаль — это чудесная, сказочной красоты птица, начисто истребленная американцами; для индейцев Гватемалы эта птица оставалась символом свободы.

Трагические джунгли, о которых раньше ребята только читали в приключенческих романах, раскинулись рядом, манили своими тайнами, и становилось ужасно жалко, что «Асакадзе-мару» проходит мимо всего этого, не останавливаясь.

Они то и дело объясняли друг другу, что плывут в тропиках, прошли тропик Рака. Скорбели, что не удалось пересечь экватор. То и дело вспоминали, как из волосатых кокосовых орехов, только что срубленных с пальм, стоявших на берегу, пили настоящее кокосовое молоко, ели авокадо — фрукт, который даже нельзя вывозить, такой он нежный, и можно попробовать только здесь, в тропиках. Видели, как попугаи свободно летают на окраинах городов, все равно что у нас воробьи. И конечно, любовались Южным Крестом, любимым созвездием моряков, которого нет на питерском северном небе...

— Какие-то две недели,— говорила Катя, прижимая к груди кулачки,— и мы пройдем Панамский канал. А там — на север... И никогда больше ничего этого не увидим...

Но душной, непроглядно черной ночью становилось иногда как-то совестно. Катя вертелась на своей койке с боку на бок, и все пронзительнее будоражили мысли о маме, о братьях и о том, что она, молодая, сильная, до сих пор только читала о докторе Гаазе, слушала о революции, а никому не сделала ничего доброго. Люди воюют за правду, истекают кровью, гибнут, а она, выпускница гимназии, Екатерина Обухова, третий год болтается на суше и на море неизвестно зачем...

Утром мимо проходили берега республики Сальвадор, джунгли, поросшие невиданной красоты орхидеями... Плыли гроздьях каких-то белых цветов, похожих на нашу акацию...

— Нет, нет, не трогайте,— сказала миссис Крук,— это флорифундея, дурман... Достаточно десять минут подержать такую ветку в комнате, и обморок обеспечен, придется вызывать врача...— И добавила, с прискорбием

глядя на вывернувшегося откуда-то Ростика: — Да, да, флорифундеей пользуются местные воришки... Подбросят незаметно цветов, а потом спокойно чистят квартиру.

— А я при чем? — немедленно оскорбился Ростик. — Вот так всегда. Как что, так Гмыря...

Но тут общее внимание привлек знаменитый вулкан Изолько. Моряки всех стран прозвали его Тихоокеанским маяком. «Асакадзе-мару» шел километрах в двадцати от берега, и все же на бледно-голубом небе четко обозначился сначала, словно раскаленный нож, пук пламени, потом султан белого пара и дыма...

— Так каждые восемь минут! — торжественно объявил мистер Крук. — Можете проверить по часам!

И он протянул Мише Дудину часы, которые тот немедленно взял. К часам тотчас нагнулись голов двадцать, так что Миша, как ни старался лично проверить точность вулкана Изолько, мало что мог установить. Но его помощники, жадно отсчитывая минуты, с удовлетворением отметили, что вулкан не подвел и выдал в небо новый раскаленный нож и новый султан пара точно через восемь минут...

В следующие дни проходили берега Коста-Рики, республики, где землетрясения угрожают ежеминутно...

Панамский канал проходили целый день. «Асакадзе-мару» вошел в канал в семь часов утра, а вышел в шесть вечера. Канал открыли всего шесть лет назад, в девятьсот четырнадцатом году. Его строили почти пятьдесят лет. А мечтали о нем — пятьсот лет!

Когда пять веков назад крошечные каравеллы Колумба с нашитыми на парусах красными крестами, преодолев Атлантический океан, подошли из Европы к берегам Америки, о существовании которой в Европе даже не подозревали, то матросы и их адмирал думали, что достигли долгожданной Индии... О богатстве Индии в европейских странах рассказывали тогда самые чудесные и нелепые сказки. Долго блуждали Колумбовы кораблики, отыскивая в Америке Индию... А то, что произошло открытие нового континента, люди поняли не сразу. Америка их не очень интересовала, хотелось поскорее попасть в сказочную Индию...

Завоеватели и авантюристы проложили первые тропинки через Панамский перешеек, самую узкую преграду на пути за индийскими пряностями, драгоценностями, золо-



том... Первые сотни могил выросли на этих трудных дорогах через джунгли и горы. Еще больше жизнью стоило проложить каменную дорогу через перешеек... И все время продолжались поиски какого-нибудь водного пути через Америку. Прохода не было. Человеку пришлось его прорубить. Тут счет шел уже на десятки тысяч человеческих жизней.

Почти восемьдесят километров «Асакадзе-мару» шел по Панамскому каналу, в котором смешивались воды двух океанов. Незаметно отступали воды Тихого океана, сменяясь водами Атлантического. Когда к ночи стало известно, что «Асакадзе-мару» бороздит уже Карибское море и Тихий океан позади, Миша Дудин изрек, засыпая:

— Все. Один океан есть...

Теперь они шли теми знаменитыми пиратскими краями, где двести — триста лет назад хозяйничали корабли под черным флагом с изображением черепа и скрещенных костей, где сильные, простуженные и пропитые голоса орали песни, вроде:

Пятнадцать человек на сундук мертвеца!  
Йо-хо-хо, и бутылка рома!

Но как ни всматривались в далекую синюю даль Миша Дудин и его старшие товарищи, ни одного пирата им не попалось. А ведь «Асакадзе-мару» шел мимо Больших Антильских островов — Ямайки, Гаити, Кубы, мимо Багамских островов, по Карибскому, самому флибустьерскому морю, где, казалось, еще носились кровавые тени капитана Флинта, Черного Пью, Билли Бонса, долгового Джона Сильвера, а также капитанов Дрейка, Моргана, Кидда и прочих джентльменов удачи. И даже в знаменитом Бермудском треугольнике, где, правда, не водились пираты, но где теперь, в двадцатом веке, таинственно исчезали суда, словно проваливались в тартарары, с «Асакадзе-мару», к великому сожалению ребят, не произошло ничего.

Двадцать шестого августа 1920 года, во второй половине дня, «Асакадзе-мару» входил в бухту Нью-Йорка.

Города еще не было... Только там, куда показывали Круки, прижимался к горизонту дым или туман. Позади оставались какие-то острова, длинная коса с лентой прибрежного песка, на который сыпалась сажа из высокой

трубы. Потом прорезалось на далеком берегу белое копые маяка. По бухте сновали лодки с косым парусом, пароходики, пароходы и пароходища...

Над самыми большими кораблями высилась огромная фигура женщины с факелом в руке. Мистер Крук объяснил, что это знаменитая статуя Свободы, стоит она лицом к старой родине белых американцев, Европе, и приветствует всех, переступающих порог Соединенных Штатов...

— А почему она не улыбается? — спросил Миша Дудин.

Каменная женщина выглядела очень сильной, но ее неподвижное лицо было грустным. И невиданной мощи Нью-Йорк, который возвышался над океаном, закрывал горизонт, подпирал небо, тоже не улыбался.

Нью-Йорк не походил ни на один русский город. Он не был похож даже на Сан-Франциско. Казалось, это и не город вовсе и живут тут не люди, а кто-то другой. Смотреть на него было страшновато и заманчиво...

Все виднее становился чудовищный город. Его здания упирались в серое небо, оно старалось убежать, а здания вытягивались все выше и рвали небо на клочья грязных облаков. Над самыми высокими домами, над дымами фабричных труб висел загадочный гигантский мост.

Когда стемнело, вспыхнули до горизонта пожары белых и цветных огней. Они подмигивали, бешено вертелись, рассыпались искрами, гасли и вспыхивали, добираясь до самой Луны и проваливаясь в черноту океана. Но сколько они ни приплясывали и ни кривлялись, все равно было очень тихо, и веселился только Ростик и его компания. А колония молчала.

«Асакадзе-мару» провел ночь на дальнем рейде; никто с корабля не сошел. Это была самая тихая, задумчивая и грустная ночь, полная невысказанных надежд...

Тося, прижимаясь к Кате, спрашивала:

— А сколько от Нью-Йорка до Петрограда?

— Восемь тысяч верст.

— А сколько мы уже проехали?

— Считаю: от Петрограда до Владивостока пусть будет девять тысяч верст. Он Владивостока до Сан-Франциско — восемь тысяч. От Сан-Франциско до Панамского канала — почти шесть тысяч. И от канала до Нью-Йорка больше трех...



— Девять, восемь, шесть и три... Двадцать шесть тысяч!

— Видишь! А осталось — только восемь.

— Столько же, сколько от Владивостока до Сан-Франциско? Значит, двадцать дней! Сегодня двадцать шестое августа. Шестнадцатого или семнадцатого сентября будем дома!

— Ты, что же, не хочешь посмотреть Нью-Йорк?

Тося поежилась:

— Нет, надо, конечно, побывать. Представляешь, приедем домой... Совершили кругосветное путешествие! Ходили по Нью-Йорку... Все знакомые девчонки лопнут от зависти! А мальчишки... Нет, ты представляешь? Скорей бы, честное слово... Ты что? — Тосе показалось, что Катя сникла и вроде бы похолодела...

— Если они живы,— тихо сказала Катя.

— Кто?

— Девчонки. Мальчишки. Мама... Все наши.

— Ну, это ты брось!

— Все равно я сразу уеду на фронт...

— Да ты что? Надо же отдохнуть!

— Мы третий год отдыхаем.

— Ничего себе отдых! — возмутилась Тося.— Мы окончили гимназию, надо и о себе подумать. Ну что же, что я медсестра? А я крови боюсь. Ну и что, что революция? Ведь мы еще не жили! А так хочется пожить!..

— Да,— согласилась Катя.— Хочется жить. Очень.

Она понимала, что они с Тосей думают совсем о разных вещах, о разной жизни. И ей стало неловко, потому что ее, Катина, будущая жизнь, до последней минутки отданная людям, представлялась ей настолько заманчивой, великолепной, настолько выше Тосиного «пожить», что это было даже как-то нехорошо, несправедливо... Катя пригладила пышные Тосины волосы и нежно ее поцеловала.

— Ты что? — удивилась Тося, зная, до чего Катя не любит нежничать.

— Пусть тебе будет хорошо,— вздохнула Катя.

— А что? Вот увидишь! Мне обязательно будет хорошо!

А в другой части твиндека Миша Дудин никак не мог уснуть, вертелся и вздыхал, вспоминая письмо, которое он когда-то написал главным американским буржуам...

Письмо, конечно, дошло. Что теперь делать? Он ясно видел того здоровенного шерифа, неременного участника всех американских фильмов, который с лязгом захлопнет на Мишиных руках металлические наручники... И у них еще есть электрический стул! Миша невольно привстал и увидел, что с соседней койки за ним с любопытством наблюдает Аркашка, а еще дальше — Ларька... Через минуту все узнали об опрометчивом послании Миши, и хохот, неожиданно разбудивший едва не всех мальчишек, показался Мише ужасно обидным.

— Конечно,— забормотал он,— вам что... Вы поедете домой, а мне тут пропадать...

Утром выяснилось, что в Нью-Йорк их сразу не пустят, а поселят на пустынном острове, как робинзонов.

— Опять про робинзонов,— вспомнил Миша Смита.

Раньше на этом острове жили американские солдаты, от них остались казармы, кухни, плацы, спортивный городок...

— Лучше оставаться на «Асакадзе-мару»,— агитировал Миша.— Может, скорей поедem в Петроград...

Круки пригласили к себе Ларьку, Катю и Аркашку. Миссис Крук, хмурясь, заявила:

— Многие дети считают, что чуть ли не завтра «Асакадзе-мару» пойдет в Петроград.

— А он не пойдет,— не то спросил, не то констатировал Ларька.

— Капитану нужна неделя, чтобы подготовиться к этому переходу!

— О, неделя? — обрадовался Аркашка.— Это мы переживем.

— Полагаю, никто не собирается умирать! — Миссис Крук говорила еще более отрывисто и резко, чем обычно, явно сердилась.— Хуже, что капитан не знает, куда ему плыть! И мы не знаем!

Катя, Ларька и Аркашка переглянулись.

— Как — куда? — спросили они, перебивая друг друга.— В Петроград...

— Петроград — это Советская Россия! — пристукнула кулаком миссис Крук.— «Асакадзе-мару» — японский пароход! И находится в американском порту! А ни Япония, ни Америка не признают Советскую Россию!

— Не признают? — удивился Ларька.— Как это —

не признают? Она же есть! Может, они не признают, что и Петроград есть, не могут найти к нему дорогу?

Круки, все больше сердясь, объяснили ребятам, что такое дипломатическое признание и как это важно. При этом миссис Крук презрительно морщилась, пожимала плечами и, наконец не выдержав, стала в открытую поносить дипломатов, всяких государственных чиновников, дурацкие выдумки о признании, непризнании... Мистер Крук, подсакивая на стуле от ужаса, пытался ее удерживать от наиболее красочных выражений.

Но как ни удивлялись ребята, как ни негодовали Круки, выходило, что «Асакадзе-мару» может направиться только в Эстонию, единственную страну, которая признала РСФСР...

— А есть там какой-нибудь порт? — спросил Ларька.

— Мы пытаемся это выяснить, — рявкнула миссис Крук.

— Может, лучше встретиться с товарищем Мартенсом?... — нерешительно предложила Катя. — Ведь он здесь, в Нью-Йорке, от Советской России...

— Наверно, это было бы правильно, — грустно сказал мистер Крук. — Но мы этого не можем...

## 34

В Нью-Йорке у Круков начались серьезные неприятности. Им ставили в вину то, что они израсходовали на операцию по спасению русских детей огромные деньги, причем без согласования с начальством.

При первом же объяснении мистер Крук сослался на то, что о своих действиях он регулярно информировал полковника Робинса, руководителя миссии американского Красного Креста в России...

— Полковник Робинс покинул Россию в восемнадцатом году, — ответили ему нехотя.

— Да, но он разрешил нам действовать...

— Кому это нам?

— Мне и миссис Крук...

— Вы можете, конечно, ссылаться на миссис Крук, — иронически хмыкнул собеседник, — но не рекомендую возлагать большие надежды на полковника Робинса...

— Почему, сэръ? Полковник Робинс человек глубоко религиозный, консервативный, порядочный... Он делец, землевладелец. Его лично знает президент!

— Быть может, мистер Крук, среди ваших друзей в России был и некий мистер Вильямс, священник, сын священника, тоже вполне достопочтенная личность?

— К сожалению, нет...

— Тогда вы, конечно, встречали там Джона Рида, сына известного адвоката, питомца аристократического Гарварда?

— Нет...— словно бы извиняясь, пробормотал мистер Крук.

— Ну, Луизу Брайант и Бесси Битти вы, конечно, не раз видели в России, ведь они представляли там американскую прессу...

— Право,— совсем смешался мистер Крук,— мне очень жаль... Но никого из этих лиц я не знаю...

Наступило непонятное для мистера Крука молчание, в котором таилось явное осуждение. Наконец он услышал:

— Все они, побывав в России, стали большевиками. Все они уже допрошены юридическим комитетом сената Соединенных Штатов. У сенаторов сложилось мнение, что Робинс, Вильямс и другие взяли на себя поручение Ленина убедить американское правительство не трогать русских большевиков и позволить им делать в России все, что заблагорассудится... Вы разделяете эти взгляды?

— Я? Разделяю взгляды?..— Мистер Крук нахмурился.— Но ведь это политика! А я и миссис Крук никогда никакого отношения к политике не имели! Как работники Красного Креста, мы считали своим долгом помочь этим бедным детям, сделать хоть что-нибудь реальное...

— Конечно, вы правы, мистер Крук: наш Красный Крест вне политики. Но нельзя же не считаться с тем, что происходит в стране! Большевицкая Россия вызывает ненависть американцев! Там растоптаны религия, частная собственность, свобода!

— Простите, мы говорили о детях...

— Мистер Крук, я прошу вас быть серьезнее. Уж если вы умудрились протащить вокруг света несколько сотен мальчишек и девчонок из красной России, то посоветуйте, пожалуйста, что же теперь с ними делать?

— Вернуть домой, к родителям...

Собеседник посмотрел на мистера Крука с терпеливым сожалением, как на слабоумного:

— Вы хоть газеты читаете?

— Не всегда,— признался мистер Крук.

— Наше правительство, конгресс, наша печать считают большевиков узурпаторами и убийцами. Вам известно, что они расстреливают поголовно всех, в том числе женщин и детей — детей, мистер Крук! — несогласных с их взглядами? И вы полагаете, что вам разрешат отправить сотни невинных детей на верную гибель? Мистер Крук, я был о вас лучшего мнения, я разочарован... Работа в Красном Кресте никого не освобождает от верности своей стране, от патриотизма...

Этот странный разговор до того подействовал на мистера Крука, что он вернулся совсем больной. Кое-как мистер Крук передал своей верной жене все то, что ему пришлось выслушать. Кроме того, он притащил добрый пуд толстых американских газет, которые успел просмотреть по дороге... Газеты сыпали бесчисленные проклятия Советской власти, одна перед другой соревновались в рассказах о зверствах большевиков...

Миссис Крук, горя негодованием, направилась к руководителям Красного Креста, ничего не зная о том, какой нажим приходится им выдерживать, не понимая, что судьба сотен русских детей поставлена на кон в грязной антисоветской игре...

Тем не менее она заявила в свойственной ей решительной манере:

— Благородные цели и средства Красного Креста, весь его авторитет будут уничтожены, если мы предадим интересы детей... Предадим ради каких-то низких, недостойных политических соображений, к которым все мы, надеюсь, питаем глубочайшее отвращение. Я дойду до президента. Если понадобится, обращусь к американскому народу. Но позора не допущу!

Миссис Крук знали и побаивались, но и ей удалось добиться лишь неопределенных обещаний, что если найдутся деньги на оплату нового рейса «Асакадзе-мару», если какой-нибудь эстонский порт согласится принять судно, а главное, всех ребят, то возможно... Но надо еще доказать, что дети хотят вернуться в красную Россию! А это не так-то просто!



— Нет ничего проще,— отрезала Энн Крук.— Пусть кто угодно встретится с детьми и убедится...

— Увы, миссис Крук, ваши высокие принципы, ваша бесконечная доброта помешали вам увидеть тот террор, который царствует в вашей детской колонии...

— Какой террор?

— Красный. У нас, миссис Крук, есть своя информация. Ваши дети запуганы, терроризированы незначительной по численности, но спаянной группой старших воспитанников, зараженных большевизмом. Под угрозой физической расправы, моральных унижений дети не скажут, о чем действительно думают и мечтают. Они будут твердить о навязанном им желании вернуться в красную Россию, но это ничего не доказывает...

— Сэр, я работаю в Красном Кресте двадцать лет! — возмутилась миссис Крук.— И все время с детьми! Если вы считаете, что мое мнение ничего не стоит, что я не заслуживаю доверия...

— Что вы, миссис Крук...

— Тогда перестаньте слушать нелепые сплетни! Этих детей не запугать. Их нельзя терроризировать. Я советую вам, сэр, запомнить мои слова. Кажется, я понимаю, почему моих детей поселили на заброшенном острове, отрезанном от Нью-Йорка...

И, не слушая возражений, вне себя от гнева, она выскочила, хлопнув дверью.

Ни тогда, ни после Круки ни с кем не делились своими горестями.

Ребята недоумевали, почему после такой теплой встречи в Сан-Франциско их изолировали от нью-йоркцев, засунув на заброшенный островок, который за час-другой можно было пересечь вдоль и поперек.

Удивляли и сердили ребят также строгости, введенные на этом островке. Казармы, где они жили, были обнесены забором. Охрану лагеря несли солдаты-негры. Они относились к ребятам по-дружески, но никуда не выпускали. Всем в лагере командовали белые солдаты-инструкторы с какими-то нашивками. В шесть утра — подъем по свистку. Полчаса отводилось, чтобы убрать постели и умыться. Полагалось каждое утро мыться до пояса. Затем целый час занимались гимнастикой, строевым шагом, военизированными упражнениями...

Миша Дудин так пристально и внимательно вглядывался в лица инструкторов, что его рано или поздно спрашивали:

— В чем дело, парень?

— Я ищу Майкла Смита,— объяснял он.

— Какого Смита?

— Был такой...

Ребята хмурились. Уж не начинают ли и правда втихари готовить из них разведчиков?

За каждое отступление от правил полагалось наказание, как в настоящей казарме. Питание стало скудным... Такой же порядок был заведен и для девочек, только с ними занимались несколько злых и неразговорчивых женщин в скаутской форме.

Все это можно было вытерпеть, если бы сказали ясно и точно, когда их повезут домой. Вместо этого стало известно о «плане Бордо».

Аркашка, необыкновенно быстро сходявшийся с разными людьми, завел и здесь дружбу со здоровенным солдатом-негром. Ребята провели на острове уже около десяти дней. Аркашка учил своего солдата русским словам и просил, чтобы тот приносил нью-йоркские газеты, вроде — для учения... Иногда солдат совал ему газету. Там писали о чем угодно, только не об их неуютной судьбе.

Но однажды солдат сказал:

— Скоро будем прощаться.

Аркашка молча впился в него черными глазами.

— Вас повезут во Францию.

— Куда? — не поверил Аркашка.

— В лагерь, около французского города Бордо. Там собирают детей, жертв большевистской революции. Вам повезло: начальником лагеря назначен тот самый, кого ищет ваш малыш,— Майкл Смит. Хорошо, что знакомый, правда?

Через час штаб красных разведчиков решал, как быть.

— Удрать из лагеря — раз плюнуть,— размышлял Ларька.— Забор и охрана пустяки. А потом что? На острове никто не живет, лодок нет. На чем добираться?

— Для смены караула приходит катер,— напомнил Аркашка.— Захватим его!

Ларька только улыбался, а Гусинский рассердился:

— Как ты его захватишь? И вообще кончай свои анархистские штучки!

— А ты что предлагаешь?

— Даже если б удалось захватить катер,— успокаивал их Ларька,— нам не удастся добраться до города. Перехватят в заливе...

— Дадим бой!

— Чем? Кулаками?

— А хотя бы и кулаками! Налетят репортеры! Мы успеем сказать им всю правду!

— И они ее тотчас напечатают,— посмеивался Ларька.

— Ты что,— нахмурился Аркашка,— не понимаешь, что надо любой ценой пробраться к товарищу Мартенсу? Ты помнишь, что говорил Джером Лифшиц? Если можно поднять всемирный хай, так самое время его поднимать! Иначе будет поздно...

— Вот если бы кто-нибудь умер,— неожиданно заговорил Миша Дудин,— тогда можно бы в гроб вместо этого мертвеца положить, скажем, меня... Гроб отвезут в город, на кладбище, а я откопаюсь и выберусь к товарищу Мартенсу... Только для этого надо, чтобы кто-то умер.

Тут стало известно, что в лагерь приехала миссис Крук и хочет видеть Ларьку и Катю.

Наверно, впервые в жизни миссис Крук испытывала странную неловкость, что-то похожее на стыд... В глубине души она с горечью сознавала, что предпочла бы сейчас не появляться в лагере. Но у Джеральда Крука, с его куда более мягкой натурой, чуть не слезы наворачивались на глаза, когда надо было ехать в лагерь. Он умоляюще смотрел на жену, и скрепя сердце Энн Крук брала эту миссию на себя... Что могла она ответить русским ребятам на самый главный для них вопрос? Теперь, когда «Асакадземару» требовалось каких-то две недели, чтобы доставить ребят домой, миссис Крук не знала, попадут ли они туда вообще... И прятала глаза.

Катю и Ларьку она встретила уверенно и требовательно, как в лучшие времена.

— Возможно, что на днях вам предложат дать концерт в Нью-Йорке,— сказала миссис Крук.— Местные импресарио узнали о ваших успехах в Сан-Франциско. Удалось подключить прессу... Постарайтесь прогреметь еще оглушительнее!

Ларька и Катя разом посмотрели друг на друга, потом на миссис Крук.

— Ну? — потребовала она. — Никаких секретов!

Ларька не решался, но Катя спросила:

— Мы слышали, нас хотят отправить во Францию. В лагерь, где командует Майкл Смит. Это правда?

— Думайте о концерте, — помолчав, хмуро посоветовала миссис Крук. — Вы не понимаете, как это важно. Чтобы нью-йоркцы вас поняли и полюбили...

— Скажите нам адрес представителя Советской России, товарища Мартенса, — попросила Катя.

Миссис Крук взглянула на Катю, потом на Ларьку и строго покачала головой:

— Подумайте как следует. У вас сейчас есть солидный шанс привлечь нью-йоркскую публику. Удалось организовать концерты, прорвать вашу изоляцию... И в этот момент вы хотите связать себя с большевиками?

Ларька молча взглянул на Катю и отвернулся.

— Дорогая миссис Крук, мы не хотим вас обманывать, — пожала плечами Катя. — Вам и мистеру Круку мы верим. Извините, но мы за Советскую власть, за большевиков. — Она покраснела. — Хотя это, наверно, слишком громко сказано...

— И вы, Катя?

— Разве я хуже других?

— Зачем вам это?

— Зачем человеку правда?

— Правда — в политике?.. Катя!

Уже немолодая женщина и совсем еще девочка смотрели друг на друга с нежной, проникновенной жалостью. Катя положила легкую ладошку на руку Энн Крук, и та мгновенно накрыла Катину ладонь своей... Ларька поглядывал с ироническим любопытством.

— Все равно, мы любим друг друга, правда? — вздохнула Катя. — И вы скажете мне адрес Мартенса...

— Но я его не знаю! — У Энн Крук, которая только что позволила себе расслабиться, лицо снова стало жестким. — И я не желаю потакать вашим глупостям!

Первый концерт русских детей в Нью-Йорке проходил под открытым небом, на стадионе. Газеты утверждали, что собралось более десяти тысяч человек, все билеты были проданы.

На этот раз вели концерт Аркашка и Миша Дудин. Решили не дразнить буржуев, и Аркашка читал не Маяковского, а стихи Пушкина о Петрограде:

Люблю тебя, Петра творенье,  
Люблю твой строгий, стройный вид,  
Невы державное течение,  
Береговой ее гранит...

У него неожиданно дрогнул голос. Что такое? В гимназии эти стихи лениво долбили наизусть и потом, когда вызовут, бормотали кое-как. Что-то с ними случилось, потому что здесь они зазвучали иначе...

А Миша Дудин, отставив далеко ногу и подняв вверх руку, как ему показывала учительница пения и мелодекламации еще в его четвертом реальном училище, проникновенно прочел известные пушкинские строки о Москве:

Как часто в горестной разлуке,  
В моей блуждающей судьбе,  
Москва, я думал о тебе!  
Москва... как много в этом звуке  
Для сердца русского слилось!  
Как много в нем отозвалось! —

Он посмотрел в кашляющий темный амфитеатр и решил, что зрители ничего не поняли, что им надо как-то помочь.

— Вообще-то я питерский...— начал он, вздохнув.— Мы с мамой в Петрограде жили. Но сейчас она, может, в Москве. Туда Ленин переехал и другие наши комиссары, которых она чаем поила. Они без нее и чаю не напьются...— Он подумал и быстро пожал плечами.— А может, ее и не взяли. Третий год мы все едем, едем, а я от нее только одно письмо получил, еще на Дальнем Востоке. А она от меня — ни одного. Думает, и нету меня вовсе...

Аркашка давно гудел, требуя, чтобы Миша прекратил свое незапланированное выступление, даже пробовал подойти ближе, незаметно уволочь его со сцены, но Миша пояснил, отбиваясь:

— Они же не понимают, что мы домой хотим. А я им объясняю. Что такого?...— Он повернулся к рукоплещущему, растроганному залу и по-английски добавил: —

Мы хотим домой! Мы очень хотим домой! Пожалуйста, сделайте так, чтобы нас пустили домой!..

Концерт только начался, а среди публики поднялось столпотворение. Сначала часть публики только ругала тех приятелей Майкла Смита, которые пытались что-то кричать о красной пропаганде; потом вышвырнули их со стадиона. Между тем на сцену выскочили все участники концерта и по знаку Миши Дудина хором крикнули по-русски:

— Даешь домой!

Десять тысяч человек, стоя, протягивали к ним руки, зонтики, цветы, что-то кричали и плакали, приветствуя ребят. Едва удалось снова продолжить концерт, который и дальше шел под сплошные восторги...

Из всех присутствующих на стадионе только Круки заметили, что на сцене не появляются ни Катя, ни Ларька.

А они в это время шли по Бродвею, по главной улице Нью-Йорка! Даже днем здесь сверкало электричество, рекламируя все — от сигарет и галстуков до кандидатов на каких-то выборах. По этой бесконечной улице двигались десятки тысяч людей. Между ними катили настоящие хозяева улицы — автомобили. Прохожие глазели на Ларьку и Катю с бесцеремонным любопытством: ребята были одеты совсем не по-ньюйоркски...

Был час выхода вечерних газет, и толпы мальчишек — продавцов газет, ожидая свежие номера, развлекались чем попало...

Ни Ларька, ни Катя ни у кого не спрашивали о мистере Мартенсе, не называли нужный им номер дома... Они спрашивали только улицу, Сороковую стрит, на которой стоял этот дом. Про себя они помнили — номер сто десять. Сердитая миссис Крук все-таки сообщила им адрес...

## 35

По правде говоря, и Ларька и Катя надеялись, что представитель Российской Советской Федеративной Социалистической Республики занимает в Нью-Йорке самый большой и суровый небоскреб. Над домом высоко в небе гордо реет красный флаг революции. Трудовой народ, все несправедливо обиженные, распрямляют спину



у этого дворца, а буржуи торопятся проشمыгнуть мимо, скорчившись в три погибели...

Но представитель Советской России в Соединенных Штатах Людвиг Карлович Мартенс снимал всего лишь третий этаж и часть четвертого в старомодном, потемневшем от времени доме. После громающего, залитого светом Бродвея Сороковая улица показалась тихой, даже сумрачной...

Куда хуже, однако, было то, что возглавляемое Мартенсом представительство не имело никакой силы... Оно не охранялось ни статусом о дипломатической неприкосновенности, ни законом,— ведь Соединенные Штаты не признавали Советскую Россию. С Мартенсом работали десяток товарищей. Не имея ни денег, ни товаров, ни даже литературы, миссия Мартенса должна была дать возможность тем американцам, которые хотели знать правду о Советской России, узнать эту правду. Не менее важной задачей Мартенса было заинтересовать деловых людей Америки в торговле с новой Россией... Против Мартенса и десятка его помощников, против занимаемых Бюро полутора этажей стояли государственный и полицейский аппарат, печать, вся реакционная, империалистическая и обывательская Америка. То и дело Мартенсу приходилось отбиваться от провокаций. Его пытались привлечь к суду по обвинению в подрывной деятельности, опасной для Соединенных Штатов. Так силен был ужас собственников перед Октябрьской революцией, что в своей могущественнейшей державе они всерьез боялись этих полутора этажей и большевика Мартенса.

Его стоило бояться.

Людвиг Карлович Мартенс, обрусевший немец, за активную революционную деятельность в 1896 году попал в тюрьму. Освободившись, он продолжал служить революции и в 1899 году был выслан из России без права возвращения.

Семь лет Мартенс живет и работает в Пруссии; кайзеровская полиция ходит за ним по пятам, но Мартенс, уже опытный революционер, водит ее за нос. В 1906 году ему все же приходится переехать в Англию. В следующем году он участвует в пятом съезде ленинской партии, работает для партии до пятнадцатого года. В январе шестнадцатого — Мартенс в Нью-Йорке. Почти двадцать лет он



оторван от России. Но партия и Ленин знают, ценят большевика Мартенса, помнят о нем. В январе девятнадцатого года шведский матрос-коммунист тайно доставляет Людвигу Карловичу верительные грамоты. Он назначается представителем Народного комиссариата по иностранным делам РСФСР в Северо-Американских Соединенных Штатах.

Мартенс открывает свое представительство через несколько дней. Два месяца официальная Америка делает вид, что не замечает этого. Была надежда, что затея с представительством РСФСР провалится сама собой.

Они не знали Мартенса. Он начал с широкой кампании в печати за восстановление торговли. Придумал простой и заманчивый ход: направил в редакции двухсот двадцати четырех американских газет списки товаров, которые предлагала Советская Россия и которые она хотела закупить...

Через неделю Мартенс сообщает в Москву: «Предложение открыть коммерческие отношения произвело фурор. Сегодня моя контора осаждалась представителями крупнейших фирм и печати».

Сначала пятьсот тридцать американских фирм в письмах на имя Мартенса выразили желание торговать с большевиками. Потом число их дошло до девятисот сорока одной из тридцати двух штатов.

Одновременно Людвиг Карлович укреплял связи с лучшими представителями американского рабочего класса. В его конторе бывали Джон Рид, Уильям Фостер. Мартенс выступал не только в печати и на встречах с бизнесменами, но и на митингах, на собраниях различных организаций. На митинге в крупнейшем зале Нью-Йорка, Медисон-сквер-гарден, двадцать тысяч человек в течение десяти минут восторженной овацией приветствовали появление представителя РСФСР Л. К. Мартенса... На следующий день нью-йоркские газеты с ожесточением обрушивались на Мартенса.

Не замечать Мартенса — не выходило. Уже с февраля девятнадцатого года сенат США создал подкомитет для изучения «большевистской пропаганды», а в действительности — для подготовки американцев к усилению интервенции против Советской России. Вскоре началось колчаковское наступление... Комитет брался свидетельскими показаниями установить, что в Советской России у власти

«кучка преступников», что Красная Армия состоит «из уголовных элементов», что все женщины в РСФСР «национализированы».

Мартенс начал издавать на английском языке журнал «Советская Россия», бюллетень, в котором печатал выступления Ленина, декреты Советской власти. Ему удалось заключить с деловыми людьми Штатов сделок на тридцать миллионов долларов... В ответ в июле девятнадцатого года, когда детская колония была еще на Тургояке и ничего не слышала о Л. К. Мартенсе, на помещение его миссии в Нью-Йорке организовали первый полицейский налет. Полицейские силой выгнали всех сотрудников на улицу. Были захвачены архивы и другие документы. Полиция всю ночь находилась в помещении...

Специальная законодательная комиссия штата Нью-Йорк начала расследование «подрывной деятельности некоего Мартенса, претендующего быть представителем РСФСР».

Но через несколько дней в Медисон-сквер гарден на грандиозном митинге свободолюбивые нью-йоркцы протестуют против действий полиции, выступление Мартенса встречается новой бурей аплодисментов.

Следствие по сфабрикованному «делу Мартенса» ведется до декабря девятнадцатого года. Как ни стараются следователи и члены различных комиссий, им не удается доказать вмешательство Мартенса во внутренние дела США или нарушение им хотя бы одного американского закона... Тем не менее второго января двадцатого года подписывается ордер на арест советского представителя. Возмущение американской общественности бессмысленными и преступными действиями своего правительства было так велико, что Мартенса американцы же предупреждают о грозящем аресте, и он благополучно скрывается. Недалеко, всего лишь в Вашингтон... На ноги поставлена вся федеральная полиция и сыскной аппарат, но найти Мартенса не могут, слишком многие американцы ему сочувствуют. Он живет в нескольких кварталах от Белого дома... Для американских газет его исчезновение стало сенсацией номер один

Когда выяснилось, что с арестом представителя РСФСР придется повременить, Людвиг Карлович вышел из американского подполья. На него набросился новый

комитет сената США. Шестнадцать допросов. Пятьсот страниц убогистого текста «дела».

Но в мае двадцатого года профсоюз строительных рабочих потребовал признать Мартенса официальным послом РСФСР в США. Начались новые митинги, протесты...

Решили Мартенса не арестовывать, но выслать немедленно... В ответ Мартенс организует «Американское общество технической помощи Советской России», «Комитет медицинской помощи Советской России», «Комитет американских женщин по оказанию помощи женщинам и подросткам Советской России», в Нью-Йорке прокатывается новая волна митингов за признание РСФСР и снятие экономической блокады...

За Мартенсом не было ни военных кораблей, ни боевых самолетов, ни по-современному вооруженных армий, ни промышленности, ни даже амбаров с хлебом. Золота тоже не было. За ним была до того нищая страна, что даже для производства лаптей пришлось организовать Чрезвычайную комиссию... Разоренная, голодная, нуждавшаяся во всем — от хлеба и соли до гвоздей и мыла. И самая страшная для капиталистов. Не оружием, не промышленной мощью — только идеями, только громко заговорившей правдой.

Вот к этому человеку, ленинской правдой творившему в Америке поистине чудеса, и пришли Ларька с Катей. Они увидели на двери табличку «Бюро русского советского представительства», услышали за дверью гул многих голосов... Ларька нахмурился и, не глядя на Катю, толкнул дверь...

Им показалось, что в комнате, куда они шагнули, нет ни одного советского человека, одни буржуи: новые костюмы, блестящие воротнички, сверкают золотые зубы, пахнет сигарами... Появление детей не сразу привлекло внимание этой шумной компании, где о чем-то спорили, чему-то смеялись. Но один, высокий, широкоплечий, с большим лбом, над которым вились светлые и редкие волосы, с узким подбородком под рыжеватыми усами, шагнул навстречу ребятам. Глубоко посаженные голубые глаза искрились юмором. Он улыбнулся такой простецкой и доброй улыбкой, что Катя невольно улыбнулась ему в ответ.

— Добрались-таки? — спросил этот человек, явно одобряя их приход. — Я ждал вас!

Ларька и Катя недоверчиво переглянулись.

— Вы из детской колонии питерских и московских ребят, вывезенных американским Красным Крестом на японском судне, верно?

Ребята закивали, Катя быстро, с улыбкой, Ларька все-таки недоверчиво.

— Ну, здравствуйте! — сказал незнакомец. — Я — Мартенс.

Теперь ребят заметили все и оглядывались на них с любопытством. Людвиг Карлович извинился перед своими посетителями, а среди них были и бизнесмены, и журналисты, и профсоюзные деятели — и провел ребят в кабинет.

В углу стоял большой письменный стол, против него — три кресла, а рядом со столом — книжный шкаф... На стене висел большой фотографический портрет, и, взглянув на него, Ларька наконец широко и облегченно улыбнулся... Фотография изображала Ленина. Около него был прикреплен государственный флаг РСФСР, сделанный не из кумача, а из шелка...

Мартенс, конечно, знал об одиссее ребят. Больше всего Людвиг Карловича тревожили попытки ряда газет воспользоваться прибывшими в США не по своей воле ребятами для новой антисоветской травли. Он мало говорил, больше задавал вопросы и умел замечательно слушать.

Ему Ларька и Катя рассказали все... И об их непростом, бесконечном путешествии. И о том, как впервые его имя им назвал Джером Лифшиц, обещая всемирный хай... Тут Людвиг Карлович весело засмеялся: он знал Джерома Лифшица, радовался, что тот жив и его помнит. Рассказали о красных разведчиках; Мартенс снова задавал вопросы и был, кажется, доволен... Ларька хотел сказать даже о знамени краскома, но в последний момент застенялся... Потом Мартенс по русскому обычаю напоил их чаем и повез к стадиону, где уже заканчивался концерт. Слушая, как восторженно и гневно говорят нью-йоркцы, осуждая всех, кто пытается не пустить русских ребят на родину, Мартенс подмигнул Ларьке и Кате:

— Молодцы!.. Будем бороться.

На следующий день он направил официальный протест

правительству Соединенных Штатов, требуя немедленного возвращения вывезенных из Советской России детей... К этому времени о замечательном концерте русских детей, об их удивительной судьбе, о страстных просьбах ребят помочь им вернуться домой стало широко известно в Нью-Йорке. Нашлись газеты, которые дали более или менее правдивую информацию, писали и о триумфальных концертах в Сан-Франциско.

Но противники не унимались. Они упорно твердили, что именно ради спасения детей, ради их жизненных интересов не может быть и речи о возвращении в гибнущую Россию. Пронырливые репортеры нащупали-таки Ростика Гмырю и его дружков.

Америка ошеломила Ростика невиданным богатством. Витрины ломились от всякой снеди. Громоздились розовые, со слезой на ароматном срезе, ветчины и колбасы. Откормленные коричневые индейки сочились жиром. Вздymались к потолку горы румяных яблок, едва не лопающихся от сока груш, винограда, апельсинов, ананасов. Конфет, шоколада, пирожных было столько, что, если б их свалить в океан, вышел бы целый остров! Мимо всего этого изобилия сытые американцы шли и глазом не моргнув — до того обожрались. И одежды, самой дорогой, невиданной, тут было навалом. В витринах лежали даже золотые вещи и всякие драгоценности, просто так, за стеклом. И ходили американцы все в костюмах, при галстуках и запонках, в блестящих штиблетах — сразу видно, что денег девать некуда. Мальчишки и те носили буржуйские галстуки и шляпы.

Больше всего на свете Ростик и его дружкам хотелось жить так роскошно. Они и не воровали, держались только потому, что боялись попасться, а тогда ни за что тут не останешься, выгонят, придется переть домой.

Возвращаясь с концертов, они старались не торопиться, отставали, слонялись по улицам, глазели на витрины, восклицали с завистью:

— Вот это жизнь, мужики!

— Да уж житуха что надо...

— Ты бы хотел так жить?

— А кто бы не хотел?

— Да, жили бы мы здесь — ходили бы ручки в брючки, как заправские мистеры, и делали свой бизнес...

Однажды бежавший мимо торопливый репортер нью-йоркской «Трибюн» остановился, прислушался и, вытащив одной рукой записную книжку, другой ухватил Ростика.

— А как же сейчас, на концерте, вы просились домой? — спросил он, явно заинтересованный.

— Кто просился? Я? Мы? — зашумели Ростик и его гоп-компания, с горем пополам переходя на английский. — Ни боже мой! Что мы, дурные?..

— Мистер редактор, — сказал Ростик, приосанившись, — моя фамилия Гмыря, мои родители — коммерсанты... — Тут Ростик не очень и соврал — его отец и мать держали мясной ларек на одном из питерских рынков. — Мы все из приличных семейств, не какие-нибудь... Если хотите иметь самую жуткую правду о кровавых злодействах большевиков, мы вам все скажем. То, что мы видели и знаем, никто не знает. Только торопитесь, мистер... Это строго между нами. — Ростик задышал в волосатое ухо репортера. — Сюда, в Америку, уже посланы кровавые разведчики, самая страшная сила большевиков. Они нас всех поработили...

Репортер потребовал подробностей. Ростик готов был выдать любые подробности, но не даром же.

— За доллары, — с жадностью зашелестела гоп-компания.

— Заткнитесь, — потребовал Ростик, — какие доллары? Мистер редактор может подумать, что вы и правда такие жадные... Вы что, забыли, что мы идейные борцы? Нам бы только отстоять идею. Не подпускайте только к нам кровавых разведчиков, и пусть нас навсегда оставят в Америке. Мы тоже хотим жить как люди...

Они скрыли от всех свою беседу с репортером. Но многие заметили, как Ростик и его друзья торжествующе переглядываются, пересмеиваются и посматривают на всех сверху вниз. Миша Дудин давно забыл, что когда-то получал от Ростика подзатыльники, но тут снова отведал это угощение.

— Ламца-дрица! — веселился Ростик. — Четыре сбоку, ваших нет! Жизнь идет?

— Ты чего?

— Интересуюсь жизнью! Скажи мне по секрету, как друг, — он неожиданно обнял Мишу за плечи, — а Ларька или там Аркашка, как они, понимают жизнь?

— Тебе-то что?

— Ничего они не понимают! Им хана! Можешь так и передать...

И, еще раз щелкнув по круглой Мишиной голове, Ростик и его дружки победоносно прошествовали дальше.

Никто не понимал, что с ними такое делается. Да и мало кто интересовался. Ларька спросил:

— Чего сперли?

Но был облит презрением...

Вскоре в газетах появились заметки о том, что русским детям Соединенные Штаты нравятся куда больше их разоренной родины, что они мечтают здесь остаться и торопиться с отсылкой детей к большевикам было бы преступлением... Упоминалось и о таинственных кровавых разведчиках...

Полностью были названы в газетах фамилии Ростика и его дружков — всего одиннадцать человек. Никто им не позавидовал.

С первыми газетами примчалась в лагерь миссис Крук. Ларька встретил ее и просил с Ростиком в объяснения не вступать. С ним и его компанией не разговаривал никто. Проходили мимо, будто их вовсе не было.

— Нам чихать,— хихикал Ростик.

Миссис Крук увезла письмо, на котором стояли подписи не одиннадцати, а сотен человек. Письмо требовало: даешь домой!

Его не напечатала ни одна газета.

Ларька велел:

— Ростика чтобы никто пальцем не тронул!

Гусинский строго добавил:

— Могут быть провокации.

Хотя на концертах их приветствовали овациями и возмущались, почему русских детей не пускают домой, хотя коммунисты во всем мире требовали: «Руки прочь от детей революции!» — казалось, Питер опять отодвинулся. И ближе стал Бордо...

Ночью Ростика и его приятелей кто-то все-таки отлупил. Глухой голос мрачно произнес над ними:

— Предателям — смерть.

Ростик пожаловаться не решился. Ему досталось больше других. На следующий день солдат-инструктор кое-что узнал о происшествии, и тот самый репортер, кото-

рый первым написал о Ростике, жертве революции, торопливо строчил, предвкушая повышенный гонорар, о том, что полиция спит, а большевики проникли уже на порог Нью-Йорка, на остров в Гудзоновом заливе, где безнаказанно и безжалостно расправляются с детьми, полюбившими Америку...

— Неужели кто-нибудь верит такой белиберде? — поражались ребята.

И на каждом шагу убеждались, что многие американцы верят.

Солдат-негр, с которым подружился Аркашка, обычно делился новостями, но сейчас солдату самому не терпелось узнать, как большевики сумели проникнуть на их островок... Он только что сменился с караула и опасался, не в его ли дежурство это случилось. Аркашка поглядел на солдата и покачал добродушно головой. Его забавляла наивность этого взрослого парня в форме и с винтовкой.

— А какие они, большевики? — спросил Аркашка.

— Откуда я знаю? Я их не видел!

— Не знаешь, а говоришь, — влез Миша Дудин.

Аркашка усмехнулся:

— Что ж бы ты сделал, если б увидел настоящего большевика?

Солдат подхватил винтовку и прицелился, жмурясь:

— Бах! Убил бы!

— Ну да! — отмахнулся Миша. — Убил один такой.

— За что? — спросил Аркашка.

— Как — за что? За то, что большевик!

— Ты же их не видел.

— Не видел.

— Так как бы узнал?

Солдат, у которого винтовка стояла теперь на боевом взводе, растерянно опустил ее к ноге. Впрочем, он помнил, что винтовка не заряжена, хотя его совсем сбили с толку эти мальчишки.

— Ага! — зашумел Миша. — Они невидимки! Нипочем не узнать! Где тебе!

— Ладно, я помогу, — сказал Аркашка.

— Вот хорошо! Помоги мне!

— Сейчас я тебе покажу настоящего большевика.

Солдат задергал головой, испуганно оглядываясь по сторонам:



— Может, не надо? Почему — мне? Я что, тебя просил?

— Гляди! — потребовал Аркашка, выпрямляясь. — Вот я, большевик! Ну, что же ты! Стреляй!

Лицо у солдата посерело от страха, но теперь он нерешительно пробовал улыбнуться:

— Какой ты большевик! Ты — Аркашка!

Аркашку обидело это недоверие, и он слегка нахмурился.

— Нет, я большевик, — сказал он.

— Он большевик, точно! — подхватил Миша. — И я тоже! Мы тут все большевики! Большевики, даешь сюда!..

Солдат вскинул винтовку и нажал гашетку... Потом, уже в военном суде, придя в себя, насколько это было возможно, он говорил, что винтовка была не заряжена. Еще настойчивее и чаще он твердил, что испугался. Его напугали разговоры о большевиках, будто бы оказавшихся на острове, и когда он услышал, как Аркашка и Миша повторяют — «большевик», то сейчас же выстрелил, но думал, что винтовка не заряжена... Он выстрелил в большевика! Он не думал, что попадет в Аркашку...

Выстрел грянул в упор, и Аркашка замертво свалился на жесткую, колючую землю...

— Ты что! — не понял Миша Дудин.

Со всех сторон бежали ребята. Но затихали, останавливаясь около неподвижного Аркашки и Миши, который бросился было поднимать Аркашку, а теперь смотрел на солдата... Ларька врезался в молчаливую толпу — и вовремя. Солдат, растолкав всех, отшвырнул Мишу, упал на колени рядом с Аркашкой, приложил ухо к его груди, затормошил, приподнял его за плечи, так, что голова Аркашки отвалилась назад, и завыл, запричитал, подхватывая голову Аркашки, словно испугался, что она покатится в сторону... Глаза у солдата стали вдвое больше, он страшно вскрикнул, вскочил, схватил винтовку и, положив на дуло круглый подбородок, сунул руку к гашетке. Винтовка еще раз выстрелила, но в воздух: Ларька успел по ней стукнуть. А солдат рухнул на землю рядом с Аркашкой, и бился об землю головой, и рыдал навзрыд...

Но никто не смотрел на него, солдата словно и не было.

Миша, стоя на коленях перед Аркашкой, ухватил его тяжелую неживую руку и что-то шептал, заглатывая



слезы. По другую сторону Ларька, тоже на коленях, с напряженным и виноватым лицом, зачем-то подsunул руку под голову Аркашки, словно скитальцу морей так мягче и удобнее было лежать... Катя, разорвав окровавленную рубашку на мертвом, прильнула щекой к его груди, изо всех сил пытаясь расслышать Аркашкино сердце, и от ужаса, что ничего не слышит, не решалась приподнять голову...

Они решили, что сами похоронят Аркашку.

На траурном митинге гроб с его телом стоял на трибуне, весь в живых цветах. Ребята отодрали от гроба все бумажные розочки и парафиновые финтифлюшки и густо выкрасили его сочной красной краской. Казалось, гроб залит Аркашкиной кровью... Все время, пока шел митинг, у гроба стояли Энн и Джеральд Круки, Ларька и Катя.

В первый раз все увидели спасенное из океана знамя краскома. Его темно-красное полотнище, на котором все еще можно было разобрать надпись: «Мир — хижинам, война — дворцам!» — лежало у Аркашки на груди.

Красный гроб перенесли на лодку под косым парусом... Хозяин лодки, знакомый мистера Крука, отдал ее на весь этот день. На лодку поместились двадцать человек, которым митинг поручил проводить Аркадия Колчина в последний путь.

В его похоронах должен был также принять участие оркестр колонии. Сначала военные, охранявшие лагерь ребят, не хотели дать для этого свой катер. Но офицер, командир охраны на острове, сказал:

— Я не знаю, большевики они или нет, но это настоящие ребята... Пусть меня разжалуют, но катер они получат!

Дело в том, что ему стало известно: вся русская детская колония обратилась в военный суд с ходатайством помиловать солдата, который стрелял в Аркашку. Солдату грозил за это убийство электрический стул.

Теперь катер шел за лодкой с гробом, и оркестр ребят исполнял любимую песню Аркашки:

Наверх вы, товарищи, все по местам!  
Последний парад наступает...

Косой парус и катер растаяли в жарком мареве, но все

знали, что они скоро подойдут к «Асакадзе-мару»... Вся колония стояла на берегу, никто не двигался с места.

Капитан Торигаи не только разрешил провести на своем корабле траурную церемонию по всем морским правилам, но обещал дать прощальный салют имевшимися на «Асакадзе-мару» ракетами...

И вот все увидели, как далеко и беззвучно вонзились в небо, вспыхнули и растаяли огненные звезды... Они гасли, пока гроб с телом Аркашки, соскользнув с доски у борта, медленно погружался в Атлантический океан...

## 36

Смерть Аркашки потрясла Круков. Ничто не могло освободить их от чувства личной вины. Когда на другой день после похорон они были вызваны своим начальством, то не сомневались, что речь пойдет об этом трагическом событии.

По дороге они вспоминали полковника Робинса, начальника Американской миссии Красного Креста в Советской России в первые месяцы революции. Как с ним было легко, просто и как понимал он новую Россию... Они вспоминали Робинса потому, что очень волновались и хотели как-то скрыть это волнение друг от друга...

К гибели Колчина присоединялось еще известие о том, что Майкл Смит вовсе не исчез и не бросил свою нелепую затею. Больше того, у Смита нашлись и покровители и последователи. План «Бордо» нацелен был не только на взрыв антисоветской истерии, но и на воспитание из детей — жертв революции — первоклассных разведчиков и диверсантов. В Нью-Йоркский порт вошло французское судно «Нотр Мэри», и все громче поговаривали в кулуарах Красного Креста, что именно на этом судне детскую колонию доставят в Бордо...

И Джеральд и Энн Крук знали, что если сейчас начальство в какой бы то ни было форме потребует их участия в этом плане или хотя бы согласия — они пойдут на все, на любой скандал и разрыв; после двадцати лет преданной службы в Красном Кресте окажутся на улице, но ребят не выдадут... В то же время они с глубокой горечью пони-

мали, что власти запросто обойдутся без них, как бы они ни скандалили...

Круки вошли в кабинет своего шефа и увидели, что он в крайнем возбуждении меряет его по диагонали крупными шагами...

— Нам не хватало только этого несчастья! — заявил шеф, воздевая руки и едва кивнув Крукам. — После нелепой гибели несчастного мальчика обстановка еще осложнилась! Как всегда в таких случаях, эмоции возобладают над разумом... Никто не захочет считаться с тем, что стрелял негр! Дикарь!

— Ну нет... — не то прошептала, не то прошипела миссис Крук, приближаясь к начальству. — Негр не дикарь... Он дружил с Аркашей... Да, с этим мальчиком, которого мы хотели усыновить... Негр дружил с ним! А дикари, настоящие, с белой кожей, но с черными, прогнившими сердцами, долбили, что при слове «большевик» надо немедленно стрелять! Большевик — это мишень! Большевик — значит «пли»!

Даже у мистера Крука вид был угрожающий, и это совсем сбило с толку их шефа. Он мрачно пробормотал:

— Миссис Крук, прежде всего будьте любезны прочесть вот это. — Он швырнул через стол бланк радиограммы. — Вслух, пожалуйста... Полагаю, что вам это будет еще интереснее, чем вашему супругу!

Энн Крук машинально взяла бланк, но тут же глаза ее вспыхнули. Она едва удержалась от невольного восклицания. Привыкнув все делать методично, особенно когда дело касалось такого удивительного документа, какой оказался у нее в руках, она достала сумочку, открыла ее, покопалась, вытащила очки, размеренными движениями протерла их белоснежным платком, нацепила на нос, поправила раз и другой, и только после этого торжественно приступила к чтению, не заметив, кажется, что шеф корчится от возмущения...

— «Радиограмма Центрального Комитета Российского общества Красного Креста Центральному Комитету Красного Креста США и Международному Комитету Красного Креста...»

Миссис Крук невольно сделала паузу.

— Они обратились и в Международный Красный Крест! — возмущенно поднял руку шеф, но, не обращая

на него внимания, Энн Крук читала дальше все быстрее:

— «По сведениям, полученным Центральным Комитетом Российского Красного Креста, петроградские дети, насильственно вывезенные из России Северо-Американским Красным Крестом, подвергаются плохому обращению со стороны его агентов и должны быть отправлены во Францию. В настоящее время эти дети находятся на борту парохода «Нотр Мэри», пункт следования которого нам неизвестен.

Центральный Комитет уже неоднократно протестовал против возмутительного насилия представителей Северо-Американского Красного Креста, жертвами которого явились дети русского пролетариата. Он считает своим долгом вновь поднять голос против действий, несовместимых не только с правилами работы обществ Красного Креста, но и с самыми элементарными принципами гуманности.

Центральный Комитет от имени самого общества Красного Креста и родителей увезенных детей с негодованием отвергает претензии какой-бы то ни было иностранной организации на право распоряжаться судьбой и жизнью русских детей, он требует признания их естественного права жить со своими семьями в своей стране и считает своим долгом настаивать на немедленном возвращении детей в Петроград...»

Шеф посмотрел на Круков, и у них создалось впечатление, что он про себя выругался. Впрочем, они не обратили на это внимания: у обоих были хоть и напряженные, но счастливые лица, и это особенно раздражало шефа. Он схватил радиogramму и еще раз прочел:

— «...дети, насильственно вывезенные из России Северо-Американским Красным Крестом, подвергаются плохому обращению со стороны его агентов...» Вас, кажется, радует эта наглая ложь? Так они пишут, еще не зная о смерти мальчика...

Миссис Крук сняла очки, строго взглянула на начальство и твердо сказала:

— Полагаю, что в радиogramме речь идет о нашем сотруднике Майкле Смите...

Шеф вытаращил глаза, но взгляд Энн Крук был настолько ясен и требователен, что он невольно отвернулся:

— При чем здесь Смит? — Он теребил в руках радио-

грамму.— Сплошные выдумки! Будто дети на борту какого-то парохода «Нотр Мэри».

— Этот пароход действительно зашел недавно в порт...

— Ну и что? Какое вам до этого дело?

— Детей действительно задерживают, не разрешают отправить на родину...

— Задерживают! Кто задерживает? Я? Это все ваши затеи, миссис Крук, я знаю, это вы притащили сюда детей...

Он еще долго шумел, фыркал, возмущался поведением Круков, чего-то от них ждал, но так и не дождался. В настольном аппарате послышался голос секретарши:

— К вам мистер Мартенс...

Шеф так и подскочил, будто его подстрелили:

— Этого только не хватало!

Круки вздрогнули и потупились...

Вошел элегантный, высоколобый блондин лет сорока, похожий, на почитаемого и любимого студентами профессора. Он официально-холодно назвал себя:

— Мартенс, представитель Народного Комиссариата иностранных дел Российской Советской Федеративной Социалистической Республики при Северо-Американских Соединенных Штатах. Я желал получить ответ на переданную вам радиограмму Российского Красного Креста. Теперь, когда дошло до убийства мальчика, в атмосфере всячески подогреваемой ненависти к Советской России...

Шеф замахал руками:

— Мистер Мартенс, я не хочу иметь с вами никакого дела!

Видимо, Людвиг Карлович предусмотрел и такой ход. За ним в комнату проникли с десяток репортеров нью-йоркских газет. Увидев их, шеф вовсе расстроился:

— Господа, господа!.. Еще ничего не решено.

Мартенс так же сухо и четко заявил:

— Японский сухогруз «Асакадзе-мару», на котором наши дети прибыли сюда, зафрахтован, чтобы вернуть их на родину. Советское правительство настаивает, чтобы «Асакадзе-мару» вышел в этот рейс теперь же, не позднее двадцатого сентября... Любой, кто попытается снова задержать отъезд детей после гибели Аркадия Колчина, возьмет на себя чрезвычайно тяжелую ответственность...— Он добавил несколько мягче: — Советское правительство не возражает, если для передачи детей нашим представи-

телям вы командуете мистера и миссис Крук, которых я, если не ошибаюсь, имею честь видеть...

Мартенс поклонился Крукам. Джеральд Крук инстинктивно сделал было движение, чтобы протянуть руку, но не совсем ловко удержался... Миссис Крук невольно повторила странное полудвижение мужа. Кажется, Мартенс не заметил их замешательства. Он улыбнулся им печально и светло и вышел.

20 сентября 1920 года «Асакадзе-мару» отплыл из Нью-Йорка с Круками, преподавателями, обслуживающим персоналом колонии и всеми ребятами на борту. Возвращался домой и Ростик с его гоп-компанией. После смерти Аркашки они притихли, испугались...

Еще далеко не все было ясно. Например, «Асакадзе-мару» направлялся почему-то не в Эстонию, как говорили, а в Финляндию, с которой только шли переговоры о мире... Утешало, правда, что от финского порта Койвисто, куда их должны были доставить, до Питера оставалось каких-то сто верст.

Но Ларька, Гусинский, Катя и другие ребята хорошо помнили, как дважды их отделяли от красных полков какие-то шестьдесят — восемьдесят верст, но так и не удалось преодолеть этот кусочек, пришлось проехать в другую сторону тысячи и тысячи верст... Кто знает, как оно будет теперь?

Ребята боялись радоваться. И еще каждый день вспоминали Аркашку, почему-то его очень не хватало.

Катя предложила придумать заповеди красных разведчиков:

— В память Аркашки...

— Заповеди — нехорошо, — качнул головой Ларька, — тянет на религию.

— Ну, заветы.

— Лучше клятвы, — грустно сказал Миша Дудин. — Чтоб звучали красиво. Как Аркашка говорил... Может, если б Аркашка не погиб, нас бы до сих пор там держали...

Они сидели на верхней палубе тесным кружком. Было прохладно; чувствовалась осень. С утра шел мелкий дождь, и сейчас небо везде было серое, но непонятно откуда начало просвечивать солнце...

Прошел Володя Гольцов. Еще с памятного бунта во Владивостоке, когда он, не желая стать американским



разведчиком, вместе с ребятами кровью писал «Даешь домой!» — и выбросил все американские подарки, и голодал, он не то ревновал к Ларьке, не то присматривался к нему. Из-за Кати Володя упорно цеплялся за свою иронию и пытался говорить свысока...

— Надо прежде всего дать определение, — заговорил он, приподнимая брови. — Кто это — красные разведчики? Или, если хотите, что это такое?

— Это смесь огня с железом, — тотчас ответил Миша. — Так говорил Аркашка...

— Почему огня с железом? — Брови у Володи поползли еще выше.

— Красный разведчик крепок, как железо, — отрезал Ларька.

— Яростно и отчетливо, как пылающий в темноте огонь, — тихо сказала Катя.

— Точно! — обрадовался Миша. — Аркашка так бы и сказал!

— Тогда надо записывать, — нахмурился Володя. Ему не хотелось, чтобы его оттерли из компании. — Сначала начерно, потом отшлифуем...

Он сбегал и принес свой последний блокнот, который тащил из Петрограда, потому что блокнот был роскошный, с вытесненным изображением Эйфелевой башни, подарок матери из Парижа... Катя улыбнулась такой щедрости, но Володя уже деловито записывал, требуя, чтобы ему повторили насчет огня и железа...

Около них собиралось все больше ребят, всем хотелось придумать заветы или клятвы красных разведчиков, как их придумал бы Аркашка.

— Надо насчет смелости, — подсказал Миша. — Смелости и опасностей!

— Красные разведчики побеждают опасности смелостью и опытом, предложил Гусинский.

— Какой у нас опыт? — удивился Боб Канатьев.

— Ну, кой-какой опыт у нас есть, — быстро пожал плечами Миша, и все с ним согласились.

— Опасности — смелостью и опытом, затруднения — умом, а зло — добром, — вставила Катя.

Долго спорили насчет того, можно ли зло побеждать добром, пока Ларька не сказал, глядя на Катю:

— Добрый удар шашкой по злу — это ведь тоже добро!

Катя не стала возражать.

— Красный разведчик сознательно настойчив,— тотчас придумал Гусинский,— но не безрассудно упрям.

— Он решителен в действиях,— подхватил Володя,— в речах и спорах невозмутим.

Мише это не очень понравилось, главным образом потому, что Аркашка так бы не сказал...

— Никогда он не был невозмутим,— вздохнул Миша.— И это очень хорошо. Он говорил: воля — стальная пружина...

— Давай,— кивнул Ларька.— Воля красного разведчика — стальная пружина, готовая к напряжению и действию...

Так они посреди Атлантического океана вспоминали своего дорогого Аркашку, сочиняя заветы красных разведчиков, которые потом стали первыми заветами юных пионеров Петрограда...

Казалось, что теперь, когда они стремительно приближались к Питеру, «Асакадзе-мару» идет куда быстрее.

Только войдя в Северное море, корабль стал двигаться осторожнее. Ребята узнали, что тут еще полно мин от мировой войны; особенно опасны — блуждающие мины... Несколько раз, уже в Балтийском море, где пароходы шли строго по разминированным проходам, возникала тревога, но, к счастью, она всякий раз оказывалась ложной.

«Асакадзе-мару» вошел в финский порт Койвисто накануне подписания мирного договора между РСФСР и Финляндией. Договор был подписан 14 октября 1920 года. Но у власти в Финляндии стояли злобные реакционеры, ненавидевшие Советскую Россию. Они приютили разгромленных белогвардейцев. К ним отовсюду слетались враги Советов. И это не замедлило сказаться на судьбе наших ребят.

Койвисто был уютным приморским городком, но уж очень маленьким. «Асакадзе-мару» выглядел в нем великаном. И все-таки этот чистенький строгий порт казался почти родным, потому что до Питера оставалось сто верст... Всего сто верст! Миша Дудин уверял, что если ему позволят взобраться на трубу «Асакадзе-мару», он увидит Петроград...

В Койвисто негде было расселить восемьсот детей и весь обслуживающий персонал. С правительством Фин-



ляндии имелась договоренность, что детей отвезут в пустующие здания санаториев в Халилу, где до революции лечилась петербургская знать...

Нетерпение жгло ребят. Они просили позволить им пройти сто верст до Петербурга пешком. Круки больше помалкивали. Почему-то, едва колония выгрузилась в Койвисто, они словно отошли в сторону...

Ребята попрощались с «Асакадзе-мару», по секрету подарили всем матросам, кто хотел, красные ленточки на память. Когда же большой, знакомый корабль ушел, словно еще раз осиротели...

Из Койвисто их повезли до железнодорожной станции Куолемаярви. Станция была тоже аккуратная, чистенькая, но словно игрушечная. От самой станции шла шоссейная лесная дорога. Ни заросли шиповника, ни великолепие корабельных сосен, ни терпкий и сладкий запах смолы, ни высокое и нежное бледно-голубое небо, ни великолепие четырехэтажного дворца — санатория в Халилу, где ребят поселили, — не привлекали их внимания. Всех горько разочаровало то, что за время этой короткой поездки по Финляндии они ни на шаг не приблизились к Петрограду: до него так и оставалось сто верст. Вопреки разуму, эти версты начинали казаться загадочно длинными...

В Халилу ребятам предложили написать письма родителям. Они с радостью написали. Письма были отправлены, правда, не сразу. И тут стало известно, что белогвардейское правительство Финляндии собирается задержать ребят, пока не убедится, что родители детей живы и способны обеспечить надлежащий уход и воспитание.

— Надлежащий! — с натугой улыбался Ларька. — Уход!

— И воспитание! — поднимал палец Володя.

Его ирония сейчас помогала. Из последних сил Ларька удерживал ребят от бунта. Дни шли, в Питер их не отправляли. Где-то в тяжелом тумане замаячила фигура Смита. А скоро выяснилось, что он здесь, в Финляндии, и, похоже, он, а не Круки, будет решать, куда и как передавать ребят...

Уже миновал одиннадцатый день, как их письма ушли домой, в Питер. А ответа все не было. Никакого. Никто не мог сказать, прибыли или нет эти письма в Петроград, получили ли их родители, хоть кто-нибудь... Ничего нельзя было узнать, понять.

Шел дождь со снегом, дули холодные, пронизывающие ветра, и однажды во дворце затопили. Это едва не вызвало бурю, так как пошли разговоры, что раз затопили, значит, им тут зимовать. Зимовать в трех днях пешего пути от Питера! Да они бы дошли и за два дня...

Слонялись с места на место. Ничего не делали, только ловили новости. Даже Ларька, даже железный Гусинский не могли заставить себя заниматься.

Миша Дудин клялся, что позавчерашней ночью видел Смита. К санаторию подошла черная легковая машина, из нее вышли Круки и направились было ко входу, но за ними выскочил Смит, остановил Круков и долго с ними разговаривал. Они пытались уйти, он снова их остановил. В чем-то убеждал... За то, что они разговаривали со Смитом, Миша и на Круков поглядывал с подозрением, впрочем, ребята их редко видели... Мишу била лихорадочная дрожь, когда он рассказывал. Он ненавидел Смита. Даже в гibelи Аркашки Миша винил Смита...

Больше никто Смита не видел. Но рассказ Миши произвел впечатление. Миша клялся, прижимая к груди кулаки, что это из-за козней Смита никто не получил до сих пор ответа на свое письмо...

Финны в Халилу были сдержанны, суховаты, молчаливы, но о ребятах заботились. Свое расположение к юным путешественникам и санаторный врач, и сестры, и нянечки выражали в искреннем недоумении:

— Это правда, что вас отсылают в Петроград?

— Конечно, правда! — торопливо улыбались ребята, надеясь, что услышат что-нибудь новенькое.

Финны переглядывались и замолкали, отводя глаза. Потом одна нянечка, постарше, как-то разворчалась:

— Нехорошо. Даже если вы малолетние преступники, вас нельзя посылать на смерть.

Никто ничего не понял. Миша Дудин удивился:

— Какие же мы преступники?

Нянечка долго не отвечала, жуя губами. Потом, уходя, неодобрительно бросила:

— Лгать не надо. Нехорошо.

Миша даже присвистнул от удивления.

Откуда-то появился русский священник, отыскивал среди ребят верующих, подолгу с ними беседовал. От этих бесед верующие совсем затосковали... Они с ужасом передавали рассказы священника, что по Петрограду и по всей России бродят шайки уголовников, убийц; везде голод, даже едят человечину, и прежде всего детей... Детей чуть не всех съели, и что их ждет, когда они перейдут границу — даже сказать страшно...

— Ну и как? — брезгливо морщился Ларька. — Хотите здесь остаться?

— Нет...

— Хотите к Смиту?

— Нет...

Все нетерпеливее ждали ответа на свои письма. Ждать становилось невыносимо. Ларька и его друзья не знали, что придумать, как действовать. На все требования об отправке домой поступал один ответ: надо ждать, ведутся переговоры, питерские власти все знают...

— Что нас, не хотят домой пускать, что ли? — томился Миша Дудин. — Может, думают, что мы стали буржуи?

24 октября, вечером, Катя дала знак Ларьке, что надо немедленно поговорить. Зная, что где-то рядом Смит плетет свою паутину, они стали осторожнее... Когда шли после ужина, Катя улучила момент и шепнула Ларьке:

— Письма из дома давно пришли... Еще четыре дня назад!

Ее била дрожь, как в лихорадке, лицо потемнело... Ларька невольно споткнулся. Монотонно, не повышая голоса, он спросил:

— Где они?

— У Смита...

Через полчаса в самом большом холле санатория около сотни мальчиков и девочек принялись шумно петь. Пели все революционные песни, какие только знали. К ним поспешило начальство, уговаривать перестать, успокаивать...

В это же время в одной из классных комнат, выставив часовых, собрался штаб красных разведчиков.

— Сведения верные,— доложила Катя.— Мне по секрету сказала миссис Крук. По секрету! Ясно?

Посыпались вопросы:

— Что здесь делает Смит?

— Почему письма у Смита?

Катя сказала:

— Он опять работает в Американском Красном Кресте. И ему доверяют.

— А Крукам не доверяют?

— Не знаю.

— Чего же Смит добивается?

— Не знаю,— ответила Катя.— Он добивается своего...

Тогда решили немедленно поднять всех и потребовать сейчас, вечером, ночью, раздачи писем.

Через несколько минут в почтенном санаторном дворце Халилу творилось что-то невообразимое. Казалось, ему грозит разгром. Узнав, что письма давно получены, а им их не выдают, ребята ринулись к местному начальству, к Крукам, к своим учителям.

Но в какие двери ни толкались, никого не было. Гусинский и Канатьев обнаружили, что все руководство и педагоги собрались в неурочное время в кабинете главного врача санатория... Не раздумывая, Ларька распахнул дверь. За ним в эту строго обставленную комнату ввалились все, кто только мог втиснуться.

Первый, кого увидел Ларька, был Смит. Он стоял за столом главного врача. Похоже, и правда Смит здесь командовал...

Какое-то время ни Смит, ни Ларька, ни Круки не могли произнести ни слова. Может, они что-то и говорили, но их никто не слышал. Все кричали:

— Письма! Отдайте письма!

Когда крики немного поутихли, Катя шагнула к Смицу, сжимая кулаки:

— Послушайте! Неужели вам не стыдно?

Смит был очень сердит, едва сдерживался.

— Тот, кто мечтает попасть в свой красный рай, немедленно отправится спать,— отчеканил он.— Письма я думал раздать завтра утром. Теперь вы получите их только послезавтра, и то если будет идеальный порядок...— К удивлению Ларьки, Гусинского, Кати и других членов

штаба, стало очень тихо... Смит, поглядывая то на Ларьку, то на Катю, удовлетворенно добавил: — Кстати, многие горланили зря. Письма пришли не всем.

И сразу что-то сломалось. Вместо поднявшего всех возмущения, гнева начались слезы, просьбы... Тося и так и этак пританцовывала около Смита, заглядывала ему по-лисьи в глаза, умоляла вполголоса:

— Мистер Смит, а мне? Может, мне можно сегодня? Со всех сторон канючили:

— Скажите только, мне есть письмо?.. Или нет?

Пытались хватать Смита руками:

— Ну что вам стоит!.. Пожалуйста!..

— Если через десять минут,— отчеканил Смит,— хоть один из вас не будет в постели, я задержу письма еще на двое суток...

Как ни работали в массе красные разведчики, как ни воодушевляли не отступать, ничего не получалось. Напротив, торопясь исполнить команду Смита, ребята старались, чтобы он заметил их послушание:

— Мистер Смит, я ушел.

— Мистер Смит, смотрите, я бегу спать...

Пришлось уходить и Ларьке с друзьями. На повороте к дортуару девочек Ларька и Катя на несколько минут задержались.

— Вы заметили, как он на нас смотрел? — спросила Катя.— Когда сказал, что письма пришли не всем...

Но Ларька, не отвечая, уставился на нее и о чем-то думал.

— Если из дому не ответили,— еще тише проговорила Катя и опустила голову,— значит, некому... Разве мама могла не ответить?

Он крепко взял ее за руку. Пальцы у нее были холодные. Ларька сжал Катину руку еще крепче и сказал:

— Погодите. А почему они все собрались?..

У Кати по щекам медленно катились слезы. Она шевельнула ладонью в ладони Ларьки, но не отняла ее и стала вытирать слезы левой рукой.

— Понимаете?.. Собрались все. Что-то обсуждали,— продолжал Ларька, все крепче сжимая ее пальцы.— И Смит сразу признал, что письма у него... Почему?

Катя еще плохо понимала, о чем он говорит, но невольно начала прислушиваться.



— Что-то случилось, понимаете? — уже уверенно усмехнулся Ларька. — И это заставляет Смита отдать письма...

— Вы думаете... — робко начала Катя.

— Погодите распускать нюни, вот что я думаю! — весело сказал Ларька. — Ничего у Смита не получится!

Потом Смит и Американский Красный Крест оправдывали задержку ответов из Питера якобы своей нежной заботой о детях. Смит и его подручные читали эти письма только для того, чтобы выяснить, нет ли там чего печального для детей... И как только удостоверились, что ничего такого нет, письма были розданы...

Кое-что Ларька нащупал правильно. Смит отступал не по своей воле.

В этот день, 24 октября 1920 года, правительство Финляндии получило официальную ноту Народного Комиссара иностранных дел РСФСР Чичерина на имя министра иностранных дел Финляндии Холсти.

Ввиду исключительной важности этого документа для нашего рассказа мы приводим ноту полностью. Вот она:

«Не получив никакого ответа на мою радиограмму от 22 октября относительно советских детей, увезенных в Финляндию Американским Красным Крестом, я только что с удивлением узнал, причем из финляндской печати, что Финляндское Правительство совместно с Американским Красным Крестом якобы принимает меры к задержанию этих детей в Финляндии, по-видимому, на длительный период времени, и что представители Американского Красного Креста намерены «навести справки» о родителях этих детей в России. Представляется, что дети были бы отправлены в Россию только в том случае, если бы Американский Красный Крест «получил бы точные справки о родителях». Все эти меры проводятся без уведомления Советского Правительства, а Финляндскому Правительству, как будто неизвестно, что на самом деле Российское Правительство является единственной властью, ответственной за этих детей перед их родителями и могущей наводить точные справки о последних.

Придерживаясь подобного метода действий, Финляндское Правительство ни в коей мере не проявляет духа умиротворения и взаимного сотрудничества, на основе которого был только что заключен Мирный договор между

нашими двумя странами. Принимая во внимание, что Американский Красный Крест является полуофициальным органом правительства Соединенных Штатов Америки, которое столько раз проявляло себя в высшей степени враждебно в отношении Российского Правительства, нам кажется еще более необъяснимым то, что Финляндское Правительство разделяет эту враждебную позицию...

Ввиду всех этих соображений я имею честь просить Финляндское Правительство сообразоваться устранить впредь какое бы то ни было участие Американского Красного Креста в этом вопросе и разрешить представителям Российского Правительства приехать в Финляндию, с тем чтобы получить возможность произвести немедленную отправку детей в Петроград».

Советская родина требовала своих детей.

Во всем мире коммунисты, рабочие, передовая интеллигенция настойчиво поддерживали это требование. В Соединенных Штатах и в Финляндии ширилось негодование против позорной возни с возвращением советских детей на родину.

После ноты Чичерина было принято наконец решение о немедленной переправе ребят через границу. Переправлять решено было группами по пятьдесят — сто человек.

Первая группа переходила границу еще в октябре. Джеральд Крук и Энн Крук прощались с ребятами на границе. Никому не хотелось с ними расставаться. У Джеральда Крука было такое лицо, что, глядя на него, начинали плакать все девочки, даже Катя. Энн Крук, негодуя, фыркающая, кричала на мужа:

— Ты плакса! Мужчина называется! Как не стыдно! Требовала:

— Прекратите эти отвратительные нежности! Уходите! Уходите скорей...

И в то же время одной рукой держала Мишу Дудина, а другой — Катю. Что-то в горле у нее клокотало, а губы дрожали.

— Чего вы? — спросил Миша Дудин, оглядываясь на мистера Крука. — Даешь с нами!

Катя шепнула миссис Крук:

— Может, это и не так глупо! Вам будет хорошо...

Миссис Крук еще выше вскинула голову и надменно усмехнулась:

— Что бы мы стали у вас делать? Ведь мы не революционеры...

— Мы не революционеры,— прошептал покорно мистер Крук.

И оба они взглянули на Ларьку, который стоял около Кати. У Ларьки в медленной улыбке поползли губы, показался знаменитый белоснежный оскал, но лицо оставалось растерянным.

— Вы не революционеры, правда,— удивляясь, сказал Ларька.— Но без таких, как вы, было бы очень плохо жить. Не пойму, что вы за люди...

И тогда миссис Крук громко всхлипнула и, хотя старалась еще выше закинуть голову, все равно по немолодым щекам покатились крупные слезы. Она неожиданно оставила Катю и Мишу, крепко обняла вконец удивленного Ларьку, толкнула его к мистеру Круку, по лицу которого, к ужасу Ларьки, тоже текли слезы, и тот в свою очередь стиснул Ларьку в объятиях.

— А теперь — марш! — хрипло скомандовала миссис Крук.— Уходите! Ну! Я больше не могу...

И ребята пошли. Сначала — кучей, оглядываясь. Ларька и сердитый Гусинский захлопотали, что-то скомандовали. Круки видели, как первый отряд неумело строился по пять человек в ряд. Они шли все скорее, потом побежали. Слезы еще не высохли, но ребята улыбались, протягивали руки... Впереди бежал Ларька. Он что-то шарил за пазухой.

Перед ними в длинных шинелях, в остроконечных шлемах с большими красными звездами расступались советские пограничники. Тогда Ларька обеими руками поднял над головой красное знамя краскома, на котором еще можно было разобрать: «Мир — хижинам, война — дворцам!» Иссеченное под Мнассом, тонувшее в Тихом океане, накрывавшее погибшего под Нью-Йорком Аркашку...

Говорят, это знамя видели потом на Волховстрое.



Для младшего школьного возраста

*Ляшенко Михаил Юрьевич*

ИЗ ПИТЕРА В ПИТЕР

ИБ № 2900

Ответственный редактор Е. К. Махлах. Художественный редактор Н. З. Левинская. Технический редактор Л. П. Костикова. Корректоры Ю. В. Дубовицкая и Т. Н. Чернова. Сдано в набор 13.11.80. Подписано к печати 15.04.81. А07000. Формат 84×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Бум. типогр. № 1. Шрифт литерат. Печать высокая. Усл. печ. л. 15,96. Усл. кр.-отт. 16,8. Уч.-изд. л. 16,8. Тираж 100 000 экз. Заказ № 2600. Цена 75 коп. Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Детская литература» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1. Ордена Трудового Красного Знамени фабрика «Детская книга» № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, Сушевский вал, 49.

Отпечатано с фотополимерных форм «Целлофот»

**Ляшенко М.**

Л99 Из Питера в Питер: Повесть/ Рис. В. Юдина.—  
М.: Дет. лит., 1981.—303 с., ил.

В пер : 75 к.

В центре повести, разворачивающейся на фоне эпохи революции и гражданской войны, судьба эшелона с эвакуированными детьми из Питера в Зауралье.

Л  $\frac{70802-321}{M101(03)81}$  454—81

P2



75 коп.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

